1973

9

Молодая гвардия

Рис. художника С. ТРОФИМОВА

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

Мы сердцем запомнили Зою:
Несломлена и юна,
По черному снегу
босою
Сквозь годы проходит она.

В метельной идет круговерти,
Высокою правдой права.
А значит —
и не было смерти,
И вечно за нею — Москва.

Воспоминания Л. Космодемьянской «Дочь моя Зоя» читайте на странице 250

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1973
9

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Петрусь БРОВКА, лауреат Ленинской премии. **Мы дети матери единой. Разговор с Эльбрусом. А я все жду... Корни песни.** Стихи 3

Николай РЫЖИХ. **Ванька Проскурин.** Повесть 7

Юван ШЕСТАЛОВ. **«О мать моя!..» Шум.** Стихи 172

Людмила ШИКИНА. **«Моей матери снился сон...». «Там, за холмом, за перелеском...». «Реки — мои вены...».** Стихи 175

Б. НАВРОЦКАЯ, Р. ДОНЬСКИЙ. **Операция «Хирург».** Повесть (продолжение). Перевела с польского И. Смирнитская 178

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

«Товарищ». 193

Игорь ЛЯПИН. **Наследники фронтовиков. «Неправда, друг, что в человечестве...».** Стихи 242

МОЛОДАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ. АФРИКА

Гастон БАРТ-УИЛЬЯМС (Сьерра-Леоне). **Барабаны.** Дэвид РУБАДИРИ (Уганда). **Волны с Запада. «Чистый смех африканских детей...».** Деннис БРУТУС (ЮАР). **«В нас ненавистью вскормлена любовь...». «И все ж мы выжили...». «Приходит ночь. Любимая, усни...».** Стихи. Перевел Станислав Золотцев **245**

Л. КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ. **Дочь моя Зоя** **250**

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий КАНЕВСКИЙ. **Романтика с пуля** **253**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ОВЧАРЕНКО. **Социалистический реализм в свете международных споров** (Ответ мистеру Максу Хэйуорду) **265**

Вадим НАЗАРЕНКО. **Загадка детектива** **281**

Поэзия народной мудрости (К 50-летию со дня рождения Расула Гамзатова) **297**

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

П. СТРОКОВ. **В походном строю.** Л. ВУКОЛОВ. **Человек ищет себя.** Вл. МИЛЬКОВ. **Прекрасное и вечное всегда молодо.** И. ЦВЕТКОВ. **Возьми себе в пример героя.** А. МАЛЫШЕВ. **Начало** **299**

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Спор об эстраде **317**

Наш адрес:

Москва, К-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.

Подписка на журнал «Молодая гвардия» производится без ограничений с любого месяца года.

© «Молодая гвардия», 1973 г.

Петрусь БРОВКА,
лауреат Ленинской премии

МЫ ДЕТИ МАТЕРИ ЕДИНОЙ

Года проходят за годами,
Свой шаг чеканя громовой...
Немало сделано и нами.
«Вот были мы...» — слыхать порой.

Конечно, каждый на работе
Себя нисколько не щадил.
Конечно, были мы на взлете,
Трудились, не жалея сил.

Конечно, мы недоедали,
Мы забывали слово «спать».
Не только пот мы проливали —
Кровь приходилось проливать

Конечно, и герои были —
В то время трудное — из нас.
Мы имена их не забыли.
Гордимся ими и сейчас.

Мы шли дорогами крутыми,
Верша,
дерзая
и творя.
Да только перед молодыми —
«Вот были мы...» — гордимся зря.

Еще не кончилась дорога
И нам еще — идти вперед.
Мы сделали, конечно, много —
Но дел еще невпроворот.

Сказать нам вправе молодые,
Не ущемляя нашу честь:
— Да, были вы... Сейчас другие —
Мы, так сказать, сегодня есть.

И это так... За ними дело.
Они, куда ни погляди,
Прокладывают в Завтра смело
Свои победные пути.

Они и космос открывают,
И обживают целину.
Они делами прославляют
Свою Советскую страну.

Они — в тиши лабораторий,
С упрямством поиска в глазах,
Они и в небе и на море —
Везде на первых рубежах.

Собою молодость гордиться
Имеет право в наши дни.
Но разве нужно нам делиться,
Кто больше сделал — мы, они?

Искать не будем середины.
Весь общий труд наш — для Страны.
Мы дети матери единой,
И для нее мы все равны.

РАЗГОВОР С ЭЛЬБРУСОМ

Стоишь ты, попирая громы
И преграждая ветру путь.
За сорок лет, что мы знакомы,
Не изменился ты ничуть.

Завидую могучей силе,
Плечами врос ты в небосклон.
Ты сам дорос до неба
или
Землей под звезды вознесен?

Я не такой уже, как прежде,
Перед тобой опять стою.
А ты все так же гордо держишь
Седую голову свою.

Ты, как маяк средь звездной ночи,
Вознесся выше всех вершин.
Завидую тебе я очень,
Да разве только я один?

Кристально чистый
и красивый,
Сердца волнуешь людям ты,
Весь — воплощенье гордой силы,
Величия и красоты.

А Я ВСЕ ЖДУ...

Зима, зима... Объяты тишью,
Стоят леса. Снега — по крышу.
А я все жду тех дней, тех вишен,
Что цветом заслонят окно,
Как в ту весну, давным-давно.

Я знаю, им цвести невечно,
Их цвет осыплется, конечно.
Но вновь я буду ждать беспечно,
Пока заколосится рожь.
Как запах спелой ржи хорош!

Но смолкнет песня обмолота,
В полях померкнет позолота.
Меня ж утешит время года,
Когда осенние сады
В дар принесут свои плоды.

Потом просторы Беларуси
Покинут журавли и гуси,
Но буду ждать я с легкой грустью,

Когда, неслышимый для всех,
На землю ляжет первый снег.

В круговороте дням меняться,
Встречаться людям и прощаться.
И будут листья осыпаться,
И вишни наряжаться в цвет...
Но юность не вернется, нет...

КОРНИ ПЕСНИ

Все песни дуба
В поднебесьи
Берут начало от корней.
Как дерево корнями,
песню
Я черпаю в сердцах людей.

Творю ее из дум заветных.
Работа эта непроста.
Вот почему
Так многоцветна
Бывает песни красота.

Весь жар души отдав ей,
К людям
Пускаю песню, наконец.
«Как принята, — тревожусь, — будет
Она мильонами сердец?»

Перевел с белорусского Иван Бурсов

НИКОЛАЙ РЫЖИХ

ВАНЬКА ПРОСКУРИН

Рис. Б. ФЕДОТОВА

ПОВЕСТЬ

Моим товарищам, рыбакам колхоза имени Бекерева Камчатской области
Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Ванька Проскурин сидел на самой верхней паре колхозного рыбстана и улыбчиво озирался по сторонам. Рядом сидел Мишка.

Они с Мишкой недавно в колхозе, два дня как принятые, а познакомились в Оссоре неделю назад, когда из Петропав-

ловска прилетели. Теперь, считай, друзья, или, как здесь говорят, корифаны.

Семь дней назад вылез Ванька из самолета. Мать честная: вот так Камчатка! Снег, снег да снег, дома по крыши в снегу, а иные и по трубы. На аэродроме нарты с собаками. На нартах сидят смуглые люди в одежде из шкур: и шапки лохматые, и шубы как мешки — без пуговиц, и штаны кожаные. Лопочут по-своему, узкоглазые, широкоскулые — чудно!

Дотащился Ванька со своим баулом — а он же тяжеленный: и рубанки там, и фуганки, и долота, и рейсмесы — до гостиницы; стоит на крыльце парень, стукает нога об ногу.

— Ты тоже, браток, сюда? — спросил он Ваньку.

— А куда ж?

— Давай стучать!

— Да, давай.

Постучали они, вышла худая, закутанная в платок девушка и говорит:

— Местов нету.

— Да ты хоть под койкой найди! — попросил парень.

— Да нету и под койкой, рыбаки ж на путину летят. Вот посмотрите!

Парень пошел смотреть.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

Сперва, однако, послушаем, что рассказывает о себе сам **Николай Рыжих.** По просьбе редакции он прислал короткую автобиографическую справку. Я воспроизвожу ее здесь полностью и просил бы читателя обратить особое внимание на слово «работал», встречающееся едва ли не в каждой строке лаконичнейшего этого документа:

«В 1956 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде.

1956—57 гг. — служил офицером на подводной лодке во Владивостоке.

1957—58 гг. — работал штурманом на теплоходе «Светлогорск».

1958—59 гг. — работал штурманом на рыболовных сейнерах.

1959—60 гг. — работал слесарем на стройке в Ленинграде.

1960—61 гг. — работал на рыболовном сейнере на Камчатке.

— И правда, нету, — сказал он, выйдя.

Стоят они, поеживаются, а морозец поддает.

— Ну куда ж податься? — вздохнул парень. Ванька пожал плечами. — Тебя как зовут?

— Иваном. А тебя?

— Михаилом. Мишкой.

Помолчали.

— Пойдем-ка, Ваня, тут в одно местечко, — сказал Мишка, — есть тут такое навроде общежития, строители живут, девки. Может, у них перекантуемся. Ты первый раз на Камчатке?

— Первый.

— А я второй.

Забрали они свои чемоданы, пошли.

— По вербовке?

— Ага.

— Я тоже первый раз приезжал по вербовке. Уехал, — Мишка перекинул чемодан на другое плечо, — да опять возвратился.

— Понравилось?

— Ну.

Это было не общежитие и даже не квартира, а большая комната в недостроенном доме. Просто девки-сезонницы сами повставляли окна, навесили дверь, позатыкали дырки. Заштукатурить еще не успели. Посредине

1961—62 гг. — работал в прокатном цехе на Ижорском заводе укладчиком горячего металла и резчиком листов на ножницах. По-горячему.

1962—63 гг. — работал штурманом на рыболовном траулере в Атлантике.

1963—65 гг. — работал контролером ОТК на заводе и пожарником в пожарной охране.

С 1965 года постоянно работаю на Камчатке на сейнерах то штурманом, то капитаном. Но были перерывы, это когда заканчивал последние три курса в Литинституте на дневном отделении, — тогда работал только летом, а в 1970 году работал бетонщиком на стройке, а зимой кочегаром в кочегарке.

Сейчас в отпуске, скоро опять на рыбу, в путину».

Чуть позже получаю от него коротенькое — еще короче, чем автобиография, — письмецо:

«Опять рыбачу. Треску и камбалу в Беринговом море ловим. Никак с рыбой расстаться не могу».

Этот человек-работник вполне естественно и явился главным героем его повести «Макук», появившейся, ка-

поставили бочку из-под солярки, приспособили ее под печку. Трубу прямо в окно вывели.

Как зашли — мать честная! Не девки, а профуры: папиросками дымят, словечки всякие. На них совсем внимания не обратили.

— Девочки! — крикнул Мишка веселым голосом. — Как бы переночевать? А то хоть пропади.

— Ночуйте, — сказала одна из них, а голову не повернула. — Вон пол...

— Дак это нам и надо, — обрадовался Мишка и тут же стал хлопотать возле печки.

— Дрова в сенцах, — сказала другая.

— Отыщем. — И Мишка разделся. Разделся и Ванька.

Затопили они печку, подмели пол. Стало тепло, чисто. Мишка полез в чемодан, достал фляжку со спиртом — битый волк, знает почем соль, — а Ванька посожалел о куске сала, которое мать совала ему на дорогу и которое он не взял.

— Вон хлеб, вон колбаса, — сказали девки и опять отвернулись. Они сидели у окна, разговаривали про ребят, что с танцев их провожали.

— А вы, девочки, что ж? — спросил Мишка, разливая спирт.

— Не хочется.

— Чего так?

жется, полдесятка лет назад и обратившей на себя внимание как критики, так и читателей.

Более двух лет прошло с той поры, когда на Московском совещании молодых литераторов рукопись повести «Ванька Проскурин» обсуждалась опытными писателями и получила высокую оценку с незначительными оговорками. Другой бы пропустил эти «оговорки» мимо ушей, а для Николая Рыжих они послужили причиной того, что он сызнова переписал всю вещь.

Я читал повесть Н. Рыжих и тогда, когда был одним из руководителей помянутого выше семинара, и теперь, когда предваряю ей несколько слов. Мне нет надобности — и вообще считаю это ненужным! — подробно пересказывать ее содержание, поскольку читателю предстоит познакомиться с ней самому. Скажу лишь, что крепкая, как водится, шероховатая рабочая рука автора, с которой ты знакомишься при встрече с ним, во время товарищеских рукопожатий, чувствуется и в строчках

Не ответили.

Ну, в общем, перехватили чуть, целый день, считай, не емши, с самого Питера *.

Стали укладываться спать, девки из одежи кое-что дали.

Улеглись они в углу за печкой — хорошо это: тепло от печки идет.

«А девчата молодцы, — думал Ванька, потягиваясь, — хоть и курят. Спросить бы Мишку про них поподробнее. Он говорит: бичихи, на стройке работают. Жить, наверно, негде, вот и ютятся. Да-а, Камчатка! Так вот она какая?! Вся в снегу, люди в шкурах, ездят на собаках, разговаривают по-непонятному. А девчата и хлеба дали, и колбасы, и телогреек вот накидали. И не спросили даже, что они с Мишкой за люди. Чудно, как подумать. Мишка говорит, если устроиться в колхоз, тыщ сорок за год сколотить можно. Врет, может: сорок тыщ! О-о-о! — Он перевернулся на другой бок. — Ну пусть хоть двадцать, и то!.. Приехать это домой, хату подремонтировать, ну и жениться можно... — От этой мысли Ванька даже съежился под телогрейками. — Мать будет внуков нянчить. А в сарае будут рубанки, фуганки, стамески, пилы. Верстак, конечно. Еще точило завести такое — с ручкой. Его крутишь, а оно: ж-жих, ж-жих, мутная

* Здесь имеется в виду Петропавловск-на-Камчатке.

его произведения. Они вышли из-под пера сурового работника.

В самом конце 1972 года Николая Рыжих приняли в Союз писателей. Голосование, как это и полагается по нашему уставу, было тайным. Но тайна на то и тайна, чтобы о ней в конце концов узнали решительно все. Поэтому откроюсь: за автора «Макука» и «Ваньки Проскурина» проголосовали единогласно. Думаю, последним узнал об этом один только человек — сам Николай Рыжих.

Он и сейчас где-то очень далеко от столицы, бороздит на своих сейнерах морские просторы, добывает, работник с коричневым от жестоких ветров лицом, с грубыми, бугроватыми ладонями, треску, камбалу и других рыб для нас с вами. Он работает!

Ну а когда же мы дождемся его новой книги?

Обождите. Вот кончится путина. Вернется и напишет. Ему есть о чем писать. Напишет!

Михаил АЛЕКСЕЕВ

водица стекает по лезвию. На верстаке, конечно, полочку для инструмента всякого. Гвоздей туда, краски понаставить. А на полу будут стружки. Пахучие, прозрачные. Жена войдет, например, за стружками и скажет: «Вань, давай я покручу, чего это ты один мучишься». — «Покрути, покрути», — скажу. А потом она беременная будет: живот большой, бедра широкие, и ходить будет тихо: колых-колых!»

Не спалось... Апрель на дворе, в Куприянове уже весна. Травка на бугорках зеленеет, пацаны в лапту играют, носятся. Коров повыгоняли. После зимы коровы худые, задние ноги у них как деревянные. А лес, как пухом, оброс зелеными листочками. В оврагах еще снег. А солнышко жарит целыми днями. На дворе, конечно, грязь. Мать сейчас, наверно, ходит по двору в резиновых сапогах, голенищи хлюпают по худым ногам. Корове солому в пойло подмешивает или еще что.

«Эх! Деньжат бы ей! Сразу пошлю, как заработаю. А если б побольше послать, чтоб и на ботинки хватило! Да и пальто бы Аришке: девка уже в девятый класс ходит, а пальто с седьмого. Хорошо, мать тогда на рост покупала, но все равно ходить уже нельзя: и рукава коротки, и на груди не сходится... А если правда, что тут такие деньги? О-о-о! Чего на них только не купишь?! И пальто, и ботинки, и мебель — само собой. Диван с пружинами, шифоньер, комод. Ну стульев самому наклепать можно, был бы материал. Главное — хату. Ну и сарай, да и кровать с сеткой, как в армии были, посуду хорошую завести...»

В печке перегорело, под утро холодать стало. Ванька выскочил из-под телогреек, подбросил щепочек, потом дровишек, раздул. Опять юркнул в свое гнездо, поплотнее укутал поясницу и ноги, сунул руки между колен. «В колхоз бы...» — И не заметил, как уснул.

Наутро взяли они свои чемоданы и подались на аэродром. Им надо было в Анапку, где требовались плотники, рыбаки, грузчики, разнорабочие.

— Попасть бы в колхоз, — бормотал Мишка.

На аэродроме им показали на высокого человека в черном полушубке. Это был председатель одного из колхозов, он летел к своим рыбакам в Анапку. Он стоял в сторонке с каким-то молодым парнем в коротком пальто и узких штанах, тихо разговаривали.

— Давай попробуем? — сказал Мишка. — Попытка не убытка.

— Да, давай, — согласился Ванька.

Мишка сразу и подкатился.

— Можно с вами поговорить? — спросил он, подойдя вплотную.

Высокий человек спокойно, будто решая что-то, посмотрел на Мишку. Потом на Ваньку.

— Мы вот, — Мишка кивнул в сторону Ваньки, Ванька отвернулся и шмыгнул носом, — насчет работы, в колхоз бы хотели.

Высокий человек еще раз глянул на Ваньку — у Ваньки так и шевельнулось все от этого взгляда: будто этот человек своими глубокими глазами увидел, что у Аришки пальто на груди не сходится, и крыша на хате никуда не годится, и что Ванька умеет делать не только дома и сараи, но и шифоньеры и комоды — был бы инструмент да материал, и что Ваньке двадцать два года, и он смог бы, если б пришлось, быку шею свернуть, хоть ростом и не выдался.

— Специальность?

— Плотники́ мы, — ответил Мишка, — но согласны хоть кем.

— Пло́тниками и будете, — сказал высокий, — пло́тники нам нужны. В этом году мы запланировали большое строительство, — он говорил тихо, спокойно, — а сейчас вот срочно надо кунгасы * к путине готовить. Давайте к нам. Наши уже давно в Анапке.

— А как это? — Мишка замялся, у Ваньки тоже все захолонуло. — Наверняка?

Высокий удивленно посмотрел на ребят, а молодой, что разговаривал с ним, понимающе улыбнулся.

— Ну конечно, — продолжал высокий, — давайте со мною, там и начнете работать.

— Спасибо, — Мишка потупился.

— Вот, кстати, — высокий показал на молодого, — и ваш будущий начальник, Геннадий Семенович, инженер-строитель. Мы его тоже в колхоз берем. Знакомьтесь.

— Ну что вы, Василий Васильевич, — засмеялся молодой, — какой я «Семенович»? Просто Геннадий. — Он протянул ребятам руку.

---

* Кунгас — большая лодка с каютой.

Познакомились.

Мишка молчал. Председатель тоже молчал. Мишка раза два глянул на него, прокашлялся.

— С деньгами, наверно, плохо, да, ребята?

«И как он догадался?»

— Дак поиздержались, — обрадовался Мишка, — пока на пароходе добирались, в Петропавловске опять же сидели.

Председатель полез в карман, вытащил несколько бумажек.

— Вот вам взаймы до Анапки. А там аванс получите.

«Вот это да-а-а, — удивился Ванька, — прямо так сразу, без всяких заявлениев. И даже фамилии не спросил!»

А сейчас вот они в Анапке, колхозники уже и деньги зарабатывают; отремонтировали кунгасы, сразу на невод взяли — вот здорово! И жить есть где. Ванька сидел, подогнув под себя ноги, на ватных штанах и наблюдал, что делается в рыбстане.

Рыбстан — временное пристанище рыбаков, приехавших из колхоза на весеннюю путину. Это большое здание, высокое, теплое. По стенам нары в три яруса, посредине длинный стол, где обедают, играют в карты, чистят ружья, чинят собачью сбрую. В одном углу бочка с талым льдом, умывальник и дрова. В другом — печь, продовольственный склад. Склад с печью отгорожены барьерчиком, как на почте.

За столом сейчас играли в «подкидного» под папиросы. Выигрывал дядя Саша Демидов, бригадир невода.

— А-а-а, поцанье! — с мягкой хрипотой говорил он, щурясь. — Булгактерию вам сюда, считать разучились. — Возле него набралась куча папирос, врассыпную и пачками. И разных сортов. — А теперь крой свое... Что?.. Десятка? А у меня туз козырный. Греби, греби, поцанье!

— Опять выиграл, — сказал Мишка. Он говорил твердо, редко, будто точки ставил после каждого слова.

— От дает! — засмеялся Ванька. — Булгактерию захотел.

— Раньше ж предом был.

— Ну?

— Да.

Где-то на нижних нарах забренчала гитара, раздался смех.

— Дзачем моя баба пристаешь, а? Дзачем? — доносился оттуда возбужденно обиженный голос.

— Да как ты мог подумать, Осман Магомедович? — успокаивал его другой голос. — Ведь мы соседи.

— Нэ надэ такой сосед.

Распахнулась дверь, и с клубами весеннего воздуха ввалились закутанные в башлыки две фигуры. Это каюры привезли дрова. Они побросали в угол собачью сбрую, разделись и пошли за перегородку. Там загремели мисками и кастрюлями, кто-то раскатисто захохотал.

Вразвалочку, осанисто пошатываясь, прошел к столу рыбачина в фуражке с крабом, полушубке и небрежно опущенных ниже колен рыбацких сапогах из воловьей кожи.

— А это? — шепотом спросил Ванька.

— Капитан «Бегуна», Страхов.

— Сурьезный мужик.

Его и прозвали Страхом.

— Гляди, гляди, — оживился Ванька, — отдал. Все папиросы назад отдал. А ребята не берут.

Дядя Саша между тем сдвинул весь ворох к стенке, зевнул и побрел в тот угол, где смеялись. Туда же направился и Страх.

— А здорово тут, — сказал Мишка.

— Здорово! — выдохнул Ванька. Теплая волна под-

ступила к горлу, стало необыкновенно хорошо. Он заерзал на штанах. «Как здорово устроился».

Месяца через два путина кончится. Говорят, если она «уродится», тыщ по двенадцать выйдет. А позавчера, после приема в колхоз, пошли они за авансом — они, может, и не пошли б, да ребята надоумили, говорят, «с авансом в колхозе свободно».

Председатель с Геннадием какие-то бумаги просматривали.

— Аванс, да, ребята?

— Да надо бы, — несмело сказал Мишка.

— Сколько?

И они растерялись: попросить по тысяче — неудобно, скажет «много», давал, мол, недавно; рублей по триста — маловато, долги есть, да и домой бы послать. Переминаются с ноги на ногу.

— По три тысячи хватит?

У ребят так и екнуло. А он даже и не улыбнулся. Черт возьми! За свою жизнь Ванька еще ни разу таких денег не держал. Это ж хватит и на ботинки, и на пальто! Камчатка! Как ошпаренные вылетели из конторки. И в этот же день по полторы тысячи домой послали, себе кое-что купили по мелочи. А когда должок стали возвращать председателю, что в Оссоре по полторы сотни из кармана вытащил, он и внимания не обратил: «После бы отдали!»

— А хорошо тут, как посмотришь, — опять толкнул Мишка Ваньку.

— Хорошо, — сладко вздохнул Ванька и поправил под собой ватные штаны. Эти штаны дал ему Осман Магомедович Магомедов, или, как зовут его в колхозе, Магомедыч. Когда ставили центральную *, Магомедыч увидел, как треплет камчатский ветер тонкие Ванькины штаны, вечером приносит ватные, почти новые:

— Тыбэ.

— Спасибо, — засмущался Ванька, — а деньги я после отдам, как заработаю.

— Чыто? — удивился Магомедыч. — Какие деньки? Один колхоз живем.

— Все-таки.

— Э-э! — отмахнулся Магомедыч.

«И правда хорошо, — думал Ванька, устраиваясь по-

* Центральная — центральное крыло на ставном неводе.

удобнее, — люди нежадные, не ругаются. Ну ругаться-то ругаются и даже кричат друг на друга, особенно дядя Саша, на работе когда, только без злости. Вольготные какие-то. Если, например, собираются что делать, все вместе обсудят что и как, кого куда послать, кого старшим. Даже хочется жить с ними, остаться хочется. И едят здорово: за завтраком масло, колбаса, консервы всякие, рыба само собой, ешь, чего душа желает, хоть какаву, хоть яичницу. Оно, конечно, дороговато по сравнению с материковским, дак и заработки ж здесь! И сами они какие-то... Чудно. — Ваньке захотелось обнять всех. — Пройдет год, — затеплилось у него, — заработаю деньжат — и домой. Приехать это летом, под лето подгадать. Подарков привезти, самому приодеться, выйти на улицу в новом костюме. Бостоновом, например. По деревне пройтись. Сапоги чтоб тоже новенькие. В фуражке-восьмиклинке, темно-синей, под цвет костюма чтоб. Вечером в клубе девчата соберутся, ребята, Петька со своею придет! — От этой мысли Ваньке грустно стало, а приятно. Больновато немного и в то же время хорошо, будто сделал хорошее дело и никто про это не знает. — Шут с ними, пусть живут, чего там, раз так получилось!»

— Ну давай укладываться, что ли? — прервал его мечтания Мишка.

— Да, давай.

Но и в эту ночь он долго не мог уснуть, перед глазами все деревня стояла. Эдак перед вечером, когда коров гонят: солнышко село, но светло еще, тихо. Тепло. На дворе пахнет подорожником, у крыльца он вытоптан до земли, мусорок там всякий, а под забором он сочный-сочный. Роса сверкает на нем, если утром когда. Аришка с огорода идет, початки несет или яблоки, мать корову доит, по ведру молоком цыкает. «Сарай, инструмента всякого, и точило б...»

Глава вторая

После путины расплатились с долгами, и себе еще кое-что осталось. И переехали вместе со всеми рабочими в Дранку, где находился колхоз, главная усадьба.

Дранка стояла на берегу речки тоже Дранки. Река текла широко, тихо, будто среди кустов отдыхала — ивы прямо по воде стлались. Берега в траве, трава до плеч, а сорвешь ее, сок так и брызнет. Лодки у берега. В реч-

ке плещется рыба всякая: кета, горбуша, чавыча, кижуч. Деревенские ребятишки таскают ее прямо за бок или за спину, «на поддев» это называется. Так много и такой большой, особенно чавыча — с поросенка, Ванька еще никогда не видел и не представлял даже, что бывает такая.

Хаты стоят редко, окруженные грядками. На грядках редиска, лук, капуста, смородина. Улицы безлюдные, только ездовые собаки пронесутся иногда стаей.

А еще на путине, когда жили в рыбстане, насмотрелся да наслушался Ванька про камчатскую жизнь. Особенно удивляло его, по скольку здесь люди денег имеют и не дорожат ими, бывает, и внимания не обращают на них. Вон Василь Василич, председатель колхоза, рассказывают, свои деньги отдает таким, например, как Ванька с Мишкой. А Яшка Айтаров, дяди Саши дружок, охотник, он приехал помочь рыбакам на путине, дак вообще фокус отмочил. Зашли как-то в рыбстан ребята с «Бегуна», он подходит к мотористу, Лехе Гуталину — так его прозвали за любимое его словечко «загуталиним», — сует ему деньги, карабин взамен просит.

— Не могу, Яша, — отвечает Гуталин, — сам еще ни разу не стрельнул, только привезли. Твой-то где?

— В колхозе, однако, забыл, такое дело, Алексей.

— Не могу.

— Да уважь, Алексей, — вмешался дядя Саша, — тебе ведь для баловства, а человеку, может, для дела нужен.

— А-ах! — отмахнулся Гуталин, — ты всегда за своего корифана. — И побежал на катер, принес.

Яшка взял карабин, погладил по новенькой ложе, щуря глаза, приложил к плечу, поцокал языком и улыбнулся — доволен остался. Леха пододвинул железный ящик с патронами. Яшка взял один патрон, повертел в смуглых пальцах, сунул в карабин. Ящик отодвинул.

— Чего ж ты? — спросил Леха.

— Мне и одного хватит, — улыбнулся Яшка.

На другой день после постановки невода — до обеда закончили — Яшка поудобнее уселся на берегу, стал ждать.

— Нерпушку караулит, — сказал кто-то из ребят.

К вечеру Яшка дождался, попал ей прямо в лоб, возле глаза. Он не стал суетиться, как это бывает с охотниками, даже из воды тащить ее не стал. Он пошел в рыб-

стан, позвал ребят. Они выволокли ее на песочек, освежевали, тут же развели костер, и через некоторое время от нерпушки остались рожки да ножки — Яшка всех пригласил «жировать».

А на другой день, когда Леха заскочил в рыбстан, Яшка протягивает ему карабин, благодарит, хвалит винтовку.

— У порядочных людей, Яша, так не бывает, — сказал Леха, роясь в карманах. — На держи!

— Зачем они мне? — удивился Яшка, отстраняя Лехину руку с деньгами.

— Твои же.

— Не надо, однако. — И Яшка болезненно сморщился, будто обижали его.

— Ну ты даешь! — Леха бросил деньги на стол.

Так они и валялись, пока повариха не взяла их на общий котел.

Но особенно понравилось Ваньке на колхозном собрании, когда после весенней путины все собрались в клубе — маленьком домике, одну половину которого занимал стеллаж с книгами, другую бильярд с железными шарами. За лето запланировали поставить новый коровник, склад, механическую мастерскую, общежитие для флотских и вообще для приезжих. Еще колхоз покупал два сейнера: весенняя путина прошла хорошо, деньжонки завелись. Теперь рыбу ловить будут далеко в море и в океане, «активным ловом», как сказал Василий Васильевич. Участок под картошку решили разработать, расширить птицеферму. Собрание продолжалось целый день. Выступали все больше старые колхозники: дядя Саша Демидов, тракторист Осман Магомедович Магомедов, бригадир невода Константин Семенович Бауков, Яшка Айтаров, его отец, бригадир пастухов оленьего стада Эгель Айтаров, береговой боцман Александр Игнатьевич Быков, бригадир полеводческой бригады дядя Ваня Мурашов... Василий Васильевич внимательно слушал всех, иногда тихо говорил что-то Геннадию — Геннадий сидел рядом, записывал. Ванька сидел в самом заднем ряду и елозил на скамейке: до чего же здорово, аж жить хочется.

Возвратившись с путины, рыбаки разбрелись по своим домам, занялись огородами, заборы после зимы подправляли, а Мишка с Ванькой, как не имеющие хозяйства,

сразу же за работу, сразу плотничать — плотники колхозу позарез нужны.

Сейчас ребята на берегу речки коровник расчинали. Бригада, между прочим, подобралась что надо: плотники, слесари, токари, сварщики, бетонщики — всяких специальностей хватало. А Володька Прохоров даже бывший завмаг, человек с дипломом, торговый техникум заканчивал.

Ванька и еще кое-кто из плотников торцы бревен под замки готовили, а Мишка с Геннадием отошли к землекопам, где фундамент закладывался. Геннадий — он руководил всей этой работой — втолковывал что-то землекопам, про вечную мерзлоту спорили.

«Да-а-а...» — скреб затылок Ванька, оглядываясь.

С того берега, где за кустами начиналась тундра, доносился птичий гам. Гуси, утки, кулики, гагары, чайки бесились в весеннем одурении, каркали, квакали, хлопали крыльями, а над всей этой компанией под самыми облаками проплывали иногда лебеди. Парами. На солнце они отливали атласной белизной. Терпко пахло сыростью — кое-где по ложбинкам лежал снег — и прелой прошлогодней травой и листвой, а сквозь них, сквозь эти печальные запахи, буйно и неудержимо, до дрожи в ноздрях, валил другой, сочный, прохладный, дурманящий аромат вымахавшей до пояса травы. «Да-а-а...»

Задумался Ванька, не заметил, как подошел Геннадий, а за ним неотлучно Мишка.

— Ну как дела, Ваня, идут?

— Да вроде идут.

— Раздолье, да, Ваня? — Геннадий тоже залюбовался.

— Закуривай, ребята! — сказал Мишка.

— Спасибо, Миша! — Геннадий взял папиросу, медленно стал разминать ее. — Как вы думаете, парни, к осени успеем? Такое дело замесили!

— Свободно, — утвердил Мишка. — С материалом бы задержки не получилось, а так...

— Лес на подходе, железо, стекло, толь выписаны, и деньги уже в банк переведены. Цемент, как видите, выгружаем.

К берегу, прямо напротив участка, «Бегун» подводил баржу с цементом. Он тыкался носом в берег, течение заваливало его — курибаны * не успевали закрепить

* Курибан — береговой матрос, ошвартовывающий суда.

швартовые концы, — он отрабатывал назад, опять к берегу, опять сносило.

— За мертвяк * крепи, за мертвяк! — хрипел, высунувшись из рубки, Страх на курибанов. Те ошалело метались по берегу, путали концы.

— Уже кривой, — засмеялся Володька, прислушиваясь к живописной речи Страха.

— Бывает ли он вообще трезвый? — ухмыльнулся Геннадий.

— И опять гонца послал, — добавил Володька.

С катера прямо в воду прыгнул Гуталин с маленьким чемоданчиком и, спотыкаясь — его заносило в стороны, — подался к магазину.

— Ген, а как там на частные? — поинтересовался Мишка.

— Будем, конечно, отпускать и на частные, — ответил Геннадий. — Строиться думаешь?

— Ну.

— Доброе дело. Наш ковчег для зимовки не приспособлен.

— На нем и сейчас колотун.

— Да-а, — задумался Геннадий, — далеко не Ташкент. — Затем кинул окурок, засунул руки в карманы. — Ну ладно, парни, я пойду в наш ковчег, в последний раз откошеварю и... Кому я неделю сдаю? Тебе, Ваня?

— Ага.

Мишка, Ванька, Володька Прохоров и еще двое плотников на лето поселились на кунгасе, что невод весною обслуживал. Убирались, топили, варили поочередно, по неделе. Спали в кукулях ** — сколько ни топи, а под утро зубы клацают. Геннадий сначала снял комнату у деда Чамбы, перевозчика через речку (вообще-то его фамилия Мирошников, но звали так вот). Дом у деда большой, что твой особняк, но через неделю Геннадий перебрался к парням. «Терпеть не могу куркулей», — сказал он, ставя чемодан. Он-то и прозвал кунгас ковчегом.

— Ну ладно. — Геннадий зашагал в колхоз.

А из тундры доносился птичий гам. К концу дня он разгорался еще больше.

— Я задумал, Ваня, — сказал Мишка, поплевывая на руки, — здесь поселиться. Капитально. А ты?

---

* Мертвяк — намертво заделанный в берег стальной трос.

** Кукуль — спальный мешок кустарного производства из оленьих или собачьих шкур.

— Да не знаю. — Ванька тоже взялся за топор.

— Давай, Ваня, на пару. Оно, глядишь, веселее пойдет.

— Это конечно.

— Сначала тебе дом поставим, потом мне. Можно и наоборот. А жить тут можно. — Мишка еще раз плюнул на руки.

«А чего ж нельзя? — подумал Ванька. — Чего ж нельзя? Хоть корову, хоть поросенка. Сена-то? Коси — не хочу. Да и рыбы. Раза два заметнул бредешок и на всю зиму себя обеспечил. Картох тоже, хоть всю тундру разрабатывай! Жи-и-ить! Дом поставить недалеко от речки, огород от крыльца к берегу, сарай на берегу».

В эту ночь, слушая истории Геннадия про институтскую жизнь и споры Володьки Прохорова с ребятами, Ванька перемалывал идею, предложенную Мишкой. «А если и вправду решиться? О-о-о! — Он старался не вникать, вообще не слушать, о чем говорят. — Да-а-а!.. Дом поставить из ровных бревен, из сосны например».

А эти надрывались, прямо думать не давали. Володька утверждал, что в торговле человек, да и не только в торговле, а везде, где он распоряжается казенным добром да еще если на большой должности, он непременно испортится.

— И тем не менее, — горячился Геннадий, — самому прежде всего надо быть человеком.

— И тем не менее, — спокойно, с затаенной насмешечкой, от которой Геннадия передергивало, отвечал Володька, — насмотрелся я этих штучек!.. Если человека вознесли на большую должность да еще ему доверили миллионы...

— Да отсохнет та рука, которая обнесет самого себя, — язвили со стороны.

— ...это уже другой человек. ...Сам в эти истории попадал, кстати, и погорел на этом.

— Пожить, значит, хотел.

— Примерно, — вздохнул Володька.

— А наша Надька Магомедова, вот посмотрите, братцы, погорит, — вставил Мишка.

— Как пить дать, — согласился Володька, — она даже «черную книгу» * не ведет.

— Значит, по-рабочему вкалывать лучше? — поинтересовался кто-то.

— Не то что лучше, — ответил Володька. — Совсем не лучше. Работяге хлеб труднее достается. Правда, он вкуснее.

— От пота...

— Все зависит от человека, — стоял на своем Геннадий.

— Да нет же, Гена, еще и от тех условий, в которых находится. От самой жизни, что ли. А за хорошую жизнь, кстати, надо бороться.

«И чего орут, — сердился Ванька. — Переливают из пустого в порожнее. Делать людям нечего: один хороший, другой плохой — поймешь тут!»

А когда все поуснули, Ванька снова окунулся в детство, в сладкий сон.

В детстве, когда он был маленький-маленький, еще и в первый класс не ходил, любил рассматривать книжечку, что дедушка как-то с ярмарки привез. Там на одной страничке было стихотворение — читать Ванька еще не умел, а стишок запомнил по-своему:

...Едет пахарь с сохой, едет — песню поет...
А восток все горит-разгорается;
Птички солнышка ждут, птички песни поют,
И стоит себе лес, улыбается...

Под стихотворением картинка. На ней нарисован домик у берега реки. По реке лодка плывет, похожая на пирожок, — Ванька тогда никак понять не мог, ну почему лодка похожа на пирожок, дно-то у нее должно быть, — в лодке рыбак с удочкой. По вечерам, когда от неплотно прикрытой дверцы плиты по углам дрожали слабые тени, он забирался на печку, засовывал ноги в теплую рожь, что сушилась там, и рассматривал эту картинку. И мечтал. Мечтал, когда станет большой, ну больше всех остальных людей на голову, выше и не надо, а то нехорошо, и будет жить в таком вот доме.

---

* «Черная книга» — на Камчатке товары часто берут без денег, под запись. Деньги отдают после.

Глава третья

— Вань, Мурашова идет, — вполголоса сказал Мишка.

Ванька вспыхнул. Он всегда вспыхивал, когда за щепками приходила Зина, дочка дяди Вани Мурашова, — за прямоту и строгость ребята звали ее только по фамилии.

В этом году она закончила девятый класс в Оссоре, на лето приехала к отцу: в Дранке средней, да и вообще никакой школы не было, и все колхозные ребятишки зимой жили и учились в райцентре, в интернате.

— Стараетесь, работнички? — сказала она, расправляя мешок. — Здорово!

— Здорово, здорово! — подбоченясь, подошел к ней Мишка. — Чего так поздно?

— Соскучился?

— Ну, — рисовался Мишка.

— Не заметно что-то.

— А ты присмотрись.

— Неохота, — сдерживая зевок, ответила она. Потом наклонилась, стала собирать щепки.

Мишка помогал ей. Не меняя напыщенной позы, пододвигал щепки сапогом. Ванька глянул на ее мускулистые белые ноги. «Да нет, — вздохнул он, — куда мне?» Зина, почувствовав взгляд, обожгла его снизу быстрыми, чуть насмешливыми глазами, золотинки в уголках ее коричневых глаз так и зарделись, погасая. Выпрямилась. Поправила выпавшую из-под косынки прядь. Еще раз посмотрела на Ваньку, на ее губах заиграла тихая, чуть застенчивая улыбка. У Ваньки запрыгало все внутри и загорелось, холодная волна сладко защекотала где-то и, обжигая все, хлынула к сердцу. А сердце забарабанило громко.

— Давай помогу, — приставал Мишка.

— Отстань!

А Ванькин топор попадал не туда, куда надо.

— Ну дак как? — не отступался Мишка. — Оторвем «Задорную»? Или «Полуночную»? Сегодня, кажись, суббота.

— Ногами двигать научись.

— Да вроде умеем.

— Не хвались... паровоз!

Ребята захохотали.

— Ничего себе! — хохотал и сам Мишка. — Толчки! Ну и Мурашова.

«А со мною она никогда так не разговаривает. Вон с другими и шутит и смеется. Да и ребята, вон Мишка, хоть к какой подход найдет: и сказать знает что и на танцы пригласит, а тут слова сказать не умеешь. Да что об этом думать? — вздохнул он. — Думай не думай, эти дела сами собой происходят, только себя расстраиваешь... Поглядывать будет на меня, а замуж выйдет за Мишку, старая история, эх!» — Уголок Ванькиного глаза повлажнел, ничего не видя, он яростно стал крошить бревно, а перед глазами проходило прошлое, далекое и недавнее.

Уже когда на тракторе прицепщиком работал — четвертый класс пришлось бросить, — по ночам снилась соседка, шустрая, быстроглазая, розовощекая девчонка. Но она нравилась Петьке, лучшему Ванькиному дружку. Петька красивее Ваньки был — чуб у него так и вился — и смелее, ловкий такой. Отчаянный, в общем — Петьки боялись ребята даже и постарше. И Ванька ничего поделать с собой не мог: провожали ее вместе, а постоять у калитки оставался Петька. Но у Ваньки не было к другу ни злости, ни зависти, наоборот даже, в драках — Петька то и дело задирался с кем-нибудь — Ваньке приятно было стоять за товарища.

В армию их провожала. Она, конечно, догадывалась обо всем и жалела Ваньку. Да что толку в ее жалости! Не надо никаких жалостей!

После армии она вышла замуж за Петьку.

— Давай, Мурашова, поддам, что ли? — донесся Мишкин голос.

— Не подлизывайся, — обрезала Зина.

Было слышно, как хрястнули щепки в ее мешке. «И здесь такая же штука получится. — Ванька как отвернулся, так ни разу в ее сторону и не глянул. — Еще жалеть станет... Нет уж... Покедова!»

— Сильна баба, — сказал Мишка, когда она ушла.

— Не знаю. — Ванька старательно гнал стружку.

— Закурим? — Мишка протянул папиросы.

— Давай.

«Думай не думай...»

Но не думать о ней он уже не мог. Нарочито медленно разминал предложенную Мишкой папиросу; перед глазами стоял ее взгляд, жест, когда волосы поправляла.

Вечерело, запахи от речки усилились, солнышко ниж-

ним краем позолотило льдистые вершины гор. Стуки топоров и голоса раздавались гульче.

К берегу на лодке подплывал дед Чамба. Он волок на буксире два бревна, на корме лежала пустая, совсем новенькая бочка. Он привязал бревна к кустам, защелкнул цепочку на носу лодки — другой конец цепи намертво был вделан в берег. Одной рукой кинул бочку на плечо, в другую взял весла. Подошел к ребятам.

— Здорово, ангелы мои! — У деда был оглушительный бас. Кто его слышал впервые, никак не верил, что у человека может быть такой голос. — Работаете? — Дед остановился. — Работайте, работайте, труд облагораживает людей.

— А ты уже «облагородился»? — спросил Володька. — Где бревнышки подцепил?

— В речке, ангел мой, в речке. В речке всего хватает. Ну трудитесь, ангелы мои, трудитесь! — Дед тряхнул веслами, зашагал в колхоз.

— Хозяйственный старик, — заметил кто-то.

На Дранку наваливались сумерки. Часа через четыре наступит темнота, относительная, правда, без свечки читать можно. Кое-кто из ребят накинул телогрейки.

— Может, и нам, братцы, пора? — крикнул Мишка. — На сегодня хватит.

— Да, конечно, хватит.

— Раз бугор * сказал...

Мишка повернулся к Ваньке.

— Давай-ка, Ваня, шабашить. Мне еще брюки погладить надо.

«В клуб налаживаешься», — беззлобно подумал Ванька, вслух сказал:

— Да я бы еще поработал.

— Да брось ты, — поморщился Мишка, втыкая топор в бревно под навесом, — не волк, в лес не убежит!

— Это конечно.

Ребята с лихостью бросали топоры, собирали на разостланные телогрейки щепки. Кое-кто развернул мешки. Ванька тщательно вытер — хоть и вытирать было нечего — лезвие топора, кинул его на плечо. Бородка, пробив телогрейку, больно кольнула лопатку.

— А это зачем? — удивился Мишка.

---

* Бугор — бригадир (местн.).

— С собой возьму.

— И куркуль же ты, Ваня!

— Ну и пусть.

Дорогу до ковчега после работы Ванька всегда любил. Идешь немного усталый, расслабленный. Дышишь. Смотришь на тропинку. Вот и кунгас. Там ужин, теплый кукуль. Если суббота, можно в кино или на гулянку, а завтра спать сколько угодно. А сейчас его не радовало ни воскресенье впереди, ни хорошая погода. Так что-то... Зато ребята валили шумной толпой: кто на рыбалку собирался, кто в клуб. Обсуждали премию — тридцать процентов, что за коровник Василий Васильевич накинул, — уж больно быстро управились они с этим коровником. А Мишка вообще браво при этом вышагивал, так это вколачивал каблуки в сыроватую тропинку. Телогрейка на одном плече, фуражка набекрень, насвистывал что-то. «На танцы навострился, — думал о нем Ванька, — орел». А Мишку совсем другие думы одолевали. Два дня назад, когда сдавали коровник, Василий Васильевич подозвал Геннадия:

— Подберите толкового парня на должность бригадира. В дальнейшем на учебу пошлем. Своих специалистов готовить будем.

— Есть на примете такой, — сказал Геннадий, — грамотный, кстати, в прошлом на руководящей работе был.

— Пусть они сами подберут, это надежнее.

Собрались, потолковали и выбрали Мишку, хоть Геннадий и Володьку предлагал, — Мишка топор держал лучше, да и сразу было видно, что он больше подходит для этого дела: еще и не был бригадиром, а слушались его все.

Сейчас Мишка задумался о предстоящей учебе, работе, о других масштабах жизни.

А у Ваньки? Недавно мать письмо прислала, две страницы нацарапала — труд-то какой! «...Прямо не знаем, как тебя благодарить за деньги, сокола нашего ясного... В каких ты краях да снегах там, сыночек, залетел в чужую сторонушку... Аришка пальто справила, дюже ей нравится... Крышу бы заменить, но, бог даст, доживем до осени, председатель обещал соломы и лесу по недорогой цене... а туфли ей так идут, ходит в них только по лавке, под подушку кладет, да еще два платья, одно зеленого цвета, с пояском, приедешь, не узнаешь, невеста...»

«Да-а-а, приехать это на тот год, своим подарков разных привезти. Матери бы макентош, что у Надьки в магазине висит за тысячу шестьсот, Аришке бы тоже, — и он стал подсчитывать, сколько понадобится денег, чтобы одеть Аришку и мать с ног до головы. Выходило тысяч семнадцать, восемнадцать, если еще мелочи учесть разные. Мебель, посуда. — Тридцать тысяч вполне хватит, — заключил он и вдруг встрепенулся, даже шапку на затылок двинул. — А как же с домом? Ведь на него сколько денег уйдет? Зачем же он, если не жить здесь? Все Мишка! Хотя — стоп! Дом-то можно продать, дома-то — кому они только не нужны? Еще больше денег получится, да-а-а», — и он тверже, с воодушевлением стал попадать в Мишкин след.

— Ты кого с материка вызывать собираешься? — не оборачиваясь, спросил Мишка.

— Да не знаю... Если только мать, сестра учится.

— Я не про это.

— А про что?

— Неужели никто в армию не провожал? — Мишка оглянулся.

— Как же...

— Ждет небось?

— Да ждет, — не понимая зачем, соврал Ванька.

— Меня тоже ждет, — сказал Мишка и поправил фуражку. — Да и тут нарыть можно, если покопаться.

«Копайся, копайся...»

Вот и ковчег, не заметили, как дотопали. Из него вылез Геннадий. С ружьем, перетянутый патронташем, в охотничьих сапогах.

— Пошабашили? — весело спросил он.

— Ну, — отозвался Мишка. — По утей?

— Посижу на вечернем перелете. Сколько венцов?

— Два. Значит, завтра жируем?

— Должны. И по всему периметру?

— Как штык! По всей протяженности корпуса.

— Молодцы-и-и! — Инженер направлялся к устью речки.

— А дичь сейчас стрелять вроде не разрешается, — бросил ему вслед Ванька, вытирая ноги о мешок.

— Уж не ты ли мне запретишь? — сказал Геннадий, на ходу пристраивая накомарник под шапку.

— Кто ж тебе запретит? — откликнулся из ковчега Мишка. — Хоть слона стреляй. Камчатка!

«Да-а-а, Камчатка! — Ванька оглядывался по сторонам. На западе, где еще виднелся край солнца, горели горы. Их подножия чернели лесом, говорят, непроходимым. В другую сторону лежал океан. — Конца ему, видно, нету. — И опять встали перед ним золотистые глаза с тающими искорками. — Послезавтра опять за щепками придет, если сегодня или завтра в клубе не увижу...»

Глава четвертая

Дядя Саша непослушными пальцами вдавливал клавиши гармони, разламывал ее на колене и хрипло-прехрипло пел:

Пойду в сад, в огород,
Наломаю хрену
И заставлю милку есть
За ее измену.

Надька Магомедова сидела рядом с Магомедычем, потная вся, красная, в сбитом на затылок платке, и сменяла дядю Сашу:

Ко мне милый приставал,
Пьяница-задира,
А я ему говорю:
«Люблю бригадира».

И снова дядя Саша:

Ты, матапечка моя,
С-под села Кунаева,
Обнимала ты меня,
А зачем — не знаила.

И опять Надька:

Гармонист, гармонист,
Не смотри по сторонам,
Смотри прямо на меня,
Завлекать буду тебя.

Узловатые, тонкие в запястьях и все в набухших венах, с толстыми, раздавленными металлом пальцами руки

Магомедыча чуть заметно дрожали, а лицо было грустное, грустное. Не только губы и морщины у губ опустились, но уголки глаз, нос и даже плечи подались вниз. А она выдавала:

А мне милый изменил,
А я и не охну,
Не зеленая трава,
В поле не засохну.

И она медленно опустила ресницы, будто согласилась с кем-то. Ванька глянул в ту сторону — Геннадий тоже опускал глаза, поднося стакан ко рту. Магомедыч вздохнул. «Дают прикурить, — подумал о них Ванька, — и не боятся».

Не далее как неделю назад Магомедыч носился по колхозу на тракторе, останавливая встречных-поперечных, искал Геннадия. На участке нашел. Стащил с лесов, схватил за лацкан пиджака и орал ему в самый нос:

— Дзачэм моя баба пристаешь? Э!? Дзачэм?

— Да что ты, Осман Магомедович, бог с тобой, — вертел головой Геннадий, пытаясь высвободиться из каменных пальцев Магомедыча, — как ты мог подумать? Наболтали тебе.

— Уезжай, дорогой, откуд приекэл. Такой ш-шеловек наш колхоз не надэ.

— Осман Маг...

— Я сказал. — Магомедыч резко оттолкнул Геннадия и пошел к трактору, не оглядываясь.

«Да конечно, — подумал о них Ванька, — дочка в интернате, сама на легкой работе. Опять же моложе его». Магомедыча ему жалко стало.

Сегодня перед вечером ковырялись они с Мишкой на Мишкином участке, канаву под фундамент долбили. Солнце уже к горам катилось, но работать еще можно было, решили на этот раз добить котлован. Вдруг слышат крики. Вылезли из своей ямы — идут по речке два сейнера. Новенькие. Черная краска так и горит на солнышке, белая тоже; флаги красные, яркие. Впереди «Бегун» пыхтит, дорогу показывает, то и дело гудки подает; разбрасывая искры, несутся с него красные ракеты, а по берегу пацанье валит: камни, палки в речку бросают. Собаки с лаем между ними носятся. По двое, по трое спешат бабы в новых юбках, платки на ходу повязывают, кое-кто из рыбаков бредет.

— Давай-ка, Ваня, пошабашим, — сказал Мишка, — у людей праздник, а мы что?

— Это конечно.

Когда пришли на ковчег, Володька уже ждал — к дяде Саше идти, у него встреча нового флота праздновалась.

. . . . . .

Не зеленая трава,
В поле не засохну.

Шум, гвалт. Геннадий спорил со Страхом — больше они с Надькой не смотрели друг на друга, чужие будто, Гуталин смешил ребят, кривляясь под частушки в каком-то невероятном танце, Мишка навалился на закуски, а Володька грустил, задумчиво стряхивая пепел. «Эх! — встрепенулся Ванька, после выпитой водки все происходящее он чувствовал острее. — Жизнь-то!»

И вдруг:

— Разрешите вас пригласить?

Оглянулся — Мурашова! Прямо так, сразу? Сквозь землю бы провалиться, да не провалишься. Он не знал, куда себя деть. Ведь за столом она шутила то с Мишкой, то с Геннадием. На Ваньку совсем внимания не обращала, будто его и не было. Хоть бы раз глянула и вдруг...

— Не торопись, — тихо говорила она, поворачивая его то в одну, то в другую сторону. А рука у нее теплая, мягкая, платье у нее без рукавов, от самых плеч руки голые. Он топтался на месте, никак не мог подладиться под музыку, то и дело наступал на ее туфельки.

— Не торопись.

Ее спина так и переливается под рукой, да еще платье скользкое, атласное, что ли? Мышцы на спине под платьем горячие, мягкие, будто дышат под ладонью. На оголенное плечо выкатилась розовая шелковая тесемочка. Ноздри щекотал запах ее волос и тела. Музыки Ванька не слышал.

— У, какой ты!.. Давай я поведу?

«Пропал, — оглянулся. Надька уставилась на его ноги сквозь полуопущенные ресницы. — Ну все!..»

Полюбила я его,
А он, девочки, рыбак,

У него насчет любви
Не работает чердак.

«От дела, да еще ребята смотрят!» Но никто не смотрел. Геннадий вычерчивал что-то в записной книжке, совал ее Страху под нос, на что тот махнул рукой; Леха, наплясавшись, искал место, где бы присесть, а Володька все легонько постукивал пальцем по папиросе. Только одна надрывалась Надька:

Я надену платье бело,
Белое-пребелое,
Я такого ухажера
Из бумаги сделаю.

«Тьфу!..»

— Не торопись же...

Внутри щемило, перед глазами все плыло и было сладко, сладко.

Глава пятая

Зина Мурашова уехала.

Потянулись над Дранкой косые стаи журавлей. Они тянулись плавно, печально, и конца им не было. «Иглы-иглы...» — Их курлыканье душу терзало. Вспоминалось другое небо, другие журавли.

Милое, милое Куприяново! Балка за деревней — переплетение оврагов, заросших бузиной, калиной, терном, вишнями, сливами. В детстве они втроем: он, Петька и Аришка сбегали бродяжничать туда каждую осень. Зайцев всполахивали, свистели лис по песчаным берегам оврагов, где были их норы, шугали снегирей, сорок, а вокруг все желтое и багряное, печально поникшее. Земля устлана влажными листьями, на оголенных яблонях-дичках одинокие яблочки кое-где. Бывали с Петром там и когда в ночное гоняли... Натаскивали сухих веток, снопов конопли — конопля горит трескуче, — переворачивали картошки в жару. Петька обычно врал что-нибудь ребятам, а Ванька подбрасывал сучья в огонь.

Осень на Камчатке куда роскошнее, чем дома, сплошное раздолье красок, запахов и птичьих криков. Сопки у подножий так и горят — это заросли рябины и шиповника, средний пояс сопок ярко-зеленый — это

кедрачиная тайга, а вершины золотистые — там березовые рощи. Разливы озер подсинились, трава поникла, на горизонте стояла сосущая глаза туманная дымка. А птичий гам стихал только к ночи. Днем же все эти собиравшиеся в неведомые края компании орали так, будто кто-то включил исполинский магнитофон с однообразной бобиной. Во все концы бахали выстрелы.

А над всем этим всхлипывали журавли. Высоко, высоко.

На выходные дни вместе с ребятами Ванька тоже пошел на охоту, ружье у дяди Саши одолжил. Но ему не повезло в первый день: то с выстрелом запаздывал, то курки оказывались не взведенными, а вообще не попадал. На другой же не пришлось поохотиться: когда возвратились к шалашам, увидели полнейший разгром — консервные банки, ложки, кружки вдавлены в песок исполинскими медвежьими лапами, от дичи одни перья, от хлеба и сахара даже крошек не осталось.

Оставаться караулить никто не соглашался, хотели уже жребий метать, да Ванька:

— Давайте я?

— Ну вот, — обрадовались ребята, — а мы тебе долю выделим.

— Ничего не надо.

Когда уха из утятины-чирков — а они самые вкусные — готова, чайник шипит, дровишек вдоволь, он ложился на спину, закрывал глаза и сквозь птичий гам улавливал всхлипы журавлей. «В Куприянове сейчас картохи копают, холодновато по вечерам, от костров отиной * пахнет. Недавно мать письмо прислала: «...соколик наш Ваня, мы тебя ждали у осени, а ты еще остался денег заработать... Не гонись, всех не заработаешь... Председатель не обманул, солому выписал самонаилучшую и леса по недорогой цене отпустил. Аришка уже работает на ферме, ударница, ждем не дождемся тебя, сыночек...»

А в небе: «Иглы-иглы!»

«Может, над Куприяновом полетят!»

* * *

Как-то утром, когда бригада собиралась сдавать общежитие — осталось только кое-что из отделочных: где

---

* Отина — картофельная ботва.

плинтус подтянуть, подкрасить что, зашпаклевать пол, мусорок подчистить, — мороз сковал все. И в Дранке и над Дранкой. Тянул ледяной ветерок, кружились белые мухи, земля вся в трещинах — это она ночью так бухала, — бока ковчега обросли ледяными козырьками, сам он отяжелел и покрылся мохнатыми серебристыми иголками. И крика ни одного.

Бревна под топором звенели, сам воздух тоже звенел, под брезентовые рукавицы пришлось надеть меховые. Геннадий в это утро был особенно возбужден: в короткой шубе — это Ванька ему подрубил ее, по моде сделал, — унтах, корякском малахае. Улыбался, прохаживаясь на месте сборища бригады возле мехцеха.

— Загрустил ты что-то, Ваня, — фамильярно толкнул он Ваньку. — Червоточинка небось?

— Да так что-то.

— Вот махнем общагу — и нам не страшен серый волк.

Тихо все... Только радостный собачий лай. А криков никаких, не то что журавлиных.

Глава шестая

— Нет, не могу я, — говорит Ванька.

— Чего так?

— О стенку головой хочется.

— Ну ты даешь! — Мишка не знал, что и сказать. — Толчки! — Мишка отвернулся, опять уткнулся в свои книги, он их целую кучу от Геннадия натаскал.

Ну и зима на Камчатке! Дунет — свету не видно. Войдешь в полдень и не веришь, что это полдень: заместо солнышка блуждает где-то в метели расплывчатое пятно, а к трем часам и его уже нету. И свистит все, и воет, и вырывает двери из рук.

За лето ребята, конечно, не успели домá поставить — это в мечтах просто выходит, а начнешь хлопотать... — только Мишкин до крыши довели да прикрыли на живую нитку, чтоб хоть материал хранить, и поселились в колхозном общежитии. Общежитие что надо: светлое, теплое, чистое, с верблюжьими одеялами и хорошей мебелью — колхоз разорился. В комнатах по двое, по трое, редко по четверо.

Ванька с Мишкой поддерживали в своей комнате порядок, комендантша от них выходила вся в улыбках, а вот в соседней, где организовали бивак страховские «муроводы», команда с «Бегуна», чего только не творилось! Ужас! Октябрь и половину ноября «Бегун», обледенелый весь, похожий на Деда Мороза, таскал баржи от пароходов — весь груз, как назло, пришел осенью. Ребята охрипшие, обмороженные, с красными от ветра и бессонницы глазами, злые, как дьяволы, орудовали топорами да ломами, скалывая лед с бортов, или всей командой таскали толстый, с ногу, ото льда буксирный конец; поливали его горячей водой, она тут же замерзала.

И вот они, законвертовав * «Бегун» на зимовку, ввалились в общежитие, грязные, помороженные, усталые. И в этот же день стали праздновать окончание навигации. И на второй день и на третий.

По утрам у них решалась в основном проблема гонца, кому в магазин бежать. Лежали, переговаривались, упрашивали друг друга.

Пришел к ним в сопровождении комендантши Геннадий.

— Из колхоза выгоним! — кипел он. — Дипломы отберем!

— Тсс! — подошел к нему Краб, пошатываясь и водя пустым стаканом — только выпил. — Н-не те кадры!

Как ошпаренный кинулся Геннадий из комнаты. А Краб вслед:

— Ас-с-са-а!

Пришел и Василий Васильевич.

— Василь Василич, — еле ворочал языком Краб, сжимая дужку кровати и болезненно морщась, — последний денек, и к бабке не ходить, последний!

— Но ведь всю водку не перепьешь, — сказал председатель.

— З-з-завязываем!.. И к бабке не ходить, завязываем!

Вышли они из комнаты. И тут Гуталин навстречу, он из умывальника по стенке пробирался.

— А-а-а! Прошу на чай. — И, делая реверанс, чуть не упал. Упал бы, да Ванька подхватил под руки, он вслед за Гуталином из умывальника вышел.

---

* Конвертовка — приготовление судна к зимовке.

— Гон давать, гон, — раздраженно говорил Геннадий, — всей комнате гон.

— Проще всего, — тихо сказал Василий Васильевич. Помолчав, добавил: — Такие работники!

Навалилась на Дранку пурга как большое метельное чудовище, воет в трубах, свистит мимо окон, затыкает рот. Дяди Сашины собачки — его дом рядом с общежитием — подвывают на разные голоса. И ночь валяешься на койке, и день — головой о стенку захочешь. А делать нечего.

Мишка обложился книжками. Про строительство все. Ванька тоже было взялся узнать про строительство, да не поймешь в них ничего, одни крючки да закорючки, даже картинок нету.

А пурга воет и воет. И никуда не денешься.

— В клуб сходи, — предложил Мишка, он откинул учебник, сладко потянулся. — Раскрутись малость. Там девчата из комбината будут, это уж наверняка. Чего в клуб перестал?

— Не хочется.

— Тогда уж не знаю...

«Чего перестал?! Пошел бы, да...»

Недели две назад так же вот валялись они, валялись — невмоготу стало. Пошли в клуб. В клубе Мишка сразу подался в прыгающую толчею, а Ванька окинул взглядом тех, что на скамеечках возле стен сидели — все старухи да некрасивые, — и не пошел танцевать. Подался в другую половину зала, где на бильярде с же-

лезными шарами — шары, кстати, по три сразу в лузу ходили — подростки играли, и присоединился к ним. Отстукал партий десять, надоело. «Эх, черт возьми мою машину все четыре колеса, что ж мы?!» И пригласил танцевать Эллу Ивановну, заведующую клубом, вдову — ее муж в прошлом году пошел в тундру на охоту и не возвратился. Да. Пригласил. И откуда смелость взялась? Так вертел ее вокруг одной ноги — после случая с «не торопись» танцевать научился, — так вертел, да в одну, да в другую сторону. Пропускал под руку, на лету подхватывал, крепко прижимал к себе и опять кружил. Дышал ей в самую шею, пылающей щекой прикоснулся несколько раз к ее прохладному виску. Она разомлелась вся и прикрыла глаза. Как перед сном. После танца и говорит ей:

— Провожу?

— У тебя же есть.

— Да ты что? Кто же это у меня есть?

— А кто летом за щепками ходил?

«Ну и колхоз, — опешил Ванька, — все знают... А ведь ничего не было, да, может, и не будет ничего. Толчки, как говорит Мишка».

— Ну чего краснеешь? — улыбнулась она.

— Жарко.

— Разжарился. — И вздохнула. Расстроенно будто.

После этого разговора опять шары на бильярде гонял. Уходить стал, один из последних уже, она стоит возле двери.

— Без меня закроют, — сказала и виновато улыбнулась.

«Вот это да-а-а-!.. — А у него и смелости уже не было, с шампанским выдохлась, что ли. — Как же теперь?»

Лезли по сугробам, она по тропке — ямам от больших сапог, — а он рядом по целине ломился. Она часто оступалась, взмахивала руками, а у него не хватало духу поддержать ее. Хоть бы руку протянуть! А ведь чувствовал, что надо, да и сама она этого хотела — наверняка знал, но никак... И за талию бы можно, и за плечи — брови, ресницы у нее, пряди, выбившиеся из-под шали, покрыты инеем — прижать бы. Если рассердится, шуткой отделаться можно, оступился, мол. «Толчки-и-и». Наконец она сама схватилась за его руку и до самого дома держалась. На крыльце она обстукала валенки, поправила платок.

— Ну вот и долезли, — сказала...
— Ага.
— Что «ага»?
— Да долезли ж....
— А еще что ты скажешь?
— Да что ж... — Ванька потупился.
Молчали.
— Ох, господи! — Она вздохнула. Глянула на него и отвернулась.
Опять молчали.

Она покусывала губы. «А кто я? — думал Ванька. — Ей же совсем не это надо. У ней двое ребятишек, ей муж нужен, кормилец, а я? Переночевал да ушел. А опосля как, когда приходить не буду? Уйти-то рано или поздно придется, не вечно ж эта лавочка продолжаться будет, а потом как в глаза смотреть?»

Так и стояли. Она стала пристукивать валенком.
— И долго стоять будем? — спросила.
— А что ж... холодно ж... а что ж...
— Ничего ж! — в тон ему ответила она и захлопнула дверь.

«Ведь дурак, — думал он, возвращаясь в общежитие. — Круглый что ни на есть, настоящий. Ведь в Куприянове с девчатами и обнимался и целовался, а тут? Можно бы и на чай напроситься или бы сказать, что замерз... Тьфу! А губы-то? Влажные, поблескивают в темноте. Из-под шали на груди так и пышет теплота... Идиот... Болван, эх!»

Когда ложились спать, рассказал Мишке про все.
— Конечно, дурак, — согласился он, — она ж весь вечер ждала, когда ты шары катать перестанешь.
— Не хотелось что-то.

— Тогда другое дело, — все понимающе продолжал Мишка, — тогда конечно. Да и вообще не надо бабу с панталыку сбивать, если она тебе не нравится. Мурашова, конечно, другой сорт.

«И этот...»
— А при чем Мурашова?
— Да при том.
— Выдумываешь чего не надо.

— А Эллу Ивановну надо бы до конца проводить, — не обратив внимания на Ванькин протест, рассуждал Мишка, — такая женщина!

— Какая?

— Роскошная, как говорит Геннадий.

— Вот он пусть до конца и провожает, — будто равнодушно ответил Ванька, а внутри так и кипело: «Идиот, не смог как следует, болван... Ведь сама же ждала... Тьфу! Так тебе и надо, Митюха!» — Он же специалист по этим вопросам!

— С нею у него вроде не получается. Но дело не в этом.

— А в чем?

— А в том, Ваня, что раз уж женщина сама к тебе набивается, то обижать ее никак нельзя. Грех. Ей ведь первой подойти стыднее! Стыднее или не стыднее?

— Ну, стыднее.

— А она осмелилась. Представляешь? А ты...

— Да-а-а...

— Ну а если она хотела просто хвостом крутнуть, — глубокомысленно продолжал Мишка, — то ты, мой друг Ваня, пропал.

— Эт почему же? — Ванька приподнялся с койки. — Что же я сделал?

— Что-о сделал? Ха! Ты как вчера народился. — Мишка тоже приподнялся. — Ведь засмеет. Расскажет бабам всем... Ухажер! На весь колхоз разговоров будет.

«Черт возьми! — У Ваньки даже спина вспотела. — А ведь точно, бабы, они ж любят друг перед дружкой повыхваляться».

Ну это бы ладно, пережилось бы, подумаешь, до конца не смог проводить, но дальше получилось такое, что... В общем, дня через два вваливается с громыханием в их комнату матрос по кличке «Моль». Отовсюду — из-за пазухи, из карманов, из рюкзака — торчали золотистые головки шампанского.

— Айда к нам? Отвальная.

— Куда же это вы отваливаете? — поинтересовался Мишка.

— В Оссору, сейнер дают, — с гордостью сказал Моль. — Под снегом лежит, едем откапывать и р-ремонтировать.

— Ты смотри, — засмеялся Мишка, — вам даже сейнер доверяют. Ну хоть потише без вас станет.

— Наш кеп сказал: «Последний коверкот!» — При этих словах Моль сделал отмашку.

Пошли. Бичей там уже битком. После каких уж разду-

мий и душевных колебаний — а может, шампанское здесь сыграло свою роль, но оказался Ванька на крыльце дома Эллы Ивановны. «Уж что-нибудь да придумаю, — разбираемый храбростью, топтался он возле ее двери, — на проводы приглашу или скажу, что замерз... Чего там...»

Она вышла. Она была в шубе поверх ночной сорочки — постелью, теплом так и пахнуло от нее.

— Ты чего?

И ни одной фразы не оказалось.

— Ты чего, Ваня?

— Да я, видишь ли, такое дело...

— Нет, Ваня, по ночам делать визиты нехорошо, — обрезала она его. — Все люди давно спят.

— Это-то да, но...

— И ты, Ваня, иди спи. — Она легонько отстранила его, закрыла дверь.

«Тьфу! Надо ж дураку додуматься? Поперся... Как же теперь? А в клуб? Она ж каждый день там... Да и вообще... А бабы?»

Так и закрылась для него дорога в клуб.

— Значит, не хочешь в клуб? — не отставал Мишка.

— Нет.

— Ну смотри, сноха, тебе жить. — И Мишка опять стал шебуршить своими книжками.

А пурга воет. Ворочайся не ворочайся, хоть какие мысли перемалывай, а деться некуда...

В последнем письме, что еще до пург было, мать писала: «Соколик наш Ваня, из-за денег в каких ты там снегах да холодах... бог с ними совсем, всех не заработаешь... У нас теперь тоже деньги в колхозе дают, люди повздохнули, приезжай, сыночек, я буду внуков нянчить...»

Глава седьмая

— Это ты зря, — ворчал Мишка, — в клуб...

— Миша, иди ты к черту со своим клубом! Я ж говорю, о стенку головой хочется.

— Не спеши. Вот весна настанет, веселее пойдет.

— Уеду.

— Тут такие дела заворачиваются, а ты уезжать.

— А что они мне? Эти дела-то? — Ванька отвернулся.

— Как что? — удивился Мишка. Он пересел на Ванькину кровать, руку положил ему на колено. Смотрел задумчиво, будто в самого себя. — Этим летом будут объединять Уку, Ивашку и наш. Весь флот сюда переведут. А для него, знаешь, сколько надо? Одних складов да мастерских... Жилье для народа. Больницу, школу, ясли, детский сад. Молотьбы, Ваня, навалом. Лет на пять, как не больше.

— Ну и что? — равнодушно спросил Ванька.

— Ты осенью на собрании не был?

— На «Бегуне» в Оссору за товарами для Надьки ездили.

— Геннадий два часа докладал. Одних капитальных — коровник, свинарник, птичник...

— Там ломают, здесь строят. На месте им не живется.

— Понимаешь, Ваня, там жить, конечно, можно, но не выгодно — сбыту нету. Ну куда яйца из Уки повезешь? В Оссору? Туда «Ударник» поставляет, он под боком. А молоко из Ивашки? В Петропавловск, на самолете? Оно дороже коровы обойдется.

«Как председатель рассуждает».

— ...но самое главное, — продолжал Мишка, — с рыбой у них ничего не получается. Они прошлой зимой наваги два плана взяли, а не отгрузили, туда ж ни один пароход не пробьется, ихний култук * и зимой и летом забит льдами. Она полежала до весны, пропала, конечно. Списали. А людям за работу платить надо, им же жить надо. С оленеводством тоже ничего не получается, и там, Ваня, оставляют один только Госпромхоз, охотников.

«Дом Советов, а не Мишка!..»

— Так что, Ваня, про свое Куприяново забудь, — Мишка хлопнул Ваньку по колену, — делать там нечего.

— Найдется.

— А-ах! — отмахнулся Мишка. — Разве сравнить с нашими? Наши три колхоза, что объединяются, в банке

---

* Култук — залив (местн.).

денег держать будут больше, чем... — Мишка замолчал, подыскивая слова. Не нашел. — Такие дела.

— А ты откуда знаешь?

— Откуда, откуда. Говорили. У нас же как? Вытащил рыбку из воды — чистый доход, не то что на заводе, где разные машины выпускают.

— Не знаю, на заводе не работал.

— И не обязательно. Вот слушай: чтоб выточить гайку, что для этого надо? Для этого надо, — Мишка стал загибать пальцы, — выкопать из земли руду, переплавить ее в железо, привезти на завод, наделать заготовок и тогда уже вытачивать эту гайку. И от этой гайки, как подсчитать, дохода — вот! — Большой Мишкин палец торчал между остальных согнутых. — А у нас рыбку вытащил из воды и в магазин — чистые денежки. А рыбка у нас и красненькая есть, да еще икричка. Усек?

— Чего же не усечь?

— Так что учись, Ваня.

— Ха! Зачем? — усмехнулся Ванька. — Чтоб топор держать, диплома не требуется... А икрички да лососенки все одно для Куприянова не хватит. Без ученья понять можно.

— Ну что я тебе на это могу сказать? — Мишка задумался.

— Да ничего. Что ж ты можешь сказать.

— Нет, скажу. Вот, к примеру, лосося добывается мало, если по сравнению с другой рыбой. А людей у нас сколько?

— Хоть бы по икринке, да всем. А в Куприянове про нее ничего и не знают, отсылал матери — кашу варила.

— Кто ж не согласен, чтоб по икринке, да всем! — будто самому себе говорил Мишка.

Распахнулась дверь, ворвался Володька, как всегда возбужденно насмешливый.

— Мировые проблемы решаете? Привет! — Он кинул Мишке книжку. — Полистай, любопытная книжица.

— «Экономика и планирование производства», — прочитал Мишка, — а мы как раз экономику и разбираем.

— Значит, отгадал. — Володька присел рядом с Мишкой.

— Почти что, — продолжал Мишка, — вот мой друг,

Ваня, возмущается, что икра не доходит до куприяновского сельмага.

— Свинство, конечно, — улыбнулся Володька, — надо будет министру жалобу написать. Как же это так?

— А ты не смейся, — вспыхнул Ванька и резко приподнялся с койки, стал шарить под кроватью, отыскивая валенки, — собрались тут ученые книжники!

— Куда это ты?

— В контору. Пойду спрошу какую-нибудь работу, а вы тут, други-товарищи, решайте мировые проблемы. Меня они, между прочим, не интересуют.

— А какую сейчас работу дадут? — Мишка повалился на Ванькину кровать. — Только снег с места на место перекидывать.

— Хоть снег, хоть снег! — топал Ванька валенками.

— Вали, вали.

Выскочил на улицу и враз успокоился, повеселел даже. «Что-нибудь да дадут, а там весна...» Пурга утихла, только поземка, играя, стлалась веничками мимо ног. За плетнями и калитками она вилась веселыми роями на островерхих бугорках.

Бежал вприпрыжку, на ходу застегиваясь и натягивая шапку. Не заметил, как поравнялся с домом Эллы Ивановны.

— Вань, на минутку?

Оглянулся: на крыльце стоит Элла Ивановна, поглаживает локти — шерстяная кофточка у нее без рукавов. Остановился, неудобно как-то.

— Зайди на минутку!

«Зачем же я ей? Ну и дела».

Зашел. А там боцманша, перед нею шипел самовар и высились горки пирожков и конфет на тарелках.

— Богато живете. — Ванька тушевался. — Здравствуйте!

— Здравствуй, Ваня, здравствуй, — хлопотала возле него Элла Ивановна. — Садись чай пить. — Она стащила с него шубу — ну не будешь же сопротивляться? — пододвинула табурет.

— Мне же некогда. — Хоть убей, не мог он сопротивляться. — Зачем звала?

— Письмишко тебе с почты передали. — Вместо того

чтобы передать письмо, Элла Ивановна усаживала его на табурет. — Пробуй пироги.

— Спасибо. Письмо-то где?

— Успеешь. Романовна сейчас уйдет.

И точно, боцманша схлебнула духом с блюдечка и, не простившись, поплыла за дверь. «Ну и организация!»

Выпил все-таки стакан чаю, съел пирожок. Письмо было от матери, сунул в карман.

— Ну спасибо вам! — Схватил шубу и к двери.

— Ваня! — Элла Ивановна догнала его в сенцах, взяла за руку. — Куда спешишь?

— Да по делам.

— Успеешь. — Она легонько потянула его назад, подошла к нему вплотную, смело обняла его, прижалась. Голову положила ему на грудь. Он растерянно поглаживал ее плечи.

— Ваня. — Она подняла голову, дышала ему в губы. Рот у нее приоткрыт, на глазах туманчик. — Ну поцелуй меня, Ваня! Не хочешь? — Она опять уткнулась в его плечо. Ее голос звучал обиженно.

— Ну...

— Огонек ты мой, — шептала она, прижимаясь к нему, — вот я вчера не пустила тебя, дура, а потом всю ночь проплакала. Зачем я это сделала? Дура, дура!..

— Ну и правильно: пьяный, ночью!..

— Нет, не правильно, Ваня! Нет, нет! — отстранилась она. — Не правильно! — Она гладила его лицо, шею. — Вот я с другими ребятами танцую, а о тебе думаю. Мне ведь ничего не надо. Ничего. Ты холостой, свободный, а у меня вон их двое. Да я и старше тебя. Дело не в этом, я ведь стеснять тебя не стану: хочешь приходи, не хочешь не приходи. И ни к кому ревновать не буду. Ой, а, наверное, буду, дура! Да нет, гуляй с кем хочешь, мне бы только смотреть на тебя, золотко мое. Садись, Ваня, садись, я тебе фотографии покажу. Ну поцелуй меня, золотой мой! — почти умоляла Элла Ивановна. Она была маленькая, нежненькая, обиженная. Клонилась к нему, брови ее дрожали. — Я знаю, что не нужна тебе, чего там, не одну ночь думала, голова ломается. Ой, Ваня!.. Ну еще разочек, огонечек мой, хочешь, я постель разберу? Детей я к Романовне отведу. Ванечка!.. Молчишь?!

Ее было жалко. Разрывался весь. «Бедняжка, с двумя пацанами колотится!» Ему вспомнилась мать, как с ним да с Аришкой хлопотала: то муки побежит занять, то пятерочку на керосин.

— Огонечек, — как сквозь сон, улыбаясь, шептала она, — а руки-то у тебя какие жесткие. — Она взяла его руку, прижалась к ней щекой. — Ваня, ну скажи, что я тебе нравлюсь, обмани!..

«Совсем не такая, как на людях!»

— Ой, что говорю, — очнулась она, — Ваня, ты не слушай меня.

— Подожди, — сказал он, освобождаясь из ее рук, — пойду ребятам скажу, чтоб не ждали.

— Что у вас там? На охоту небось?

— По куропаток.

— Ох!

— Я приду.

— Приходи, приходи, Ваня. Обязательно приходи. Ребятишек я спать уложу. Приходи, хороший мой, приходи!

Выскочил — и в боцманскую, там разгар отвальной. Влетел, никого и ничего не замечая, — впрочем, там трудно было что-либо различить от дыма и шума — охватил голову руками и уткнулся в колени.

— С чего это, ангел мой? — услышал он над ухом громоподобный бас Чамбы.

— Не могу я больше, дедушка. Скоро чокнусь...

— Сначала выпей да закуси, ангел мой, — дед совал Ваньке стакан, — опосля чокайся.

— Не могу, — квасился Ванька, отстраняя дедову руку, — пурга воет, собаки воют, все пристают. Жить невозможно, дела никакого нету, скука...

— Ничего, ангел мой, ничего. Все пройдет, все перемелется.

— Ничего не пройдет, чокнусь я, пропаду...

— Вот поедем со мной в тундру, ангел мой, вехи ставить от наших устей до Макарьевска. На воле, ангел мой, все пройдет, воля, ангел мой, большое дело.

— Поедем, поедем! Поедем куда угодно!

— Только денег, ангел мой, я тебе платить не буду. Поссовет только мне одному выделил, Ала Ивановна...

«И тут про нее... А я-то? Что же я делаю?»

— ...каждый год только мне это дело доверяют. А ты будешь навроде помощника, за харчи.

— Никаких денег не надо... только бы живому остаться.

— Куда ты денешься, ангел мой? Завтра и соберу. Кукуль, торбаса * найдутся, шуба у тебя хорошая. Собачки у меня добрые.

«А она же ведь ждет, — стучало в затуманенном мозгу Ваньки, — сидит или ходит, на часы смотрит, а я тут с муроводами...»

— Ид-д-диот я проклятый. Мучитель... Я, дедушка, мучитель, — хлюпал он деду в плечо, — негодяй, предатель...

— Ничего, ангел мой, ничего.

— Дедушка, — сусолил он деду, — я предатель, изверг... Ну побей меня, дедушка...

— Что ты, Ваня, ангел мой, — бубнил, ничего не понимая, дед.

Глава восьмая

Геннадий обзавелся друзьями сразу, само собой как-то. Общие интересы, что ли?

Первым с ним подружился главбух Петрунь, толстый — и как только за стол вмещался? — неповоротливый и в то же время хлопотливый и мудрый: все хитро-талантливые комбинации, которыми наставляли нос другим председателям по сдаче продукции, например, или по «выбивке» ссуды в банке, родились в его голове. Сам же Петрунь считал, возможно, не зря, что он в совершенстве постиг устройство не толькой своей, колхозной, бухгалтерии, но и всей людской. Держался с озабоченным расстройством: «Да что мне твое заявление, денег нету». Другим приятелем Геннадия стал Платоныч, директор комбината, высокий, прямой, высохший — точнее, вымерзший — старик с проницательными глазами. Платоныч был страстный любитель ездовых собачек, а еще более страстный охотник — каждую осень пропадал в тундре. Самым же близким другом был Виктор, заведующий молочной фермой, птичником и оленьими стадами.

* Торбаса — брюки вместе с сапогами из оленьей шкуры.

В длинные пурговые вечера вспоминали материк, просматривали газеты, сражались в шахматы. Организовали «пульку» — а чем незаметнее убьешь время? Не «Полуночные» же да «Задорные» отрывать в клубе? Впрочем, Геннадий было увлекся ими, так же лихо вместе со всеми рыбаками прихлопывал да притопывал в конце частушки, но потом не видно стало его в клубе.

Сейчас друзья отложили шахматы и карты — с утра заседали, — решили передохнуть. На столе шипел чайник — чаепитие на Камчатке возведено в степень культа: приехал человек из тундры, первым делом чай, потом уже все остальное. У местных же чай самое первое угощение и первое лакомство, даже каламбур на этот счет есть. «Чего морда широкая?» — «Цай пьем». — «А шея чего тонкая?» — «...Цай да цай». На маленьком трехногом столике, Ванькиного производства, разбросаны карты.

Шипел чайник... Петрунь ел распаренные в банках котлеты. Платоныч в маленьком заварничке подсушивал чай, держа его над электроплиткой; Виктор, развалившись на диване, смотрел в потолок. Геннадий вышагивал по комнате.

— Скорее бы кончались эти вьюги, — говорил он. — Самому выть хочется.

— Это, Гена, ты еще не привык, — буркнул Петрунь, — пусть воет, не мешает же.

— Скоро весна, — добавил директор, покачивая чайничек над плиткой, — не до скуки будет.

— Ох, и хлопот же с этим объединением, — оживился Геннадий, — ни у нас, ни в Ивашке плавсредств нет, Ука же вообще медвежий угол. В Пахаче участок начинать с гвоздя.

— Ну а как же ты хотел? — уронил директор.

— И все-таки, Платоныч, этой весной мы пошатнем ваши доходы. А годика через три нам придется сворачиваться.

Директор заваривал чай.

— Нам только сдвинуть этот снежный ком, — продолжал Геннадий, — а там он себя покажет.

— Ничего не покажет, — спокойно сказал директор. — Решительно ничего.

— Да еще как покажет, — повернулся к нему Геннадий. — Сейнер, между прочим, окупает себя за один год,

а там чистый доход. Построим свои рыбцехи, мастерские, да хоть судоремонтный завод, наша речка вместит весь Камчатский флот. Кончится эта лавочка, что за ремонт какой-то баржи мы платим вам больше, чем она сама стоит. Холодильники... Сами будем рыбу обрабатывать. А то ведь мы ловим селедку, нам платят за центнер сто восемьдесят пять рэ, вы же ее чуть подсолите, затолкаете в бочки — и вам втрое дороже. — Геннадий развел руками.

— Гм, — гмыкнул Петрунь.

— Сначала разберитесь с тем, что есть, — поднял голову директор, — хоть подобие порядка наведите. Набрали народу в колхоз, а не подумали, что их надо обеспечить жильем, работой. Ведь люди не знают, куда себя деть. В вашем общежитии, о котором вы кричите на всех совещаниях, ужас что творится, про команду с «Бегуна» анекдоты ходят. Вы ведь набрали!..

— И мало набрали, — перебил его Геннадий, — весной опять нехватка будет, больше надо было брать. Такие кадры! Один Гуталин что значит. — Геннадий еще тверже зашагал по комнате.

— Я предлагал на правлении брать сезонников, — вмешался Петрунь. — Он путину отработал — и расчет. Одеяло с матрацем и две простыни — никаких больше расходов. Тогда бы мы купили не два сейнера, а пять.

— Разве наших правленцев убедишь, — вздохнул Геннадий. — Попробуй перекричи Магомедова или Демидова! Василий Васильевич за них, к сожалению. Вот хоть добыча пушнины и оленеводство: пустяк ведь, ну куда мы уедем на этом?

— Да куда тут уедешь? — вмешался Петрунь. — В этом году у охотников вышло по тридцать одной единице соболя. Ну что это?

— Ох и твердолобые же наши правленцы! — поморщился Геннадий. — Флот надо увеличивать, обработку — то звено в хозяйстве, что приносит деньги.

— Прожекты.

— Ну почему прожекты? Все реально, только надо понять это.

— Насчет флота в райкоме надо протолкнуть, — добавил Петрунь.

— Райком вам не даст в одни руки добычу и обработку рыбы.

— Почему? — удивился Геннадий.

— Ну прежде всего потому, — директор помешивал в стакане ложечкой, — что это бы значило заморозить миллионную махину комбината.

— Так мы у вас ее купим. Со временем, разумеется.

— А людей? Куда ты денешь людей? Ну хорошо, сезонных рабочих мы вербовать не будем, их заменят Гуталины, а служащих? У меня полторы сотни служащих. В колхоз никто из них не пойдет, потому как не захотят терять ни пенсию, ни годами жизни на Камчатке выработанную двойную зарплату. У каждого из них квартира, семья. Их что? На материк выселишь? Так что не мешай правленцам со своими идеями.

— Деньги, деньги под носом лежат, — вспыхнул Геннадий, — а мы спим. А наши правленцы... — Геннадий постукал согнутым пальцем по столу.

— Ваши правленцы, — спокойно заметил директор, — хотят жить здесь и здесь устраивают жизнь. А ты ведь через пару лет в главк уйдешь. Гуталина за собой не потащишь.

— Да, Гуталин, — засмеялся Петрунь. — Кроме водки, ему ничего не надо.

— Я вижу, всем вам ничего не надо. — Геннадий заломил за голову руки.

— Совсем не так. — Директор задумчиво прихлебывал чай. — Нам много надо, но не таким способом, как ты предлагаешь.

— Скучно с вами говорить. — Геннадий налил себе чаю.

— Скучно? Съезди в Питер, развлекись, — поднял бровь директор, — работы сейчас мало.

— Ген, а не махнуть ли нам действительно в Питер? — сказал Виктор, присаживаясь к трехногому столику. — Хоть на недельку.

— Шапки нету, — засмеялся Геннадий, — а от моего малахая там шарахаться будут.

— Гм! Шапки?! — удивился Петрунь. — Да я передам записочку в Рыбкооп, Борисовичу, и будет тебе шапка. Какую хочешь? Пыжик? Ондатру?

— А может, у него нету? — усомнился Геннадий.

— У Борисовича да нету? — Петрунь даже карты перестал тасовать. — Да у него птичье молоко есть. Нету?! Через неделю будет тебе шапка. Вот нарта с кассиром пойдет в Оссору, передам записочку. А малахай отдай Гуталину.

— Фу, черт! — Геннадий тоже присел к столику. — Надоело все! Продолжим, хватит об этих Гуталинах.

— Да, Гуталин, — повторил Петрунь, раскидывая карты, — это чудо из чудес. — Видимо, ему понравилось это выражение. — Чудо из чудес, — повторял он, раскидывая карты. — Чудо из чудес.

Так или примерно так проводил Геннадий длинные пурговые вечера, об этом или о другом говорили — чаще об этом, потому что уж так устроены мужчины: как соберутся, про работу и разговоры.

Глава девятая

Искрится тундра. Ни конца ни краю ей. Куда и сколько ни гляди — белое безмолвие, дух захватывает, как подумаешь: будто на верхушке земли находишься, а от тебя идут меридианы к другим странам и государствам.

Собачки потряхивают спинами, ковыляют и ковыляют. Шипят полозья по чуть присыпанному снежным пушком насту, уносятся за горизонт две полосы от нарты и рассыпчатый собачий след.

Ванька сидит за широкой, совсем не стариковской спиной деда и посматривает по сторонам. На душе неосознанное блаженство. То ли от девственной белизны снега, то ли от бесконечности простора, то ли от того, что встретил вот хорошего человека, который бескорыстно подал руку и вытащил из тоски. Он благодарен старику, волна нежности так и обволакивает сердце, но сказать об этом стесняется.

— ...А на это, ангел мой, я тебе анекдотец расскажу. — Дед поудобнее устраивается, сует в редкозубый рот папиросу, чиркает спичкой — облачко пронзительно пахучего дыма проплывает мимо Ваньки и уносится в серебристую даль. Ванька тоже достает папиросу.

— Вот слушай. — Дед с хрипотой затягивается. —

Значит, едет цыган по степи. Да. Едет. Дело к ночи, на ночевку располагаться надо. Распрег он свой фургон, пустил коней...

— Попутал?

— Ну это... Попутал или не попутал — другой разговор. Анекдот же.

— Непопутанных нельзя, опосля не найдешь.

— Ну ладно, — продолжает дед, — значит, попутал их, пустил. Потом стал ходить что-то вокруг своего воза, кнут, что ли, искал? Да. Ходил, ходил, споткнулся о хомут и говорит: «Тьфу, теснота-то какая!»

— В степи-то? — смеется Ванька.

— В том-то и дело, ангел мой, — дед поворачивается к Ваньке, — что у нас раздолье тут, слобода. Есть охота работать — работаешь, захотел погазовать — газуешь. Никто тебе ничего. Вольный казак!

— Это-то да, — согласился Ванька, — и деньги тут хорошие.

— Да тут, ангел мой, и без них можно. У нас рыбы — руками бери, мяса — не ленись только, хоть оленя, хоть медведя, про дичь я уже не говорю. Тут и сейчас некоторые в деньгах не очень-то понимают.

Дед надолго умолкает, достает из кармана новую папиросу, потом продолжает: — А зачем им деньги? Ежели у тебя в паспорте записано, что ты коряк, или чукча, или эвен, тебе и оружие бесплатно, и дом, и лекарства всякие в аптеке. Детишек ихних бесплатно в интернатах учат.

— Понятия, значит, не имеют.

— Не имеют, ангел мой, не имеют.

— А какие они честные! — сказал Ванька. — Да вон хоть Яшка Айтаров, дяди Сашин дружок, без всяких денег рыбакам помогал, а нерпушку тогда всем неводом жировали, и первый поздоровался со мною, хоть до этого никогда и не виделись.

— Это-то да, — соглашается дед, — зверя из чужой ловушки никогда не возьмут. Или потеряешь что в тундре, найдут, привезут. Насчет этого у них здорово.

— В прошлом году весной на неводе в Анапке дядя Саша наш бригадный аванец потерял — восемьдесят тыщ... Нес из банка, да потерял. Опосля какой-то пастух принес.

— Да это, — отмахнулся дед, — со мною почище по-

лучилось. Лет пять назад вез я Петруня из Оссоры, он деньги на весь колхоз получил, мешок как раз под завяз. А в дороге пурга прихватила. Она еще в Оссоре начиналась, да мы думали, успеем до Макарьевска... Да. Едем. Замаялись. Собачки на снег ложатся, хоть убей, не встают. Мешок тяжеленный, а Петрунь идти впереди упряжки не может. Что делать? Решили мешок бросить, опосля, мол, возвратимся. И бросили. Только добрались до Макарьевска, чаюем, вот вваливается укинский коряк с нашим мешком. «Ваши пятаки?» Он, оказывается, вслед за нами выехал, им же пурга — не пурга, еще лучше в пургу дорогу чуют...

— На родину тянет, дедушка. Прямо не могу.

— А ты думаешь, нас не тянуло? О-о-о! Ангел мой! С ума сходили. — Дед задумывается, крупные морщины на его львином лице опускаются. — Привезли нас в Анапку треску ловить. Железо, цемент, оборудование всякое с нами. Строиться начали. А кругом тундра да окиян. Куды денешься? А договор на три года. И я не выдержал, на втором году убег.

— Через тундру?

— Через тундру, ангел мой, не убежишь. Дорогу знать надо, да и горы там. Один только человек от нас до Питера на нарте добирался.

— Кто же это?

— Бекерев. Его теперь нету. Колхоз он организовал. — Помолчав, дед добавил: — Тоже активист был.

— А ты как же выбрался?

— Директора надул, — небрежно крякает дед. — Весною напросился пароход разгружать, да на нем и остался, в дырку залез. Двое нас было. А во Владивосток приехали, вылезли: «Берите шпиенов». Капитан посмеялся и отпустил.

— Здорово.

— А потом раскручивались в «Интуристе». — Дед откидывается и поднимает палец. — По сту рублей тогдашними за порцию платили. Мильёнеры ж!

— Фокусничали, значит?

— Фокусничали, ангел мой, фокусничали. До того дофокусничались, что у моего корифана на билет не хватило. А я ничего, добрался, слава богу, до своей Ростовской области. И с собою кое-что привез.

— И опять возвратился?

— Возвратился, ангел мой, возвратился. И ты возвратишься, ежели дурака не сваляешь. Ай не понял мой анекдот?

— Анекдот-то я, дедушка, понял, да скука зимой: работы в колхозе нет...

— Тьфу! — Дед гаркнул на всю тундру. — Тьфу! Не хотел ругаться, да ты на грех навел. Ну что тебе колхоз? Задался он тебе! Тьфу! Ты козак будь: заведи дом, собачек, живность всякую, хозяйку работящую. Лови рыбку, делай денежки. — Дед, выпрямляясь, поворачивается. — Вот я. Чего у меня нету? Одних кустюмов тринадцать штук. Все, правда, старых фасонов, да мне новые и ни к чему. Книжка есть и у меня и у старухи.

— И у ней и у тебя? — удивился Ванька. — Как же это?

— Она свои держит на своей, — не поняв его, отвечает дед, — я на своей. Она редисочкой, лучком занимается. Опять же за всякие лечения перепадает, она у меня и грыжу заговаривает, и сибирку, и поморозится кто, по женской части тоже. А ты — колхо-о-оз! Насмешил. Я вот зимой вехи ставлю, летом в перевозчиках. Слободного времени у меня хоть отбавляй. Без колхоза обхожусь, и слава богу.

— Это конечно, — рассеянно отвечает Ванька. — Можно и без него.

— Можно, ангел мой, можно. Да еще как можно!

А собачки ковыляют и ковыляют, потряхивают и потряхивают сбруей, время от времени какая-нибудь лизнет снег. Стелется тундра под нарту. Вот и устье реки.

— Ну давай, ангел мой, начнем наше дело.

— Да давай.

* * *

Работа у Ваньки с дедом несложная — долбить под снегом полуметровые ямы и ставить в них ветки — вехи, по всей «дороге» до Макарьевска. Ванька орудовал пешней, ломом, лопатой, а дед развозил деревца, за которыми он ездил к сопкам, где зáросли березняка.

— И лют же ты на работу, ангел мой, — рявкал он,

подгоняя нарту с лесом. — Покурим, отдохнем. Надорвешься.

— Да я вроде не очень стараюсь.

— Больше тридцати-сорока сантиметров ямы не бей. Куда это? Метровые разворотил.

— Дольше простоят.

— Зачем? Все одно новые на тот год буду ставить. Не рви пуп. Я тоже в молодости рвал, а теперь вот моча не держится. Про Беломор-канал небось знаешь, ангел мой!

— Ты работал там?

— Работал, ангел мой, работал. Как говорится, в «командировке» там был.

— Как же это? — Об этом Ваньке неудобно было спрашивать — мало ли что? Может, обидится еще, хотя в колхозе кое-что слышал.

— Да так же вот! — сощурил глаза дед. — Одному активисту кулаком голову разбил.

— Да-а-а! — удивляется Ванька.

— И вот, Ваня, возвратился, все хозяйство в расстройстве, ни кола, что называется, ни двора. Хата, считай, развалилась, давай строиться. Сыну моему Федору тогда восьмой год шел, — тихо, насколько это удается ему, продолжает дед. — Возле Ивашкинского увала кунгас морем выбросило, давай разбирать его да таскать. На себе все, ангел мой! Федор помогал. «А ну, сынок! — кричу ему, — подержи, я отпилю». Он таращит глазенки, тужится, дите ж!

— А кулаком голову разве пробьешь? — вдруг вспоминает Ванька.

— Приписали, что камень у меня в рукавице был.

— Но не было же?

— По пьяному делу все, — засуетился дед, — разве упомнишь... Ну ладно, — дед приподнимается, — заболтались мы, а работенка-то стоит.

И Ванька опять сбрасывает шубу, плюет на руки, раскидывает метровой толщины снег. Затем орудует пешней. Дед валится в нарту, гикает на собачек и уносится за ветками.

Глава десятая

А в пургу дед с Ванькой отсиживались в палатке, пурговали. Гудит раскаленная докрасна печка, на ней шипит чайник с пунжей — крепкий чай, в который добав-

лепо несколько капель спирта и сахара и перекипяченный особым способом. Сама печка сделана камином, без дверцы, тепло так и пышет из нее. В углу на ящике с продуктами мерцает свеча. Ванька, засунув ноги в кукуль, лежит на мягком лапнике — ветках кедрача — и смотрит на играющие угли. Дед сидит сбоку, на пустом ящике. С кружкой. Со смаком, маленькими глотками прихлебывает пунжу. За палаткой бесится пурга. Ей подвывают собачки, иногда вся упряжка зальется хриплым лаем — где-то рядом лиса или росомаха.

— А жить, как я посмотрю, ангел мой, ты совсем не умеешь, — громыхает дед, дуя в кружку. — Не понял, что главное в жизни.

— А что? — Ванька тоже наливает себе ароматной жидкости. Отхлебывает. По всему телу разливается блаженство. «Ну и пунжа...»

— В природе все, ангел мой, на один манер устроено. Сдачи надо уметь давать, постоять за себя. Вот что главное. А ты, как я погляжу, совсем не умеешь.

— Не умею, — признается Ванька.

— Нюжли на кулачках никогда не дрался?

— Как же? Сколько раз. Дружок у меня был, Петька. Задира такой. Вот мы вдвоем против других ребят. До крови даже.

— А за себя ты дрался?

— Да вроде не приходилось.

— А ты за себя моги, не за кого-то. В природе вон какая-то букашка и та за себя стоит, а не за кого-то. Опять же крепким надо быть, зубами за жизнь держаться надо. Жизнь тебя гнет, давит, а ты — нет! Нет, и все тут! Не сдавайся. Я тыщу раз, может, испытал это. Да. — Дед тянется к чайнику, крякает. — Лет десять назад на охоте со мною приключилось, сплохуй я тогда, крышка бы мне. Осенью дело было, морозы уже. Сам знаешь, какие у нас осенью морозы, когда снега еще нет. — Дед прихлебывает из кружки, задумчиво смотрит себе под ноги. — Речку в горах переезжал, на перекатах она еще не стала. — Дед замолкает, забывает про пунжу. Пережитое прошлое, видимо, и сейчас тревожит его. — Ангел мой! До того берега, может, пять метров осталось, может, меньше, и лед под нартой обломился. И понесло на перекат. Забурлило, смешалось, одни собачьи головы между льдин. Ухватился за нарту, она укутана палаткой хорошо была. Пролетели по валунам и ямам, а там опять лед, то-

росы. Гремит все... И тянет под лед. Нарта уперлась в льдину передком, а корму засасывает. Передние собачки уже по берегу лапами скребутся, а задних под лед тянет, тормозят. Сам по шею в воде. Так-то, ангел мой!..

— И как же ты? — Ванька тоже забыл про пунжу.

— Да как? Собрался с силами да как гаркну на собачек: гого-го-го-оо! — Дед рявкнул так, что пламя свечки заметалось. — Потом изловчился, достал нож и задних отхватил — их тут же под лед хлюпнуло. И опять: го-го-го! И выскочили. Через минуту навроде лыцаря стал — весь в ледяном панцире. Скорее спирту, костер...

— А те, что обрезал, пропали?

— Один Кучум прибежал. И веришь, Ваня, худой-прехудой. — Дед наклоняется к Ваньке. — Один шкилет. За какие-то две или три минуты, что подо льдом до другого переката пролетел, шкилетом стал.

— Да...

— А ты за какого-то Петьку. — Дед выпрямился. — Ты за себя моги: «Го-го-го!..» — Пламя свечи опять запрыгало.

— Это конечно.

— А нагда, — дед выливает пунжу в чайник, наполняет кружку новой, обжигающей. То же самое делает и Ванька, — нагда, Ваня, нахрапом да криком нельзя. Не возьмешь. Тогда надо тихоней прикинуться, овечкой. Навроде блаженненького. Вот ежели бы я на этом канале не придурился исусиком — конец бы мне. Работа лошадиная, а кормежки для меня не хватало. А я ничего — смирный, громкого слова не скажу. Давай на кухню пристраиваться. Смотрят — человек тихий. Я и на кухню наколю да напилю дров, и начальнику одному. А мне лишнюю миску баланды. Я еще больше стараюсь. И досрочно выпустили.

— Но всем же на кухне нельзя, — вставил Ванька.

— А что тебе все? Живешь-то не для кого-то. По-всякому надо: нагда нахрапом да ножом по потягам, а нагда исусиком притвориться. Так-то, ангел мой!

— Я, наверно, так не смогу, — признался Ванька.

...А пурга за палаткой посвистывает и посвистывает, сырые кедрачины в печке потрескивают и потрескивают. Чайник с пунжей шипит...

Но вот пурга кончается. Опять проглядывает солнышко, искрятся дали. Воздух хрустит, когда набираешь его

полную грудь. И сама тундра какая-то... Счастливая, что ли?

— Ваня-а-а! — орет дед на всю тундру. — Сколько волочь?

Ванька делает рукой столько отмашек, сколько вех нужно, — до деда ему не докричаться.

— Ну мы и даем! — с гиком подгоняет нарту дед. — Скоро в Макарьевске будем.

Глава одиннадцатая

— Моя Клавдя шить, варить — не буду говорить, — смеялся Володька за столом, — а вот насчет культурностей — золотые руки.

— Володя, — с упреком пела Клавдя.

— Клавочка.

Пробыли Ванька с дедом в тундре почти месяц. Ванькина тоска чуть приутихла. Под конец даже в Дранку захотелось.

В общежитии поутихло. «Муроводы» уехали в Оссору ремонтировать сейнер, что лежал где-то под снегом на косе, а в их комнату вселился Володька Прохоров с женою.

Женился он. Взял сезонницу из комбината. Она только что приехала на Камчатку, в комбинате работала табельщицей, в колхоз перешла на такую же должность. Ваньке она что-то не очень понравилась, точнее, он ей не понравился. Когда ели оленину, Ванька мясо взял руками — по-камчатски целым куском, потом ножом отхватывает у самых губ, — она пододвинула ему отдельную тарелочку, ножик положила перед правой рукой, вилку перед левой. Подала салфетку. Ванька вертел, вертел ее, стал пристраивать за шиворот. У Клавдии губы дрогнули, отобрала салфетку, положила ему на колени.

— Оно бы, братец, жить можно, — продолжал Володька, — да культурности заедают.

— Володя!..

— Клавочка.

Клавдя была хоть и не первой молодости, но красивая. Да и форс держала: губы намазаны сразу двумя красками, к глазам подрисованы крылышки, а на голове прямо копна, даже не верилось, что столько волос может быть. И все на ней какое-то не такое, вот хоть жук, что на пра-

вом плече сидел, или браслет из такого же стекла, то, да не то. А туфельки еще чуть — и каши запросят.

Ребята из других комнат целыми днями пропадали на работе — уже были выбраны бригадиры и звеньевые на ставные невода, команды на сейнеры. В сетепошивочном цехе капитаны и матросы шили снюрневоды * и кошельки **, механики на сейнерах перебирали машины. Все готовилось к путине.

Мишка сколачивал строительную, точнее — комплексную бригаду: из плотников, бетонщиков, штукатуров, сварщиков... Солнышко подольше задерживалось на небе, снег плотнел. Пурги теперь были недолгие, в спокойные дни на крышах повисали сосульки, а когда солнышко припекало настойчивее, капало с крыш. В воздухе при утренничке дрожали серебряные нити, и было тревожно. Чувствовалось, что весна где-то рядом и сильная-сильная. Еще и не показала себя, но все трепетало перед ней.

Оттаяла и Ванькина душа.

Произошла встреча и с Эллой Ивановной. Он, кстати, боялся этой встречи и по возможности избегал ее — как ни говори, не очень ладно тогда получилось. Столкнулись возле магазина. Он чуть не сшиб ее в сугроб.

— Вот! — воскликнул он, придерживая ее.

— Ваня! — обрадовалась она. — А обгорел-то как?! Здравствуй!

— Здравствуй!

— Я тоже в тундре была, смотрела, как наши оленеводы живут. Хотела к вам заглянуть, да... мы же, бабы, трусихи. Ну как дела?

— Ничего, работаем, — ответил Ванька.

— У меня тоже начались дни золотые, причесаться некогда. — В ее голосе звучали участие, ласка, радость за него. Он это почувствовал сразу, и на душе стало легко-легко.

Отошли в сторонку. Проходивший мимо Мишка подмигнул Ваньке, она заметила, засмеялась, а Ванька хотел Мишке сказать кое-что, да решил сделать это потом. Проболтали о том, о сем — Ванька сам себе казался хорошим-хорошим. Даже вприпрыжку побежать захотелось. Глупость, конечно, но что ж поделаешь, раз такое настроение?

А Геннадий метался по колхозу — он остался главным

---

* Снюрневод — разновидность трала.
** Кошелек — невод для ловли сельди.

инженером за Юрия Алексеевича, уехавшего с женою в отпуск на шесть месяцев, — собирал бригадиров, капитанов, инженеров. Все совещались да планировали. А дел-то! Флот, ставные невода, снабжение, отгрузка зимнего улова наваги. А тут вот-вот грузы навалятся: бочкотара, соль, цемент, лес, железо... Не хватало матросов на сейнеры, рыбаков на неводы, бульдозеристов, трактористов, квалифицированных сварщиков, механиков. Совсем не было барж и катеров для переселения ивашкинцев и укинцев.

Встретились как-то на улице — Геннадий был тоже загорелый, похудевший, они с директором комбината шли, про аренду плавсредств, что ли, спорили, — он даже не заметил Ваньку. «Совсем замотался», — подумал Ванька.

Дранка просыпалась после долгой зимы. Зевала, потягивалась.

«А там лето — и дома», — мечталось сладко Ваньке.

Глава двенадцатая

А вскоре все замелькало, все закружилось.

Сразу же после пург солнышко так начало жарить — чудо, да и только, — так жарить, что смотреть невозможно. Бригада строителей к работе приступила давно. Кто работал на воле — пообгорали. У Ваньки шкур сто с носа слезло, а кончик его порозовел. Дотронуться невозможно, особенно если брезентовой рукавицей — чихнуть так и потянет.

За какие-то две недели снежище, что высился до труб, набух, потемнел и мутными ручьями сбежал в речку, прихватив разные пустяки: бревна, бочки, смыл насыпные грядки с огородов. И сразу трава. Так поперла, что не успели оглянуться, как до пояса уже. В тундре закрякало все, заверещало, захлопало крыльями.

А тут и Зина Мурашова приехала. Какой там дом, какое там Куприяново со всеми знакомыми, кого провожал да обнимал у калитки, когда Зина приехала и прямо к нему! Выбрала, выходит, Ваньку, и слова, которые он должен был сказать, сказала за него.

На свадьбе Мишка с Володькой так плясали, так вбивали каблуки в пол, что у Мишки один каблук щелкнул и покатился под скамейки. Мишка ботинок вслед и — одна нога босиком — продолжал.

Наконец дядя Саша в изнеможении разломил гармонь на колене и прохрипел: «Не могу». Мишка взял губастый стакан, налитый — аж плескается, поднял над головой:

— Выпьем все сразу за моего товарища и его жену!

— Горько-о-о!

Всей бригадой в четыре дня махнули Мишкин дом, и Ванька с молодою женою вселился туда, расчеты и счеты — все потом решили. Дом новенький, сосной пахнет. Пол отшлифован до блеска, хоть в микроскоп рассматривай, никаких пазов не заметишь — они с Мишкой сначала его замазочкой, потом шкурками прошлись, а потом уже краской да лаком. Ступишь — полоски от носка так и тают.

— У министров и то таких полов не бывает, — сказал Мишка.

Занавески новенькие, солнышко брезжит через них. Правда, ничего больше в доме не было, только кровать с периною — дядя Ваня приданое за дочку деньгами дал, которые частично ушли на уплату за дом, а больше, кроме старой мебели, у него ничего не было, да они и не взяли, разве что стол, да и тот на кухне поставили, чтоб вида не портил.

— Вань, — сказала Зина, сидя на единственном стуле, — а ведь у нас ничего нету.

— Все будет. — И Ванька поднял ее вместе со стулом. Потом потихоньку, чтоб не портить пол, поставил на место.

— Ваня!..

«Все будет!» Четыре или три часа в сутки спишь, и ничего — нормально. Не знаешь, куда силу девать. В бицепсах свербит, голова как стеклышко, а на душе покой. Топор сам хватает доску или бревно.

На работе время проходило незаметно. В речке тарахтели сейнеры — их же теперь много стало после объединения, — приходившие за топливом, тралами, продуктами; месил воду труженик «Бегун», таская от пароходов баржи с цементом, лесом, оборудованием всяким; за Дранкой, где закладывались «Черемушки», маячили кучи грунта и материалов, возле которых стрекотали бульдозеры и копошился народ. Не успеешь оглянуться, как уже четыре часа. Потом бежал на «шабашку» — подрядились с ребятами пирс отлить в нерабочее время. Дом Мишке не стали закладывать, в колхозе запланировали на тот год всех обеспечить жильем. А по выходным или когда на

пирсе не давала работать погода, дождик например, возводил сарай. Зина — спасибо дяде Ване за дочку — помощницей оказалась что надо: и доски помогала пилить, и столбы придерживала, когда он втрамбовывал их в мерзлоту, и землю откидывала. Крышу без нее бы не покрыл.

А хорошо засыпать после дневной сутолоки! Она уткнется носом в его подмышку и сразу затихает. А он вздыхает все, все не может уснуть. И курить не встает, чтоб не тревожить ее, даже позу не переменит, когда рука онемеет. Все думает, думает, как дальше.

Не заметил, как и лето к концу, — во как бывает!

Геннадий, его теперь утвердили главным инженером (Юрия Алексеевича после отпуска назначили начальником вновь открывшегося участка в Пахаче), разворачивался. Когда только и спал. На ходу, на чьей-нибудь спине, наряды да заявки подписывал. У Мишки тоже хлопот полон рот с этим комплексом: не только плотницкие работы самому знать надо, но и сварку, и электрику, и земляные, и бетонные. А расценки? — там сам черт ногу сломает. Володька же, как и Ванька, плотничал, все будто тоже нормально, только вот семейная жизнь у него не очень ладилась.

Осенью в колхозе организовывали бригаду на обработку жировой сельди на новый участок в Пахачу. Всем этим заворачивал бригадир, дядя Саша Демидов, не один пуд соли на этом хлопотливом деле съевший. Брали в основном сезонников.

— Нам бы туда! — вздохнула Зина.

— Инженер не пустит, — сказал Ванька, — плотников здесь не хватает. В Уку на разборку птичника не знают кого посылать. Да и бригаду бросать неудобно.

— А что тебе бригада? Главное — заработок. А там раза в три больше заработать можно.

— Это-то да, кто ж против этого? Но идти в правление...

— Зима наступит, на откопке снега, Ваня, много не заработаешь. Или опять с Чамбою вехи бесплатно ставить?

— На зиму столярный цех открывают. Здание уже заложили.

— У нас столько долгов. И на люди выйти не в чем, — обиженно продолжала она, — надоело в старье щеголять.

«Что верно, то правильно, — задумался Ванька. — Это

конечно, но в бригаде многие рвутся в Пахачу, особенно кто недавно в колхозе. Геннадий даже не разговаривает по этим вопросам».

— Без толку, — вздохнул он, — Геннадий не пустит.

— А что тебе Геннадий? Ты к Василь Василичу. И я с тобой.

— Нет уж, я один.

Ох, как неудобно стоять на зеленом ковре перед председательским столом! Эх!

Василий Васильевич только глянул и сразу:

— Понимаю тебя, Иван, но ничего не получится. Ты здесь нужен.

— Да жить-то надо, Василь Василич.

— Жить надо, — председатель задумался. — Это ты верно говоришь.

— Дом поставил, а он пустой.

— Это верно, жить надо, — еще раз повторил председатель. — Всем жить надо. Вот до холодов электростанцию пустить не успеваем, а ее пустить надо. Чужим рабочим платим командировочные, а своих нету. Двойную зарплату платим чужим.

— Василь Василич!..

— Ты ведь и жену с собой возьмешь, так? А на ее место нам опять человека искать. Она у тебя штукатуром работает?

— Ну, Василь Василич... — Ванька уже собрался «отработать задним», как флотские говорят, но председатель поморщился и написал в верхнем углу заявления: «Не возражаю». И не глянул на Ваньку, как это всегда было.

Как чумовой брел из конторы. Пришел, молча повалился на диван — жить не хотелось. «А в бригаде теперь как?..»

— Так и знала, — ворчала Зина, — одного человека им жалко отпустить!

Ванька не пошевелился.

— Ванечка, хороший мой! — встрепенулась она, увидев заявление. Прыгнула к нему на диван, стала целовать. — Расскажи, как было!

— Противно все.

— Опять ты свое? — Тон ее переменился. — Ну что тебе другие? Жить-то нам с тобою.

— Это-то да, да ведь живем-то не в лесу, сама понимаешь. Что я ребятам скажу?

— Ничего, Ваня, ничего. Все пройдет, вот увидишь.

Глава тринадцатая

Все прошло, конечно, она права оказалась. В конце августа, как повалила селедка, как повалила — только успевай принимать. Сейнеры, загруженные ею по рубки — и как только не потонут? — толпятся у причалов, ждут очереди. Просрочил чуть, хоть на полдня, — она протухла. Рыбаки помогают обработчикам и соль таскать, и лед колоть, и бревнами ее в чанах ворочать. Но все равно успеть никак невозможно.

Намотаешься за смену так, что ничего не замечаешь, бредя к палатке, — ведь все работы, за исключением рыбонасоса, который сосет ее из трюмов, вручную. И силы нету разуться. Только забылся, дядя Саша хрипит над ухом, тянет за сапог. Рядом Юрий Алексеич топчется, протирает очки. А у причалов шуму — это рыбаки выкачивают ее в береговой песок или в море повезли непринятую. Какое-то дурацкое распоряжение: нестандартную не брать. Как на сотню селедок пять штук меньше двадцати пяти сантиметров — стандарт двадцать пять сантиметров, допуск двадцать пять процентов, — приемщик не берет. Повезли на свалку! Ас-са-а! Центнерами! Десятками центнеров! «А рыбка-то, — думал Ванька, — от жира ломается. — Это-то и убивало его: сколько ее не в дело идет! — ведь в магазине она рубль восемьдесят кило, а если закоптить, то и все два тринадцать!»

А по берегу хоть не ходи. И глаза закроешь, и уши заткнешь, и нос, но сапогом все равно чувствуешь — мурашки спину обсыпают, — как каблук со скользким писком кишки из нее выдавливает. Набить бы морду кое-кому!

Успокаивала Зина. Она тоже с работы приходила уставшая — у обработчиц на укладке не легче, ящичек-то шестьдесят килограммов, а сколько их за смену через руки пройдет?

— Не расстраивайся, Ваня.

— Да жалко же.

— Ну что ж поделаешь? — Она клонилась к нему. — Так жить тоже нельзя. Вот послушай: возвратимся в колхоз, получим деньги за сезон, сразу много; я наспраляю себе платьев, зимнее пальто, осеннее. Тебе тоже костюмов. Знаешь, Ваня, когда я укладывала ее в ящики, то вместо селедок иногда перед глазами мелькают туфельки. И ра-

достно становится. Мелькают и мелькают — разных фасонов!

— С устатку, может.

— Да нет же, Ваня. А у тебя разве не бывает такого?

— Тоска что разве.

— Ванечка!

Катая бочки с селедкой на баржи или ворочая ее бревном в чане, Ваньке хотелось заиметь нечеловеческую, какую-нибудь великанскую силу и сокрушить все эти беспорядки. «Ну как так можно? Ну люди, ну хотят заработать, шут с ними, но зачем вредительством заниматься, добро зря переводить?!»

Такие мысли обуревали не одного Ваньку, в бригадах пошел ропот. Дядя Саша с Юрием Алексеевичем ограничили приемку и обработку рыбы: сейнеры в море стали выпускать по очереди, команды простаивавших рассовали по бригадам. Дядя Саша на страх и риск стал принимать и обрабатывать нестандартную, так называемую пеструю рыбу.

— Погорим мы с тобой, Александр Яковлевич, — тревожился Юрий Алексеевич, — ее ведь могут у нас не принять.

— Не пропадать же добру.

— По низким ценам сдадим.

— Как придется. — Демидов хмурился.

В конце сентября, как раз в разгар путины, приехал Геннадий. Изменился он не только внешностью — у губ пролегли твердые складочки, походка уверенная, — но и в голосе прорезались властные нотки, взгляд стал тверже, насмешливее. Первым делом он напустился на Юрия Алексеевича с дядей Сашей. Несдобровать бы им, поснимал бы их с работы наверняка, да тут большой шум начался из-за рыбы, разбирательства — комиссии даже из Москвы поприехали. Но все равно он так «проволок по бездорожью» Юрия Алексеевича, что тот только морщился, протирая очки. Досталось и дяде Саше, правда, дядя Саша обрезал его:

— На горшок сначала садиться научись, опосля и прихватывать будешь. Цецунок! Сколько добра загубил!

Глаза у Геннадия сузились.

— С вашими фокусами мы потеряли полмиллиона. Куда вы будете девать нестандартную? Туком сдавать?

— Себе в карман положу.

— Сниму с работы за самоуправство.

— А ты меня не ставил.

А Геннадий, ничего не скажешь, развернулся: у соседнего колхоза раздобыл шлангов на рыбонасос, организовал еще одну приемную точку. Рабочими ее обеспечил — в поселке навербовал сторожей, каюров, охотников, с милицией договорился, чтоб всех пятнадцатисуточников посылали на эту точку. Деньги всей этой сборной команде выплачивали каждые три дня. Чаны поставил прямо под открытым небом, риск, конечно. Заменил завпрода — колпит сразу улучшился, — всем выдал большие авансы. Флот весь выгнал в море.

— Привет сезонникам! — подковырнул он Ваньку, встретившись, и, как всегда это бывало прежде, протянул руку. Впрочем, в пожатии уже не было прежнего, дружеского, а в голосе обидное, неприязненное. «Недоволен, наверно, что я за длинным рублем сбежал», — виновато подумал Ванька.

А Зине Геннадий сказал:

— Как похорошела. И не узнаешь сразу.

— Что вы, Геннадий Семенович, какое тут хорошение? — засмущалась она. Действительно, какое там хорошение? Похудела, почернела от загара, у глаз лучики от постоянного щуренья на солнце. — Еле ноги таскаем, — продолжала она, рдея под его обволакивающим взглядом, но все равно в ее глазах таяли озорные искорки.

— Ничего, в колхозе отдохнете, — еще ласковее продолжал он, а потом быстро, настороженно как-то глянул на Ваньку.

— Скорее бы, — Зина смотрела на Геннадия еще игривее.

«Специалисты... по подмаргиванию!»

— Ну я, братцы, пойду. — Геннадий ушел.

А хотелось поговорить совсем по-другому, как на ковчеге, когда перед сном Володька рассказывал про торгашеские махинации, а Генка до слез смешил ребят студенческими проделками.

В обеденный перерыв нашел его все-таки, стал расспрашивать про ребят, как там Мишка с Володькой. Геннадий отвечал односложно, разговаривал в то же время с другими. Сказал, что Мишка «молотит что надо, такую птицеферму отгрохал», а Володька с женою воюет. Та собирается выгнать его из дому. В двух словах рассказал, как

с Володькой, возвращаясь с сенокоса — Володька ушел из плотницкой бригады, сено теперь косит, — натолкнулись на медведя. Был дождь, их ружья висели за спинами. Они шли по-над берегом моря, закрывшись от ветра и дождя башлыками. И тут медведь, он шел по тропинке впереди них. Он кинулся на Геннадия, у Геннадия ружье ремнем зацепилось за башлык, потянуло весь плащ на голову. Крышка бы ему, да Володька — у Володьки ружье было разряжено — догнал медведя и стал колотить прикладом. Медведь на Володьку, но тут Геннадий подоспел, влепил в ухо мишке два заряда. И еще одна новость: Василий Васильевич заболел, в Петропавловске сейчас, в больнице. Когда Ванька заикнулся о рыбе, сколько ее пропадает, Геннадий махнул рукой.

— В море ее много. Самоуправством занимаетесь, — нахмурился он, — тысяч десять центнеров прохлопали, черт возьми.

— Да пропадает же ее сколько, — вставил Ванька.

— Главное, Проскурин, деньги, они погоду делают. Результаты, Проскурин, результаты. А они у нас, как видишь, неплохие. А могли бы быть лучше, кстати.

«Проскуриным теперь называет...»

— Геннадий Семенович, — Ванька хотел сказать «Гена» или «Геннадий», но сказал почему-то «Геннадий Семенович», — ты, наверно, недоволен, что я на обработку сбежал, бросил бригаду?

— Ну что ты! — поморщился Геннадий. — До этого ли мне? Заниматься душевными нюансами? Вас вон сотни, и из-за каждого... Нет, работай спокойно.

Так и не поговорил, как хотелось и о чем хотелось. Еще раза два собирался подойти, но никак: Геннадий вечно спешил, в конторе же к нему не пробьешься.

— Ты не знаешь, что такое «нюанс»? — спросил Ванька жену, когда ложились спать.

— Что такое «эскиз» — знаю, а «ньюанс» — нет. Наверно, тоже по художественной части что-нибудь.

— Нет, тут что-то душевное.

— Тогда из медицины. Спи!

Как тут уснешь, когда кругом такие «ньюансы» творятся. «И все Геннадий, — ворочался он, — Василь Василич небось бы до такого не допустил... Как он тогда инженеров да бухгалтеров за уголь распекал».

Этой весной в конторе дождем выбило два стекла, Мишка послал Ваньку вставить их. В соседней комнате шло

заседание правления, Ваньке все слышно, о чем там толкуют.

— Так нельзя, — говорил Василий Васильевич. Он говорил тихо, но чувствовалось, что недовольный-пренедовольный. — Уголь выгрузили и забыли о нем. А там тонны три в песке осталось на берегу. А тот, что вывезли с барж, даже в общую кучу не сгребли. Пойдут дожди...

— Людей цет, — крикнул Геннадий.

— Людей нет? — не повышая голоса, переспросил председатель. — Снимите на один день конторских служащих, и веничками пусть подметут. Деньги заплатите по аккордной расценке, дополнительно к основной зарплате. Вот вам и люди. Тонна угля обходится колхозу девяносто рублей, вы экономите на девяти рублях. И дело, думается, не в этом. Все дело в отношении к колхозной собственности. Рыбак почему-то на рыбку ногой не наступит, так же как и хлебороб на хлеб.

На другой день бухгалтерши да учетчицы понадевали спецовки. Сам Петрунь забор из досок вокруг кучи угля городил.

«А тут рыба, — думал Ванька, уже засыпая, — если бы до дела довести? Сколько бы пользы всем людям было да и денег колхозу! Правда, денег и так много идет, но все равно... — Василия Васильевича было жалко. — Нет бы Чамбе захворать, все одно груши околачивает, так нет же... Укатали сивку крутые горки: каждый день, как шесть часов утра, ходит по колхозу, смотрит да думает все. — Впрочем, Василия Васильевича жалко было не из-за этого и не из-за того, что на обработку вот отпустил и деньгами никогда не обижал, а так что-то, сам не знал за что. — Теперь Геннадий за дело возьмется, хватка у него, кажись, что надо, шурует, только вот насчет бабья жох».

Больше всех из колхозных капитанов — это по всему району — привозил рыбы Страх со своими муроводами. Ночь, полночь, шторм, не шторм — они в море. А в ноябре, когда на несколько дней зарядили штормы и портнадзор запретил выход в море, они самовольно сорвались. Ночью. Выключили ходовые огни — и как пираты. Через два дня, тоже ночью, возвратились. Залитые рыбой по лебедку — вся Пахача удивилась.

Сам Страх и все его кадры во всю путину, между прочим, были неузнаваемы — трезвые, ни в одном глазу. Дя-

дя Саша пригласил как-то Гуталина попробовать домашней бражки.

— Стоит ли, дядя Саша, душу расстраивать? — ответил тот.

— Ты, Леша, настоящий рыбак, — сказал Демидов.

Сам Страх по берегу ходил павлин павлином, даже под ноги не смотрел, вышагивая.

Областное начальство собрало как-то капитанов и стармехов, о дисциплине вопрос стоял.

— Насчет этого у меня на судне и разговоров нету, — сказал Страх, узнав, в чем дело. И ушел с совещания. — Мне еще кошелек чинить надо.

В другой раз скандальчик устроили, настоящий. В очереди на сдаче рыбы директор комбината хотел один сейнер принять вне очереди, по блату, словом. Страх не уступил — его очередь подошла.

— Страхов, подождешь, — метался по пирсу директор.

— По каким таким правилам?

— Я не собираюсь перед тобой отчитываться.

— А я не собираюсь отшвартовываться.

— Уходи!

— Не.

— Уходи, тебе говорит директор комбината.

— А я генерал, — выпятил грудь Страх и, повернувшись к Гуталину, вертевшемуся на палубе, добавил: — Заводи двойные концы, Алексей Василич.

— Милицию позову.

— А ну, Алексей Василич, тащи линеметательную * пушку. И заряди ее усиленными, — грозно добавил Краб.

Черт его знает, что у них на уме. Похлестче штучки отмачивали. Так и отступились от них. Квитанцию за сданную рыбу они не взяли.

— Директору на конфеты, — небрежно сказал Страх приемщику.

По флоту о них анекдоты ходили. Рассказывали, что в море Страх по нескольку суток торчит на мостике, не спустится вниз, пока не найдет косяк и не обловит. Свой же «Спутник», так они окрестили сейнер, что зимой из снега выкопали да отремонтировали, он прямо облизывал: лазит по палубе с молотком или кистью. Или с неводом возится. На мостике кто-нибудь из механиков и матро-

---

* Линеметательная пушка — аварийное приспособление, которым в шторм выстреливают выброску — тонкий шнур — на другое судно для швартового или буксирного конца.

сов — чаще всего Моль: всех обучил управлять сейнером. На общесудовом собрании, когда перед путиной принимали соцобязательство, они записали в протокол предложение, которое внес Гуталин: «Работать так, чтобы товарищу было легче». И подписались все внизу страницы.

Наступил ноябрь. Забухала, трескаясь от мороза, не покрытая снегом земля. Обросли причалы льдом, забушевали страшные, какие бывают только в Беринговом море и только осенью, штормы. Ветер раскачивал фонари на столбах, заворачивал вместе с досками толь на крышах рыбцехов. Кончилась и рыба. Она, нажировавшись у берегов Камчатки, ушла в океан, на глубину, на зимнюю спячку. Теперь придет только весной икру метать.

Опустело все в Пахаче. Только высятся ярусы бочек и ящиков с рыбой, которые надо отгрузить на пароходы, да в чанах досаливается последняя партия ее, которую тоже надо затарировать в ящики и бочки и тоже отгрузить.

Разъехались и обработчики. Сезонников пароход на материк увез, колхозников свои сейнеры — в колхозы. Для дообработки и отгрузки оставшейся рыбы оставалось по бригаде от каждого колхоза. Они довершат кампанию.

— Ну вот мы скоро и дома будем, — сказал Ванька, собираясь укладывать вещи.

— Вань, — Зина опустила глаза, — может, останешься? Ведь по двойной цене ее отгружать будут.

— Да у нас вроде ничего получилось. Выходы все...

— Дядя Саша говорил, что аккордные наряды закрывать будут, и с тройным коэффициентом: за холод, за условия, сверхурочные. Может, до конца, какой-то месяц всего!

Глава четырнадцатая

Двадцать человек обработчиков, что остались на отгрузку, ютились в одной палатке. Докрасна раскаленная печка гудела сутками, стоять возле нее невозможно, а по углам снежок со льдом. Спали одетые, укрывались матрацами — их же много осталось после отъезда сезонников. Дядя Саша с Юрием Алексеевичем тоже вместе со всеми.

Ну и работа! Врагу бы такую не пожелал. В цехах колотун, ватные штаны прожигает. Тут же палили костры, грели воду, чтоб растопить льдистую корку в чанах, ина-

че, перемешивая, побьешь рыбу, сами приплясывали возле чанов. То один, то другой ругался, растирал тлеющую коленку или рукав.

Особенно плохо приходилось, когда два парохода подваливало или три — из-за погоды они часто задерживались, потом сразу вместе. В такие времена дни путались с ночами, работаешь, пока двигаются руки и ноги, — за простой парохода с колхоза драли бешеные деньги. А иногда по неделям приходилось отсиживаться в палатке.

Тоска. Зины нету. Шлепая картами возле гудящей печки или катая бочки на баржи, Ванька думал о жене. Как она там? Целыми днями одна, дом пустой, ни дров наколоть некому, ни воды принести. А может, пойдет на гулянку, а там Геннадий — вспоминался его ласкающий взгляд, воркующий голос: «Зиночка!»

«Может, потому и уехала?»

«...дурачок, — писала она, — да разве я могу на такое решиться? Ведь мы муж с женою, у нас скоро будет дочурка или сыночек».

«Конечно, сын, — загорался Ванька после таких писем, — конечно, сынок. Ваня, Ванюшка!» И мысли уносили его в будущее, когда сын вырастет и они будут плотничать вместе. Вспоминались рассказы деда Чамбы, как тот со своим Федором дом строил: «Подержи, сынок, я отпилю».

Когда-нибудь они придут, например, с работы. Усталые немножко.

— Ну-ка мойте руки, — скажет Зина, накрывая на стол. — Да рубахи смените, не настираешься на вас, — будто сердито скажет она. Потом с затаенной лаской, но голосом тоже сердитым добавит: — Мужики.

«Это она умеет... поворчать».

И так хотелось в Дранку. Так хотелось, что слов нету.

И вот в метельный день катер оттащил последнюю баржу с рыбой к пароходу. Последнюю! У Юрия Алексеевича даже очки посветлели — вся продукция сдана вовремя и высокими сортами, — а дядя Сапа помолодел в этот день.

Отделались! Домой! Да не тут-то было: бураны, бураны и бураны. Самолеты ни в Пахачу, ни из Пахачи не летают, пароходы проходят мимо Дранки — везти им туда нечего с Севера. Хоть бы до Оссоры или Уки, а там с нартой, но и туда не попадешь.

Уже и Новый год на носу, а обработчики долбят ко-

стяшками домино возле раскрасневшейся печки, шлепают друг друга картами по носам да ушам. Чаюют до десятого пота. И когда ни позвонишь на аэродром, ответ неизменный: «Аэропорт закрыт, бортов не будет, метеоусловия». Письма прекратились.

Ходишь, ходишь целый день, Ванька и на аэродром бегал, хоть туда целых десять километров по морскому берегу, смотришь, как бесится море, и самому выть хочется. А на другой день опять: «...бортов не будет, метео...»

Ребятам же хоть бы что: пропадают целыми днями в поселке — кино, танцы, — поисправляли праздничную одежду, невестами обзавелись.

«...Ванечка, очень скучно без тебя, — писала Зина в последнем письме, которое он получил месяц назад, — вечером особенно, без твоей руки уснуть не могу...» И такое подступало, никогда в жизни ничего более страшного Ванька не испытывал. Даже в голове мутилось.

— Сходи к пограничникам, — сказал дядя Саша, видящий все и понимающий все на свете, — может, от них что будет, подбросят по пути.

Понесся к пограничникам.

Глава пятнадцатая

В Дранке между тем жизнь шла бурная: со строительством, правда, не со всем управились, но по оленеводству и промыслу зверя вышли на первое место в районе; птицеферма, молочная ферма — тоже нормально, хотя с трех колхозов столько собралось мычащего и кукарекающего, что в конторе за головы хватались, никак с ними не сладишь.

«Бегун» приволок в магазин из Оссоры две баржи товаров. Чего только не приволок: и одежду, и приемники с часами, и продукты всякие. Флот возвратился с большой рыбой, почти все капитаны привезли по два плана, а Страх до трех добрался.

У него был очередной «коверкот». Он ходил по колхозу в окружении единомышленников, угощал всех, кто хотел и кто не хотел, «выступал», одним словом. Басище Чамбы царствовал в этом «коверкоте».

Как-то вся эта ватага взяла у него собачек и с улюлю-

каньем укатила в комбинат — развеяться. Там упряжку бросили и, конечно, забыли про нее.

— Где, ангел мой, собачки? — подступился к Страху Чамба.

— Какие?!

— Не знаешь, ангел мой, какие? А на каких в комбинат ездил?

— А я знаю?

— Ты, ангел мой, ездил на моих.

— Ну раз они твои, ты и знать должен, где они. А меня спрашиваешь.

— У меня трое свидетелей есть. — Чамба загромыхал на весь колхоз. — Я пойду...

— Этого хватит? — Страх выхватил пучок червонцев. Некоторые из них выскользнули из рук, полетели по снегу.

— Такие собачки были, — бубнил Чамба, гоняясь за деньгами.

— Держи еще да проваливай!

— Так-то, ангел мой!

— По физии...

Упряжка, кстати, давно была у деда: нарта на потолке, перекрашена, а собачек... различишь разве, если у Чамбы их целая свора!

Володьку Прохорова назначили завхозом, доверили все подсобное хозяйство — все, кроме флота, миллионы, считай. Василий Васильевич рекомендовал его на эту должность и на собрании правления поручился за него.

А у Османа Магомедовича несчастье. Приехали из района ревизоры, два дня перекладывали, считали товары в магазине, установили очень большую недостачу. Подвела, говорят, «черная книжка» — многие, кто брал товары взаймы, уехали, особенно сезонники, многое позабылось за год, — сберкнижки Магомедыча не хватило.

— И-их, — бросил об пол шапку Магомедыч, — не умел работать. Сопсем не умел и не хотел работать.

Пришлось Надьке ехать с милиционером в район. Тихая сидела она на нарте, спрятавшись от ветра за милицейскую спину.

О чем она думала? Может, о том, как много лет назад восемнадцатилетней девчонкой приехала по вербовке в Анапку на обработку нерестовой селедки.

Рыбу привозил на кунгасах скуластый, темный от загара, со строгими глазами бригадир невода. Он ходил по

цеху мимо столов обработчиц, насупленный, недовольный. Ругался всегда то с директором комбината, то со своим председателем, дядей Сашей Демидовым. И его боялись, во всяком случае, не спорили с ним — он всегда прав оказывался. Побаивались и обработчицы, хоть никакого отношения и не имели к колхозным делам. Только он в цех — переругивания и перемалывания косточек прекращались моментально.

— Дядечка, а почему вы такой всегда сурьезный? — спросила как-то Надька. Спросила так это, будто маленькая.

— Чито? — Он был совсем не сердитый — серые глаза смотрели мягко, ласково. Он смотрел на нее, как на провинившегося, но еще ничего не понимающего школьника и в то же время будто сам боялся ее. Надька заметила, как сквозь загар проступила краска на его скулах. Она опустила глаза. И тоже зарделась вся, хоть и не хотела, чувствовала, как кончики ушей под косынкой загорелись. Уходя, он обернулся и махнул рукой слегка, только одна она, как после оказалось, заметила, что он махнул рукой, вроде сказать что-то хотел, да передумал.

— Смотри, Надька, — шутили девки, — не закрути мозги этому чудаку.

— Он не чудак, с Кавказа он.

— Девочки, тут что-то не так.

Когда путина кончилась и все дранкинцы собрались к себе, Магомедыч подошел к ней — перед этим еще несколько раз подходил, то рыбу рассматривал, которую она в ящики укладывала, то жаловался на погоду: «Шторм, понимаешь, никак рыба не идет, понимаешь. Сю центральную перекрутило».

— Хочешь Дранка? — Он был немного навеселе. — Дом есть, собачки есть, коров будет. Се, понимаешь, есть, а хозяйки, понимаешь, нету.

Она растерялась, не хотела догадываться, к чему он клонит, опустила глаза и шмыгнула носом.

— Э-э-э! — сказал он и дружески хлопнул ее по плечу. — Собирай шмутки, айда на кункас.

И в тот же день она со своим узлом сидела на кунгасе вместе с другими рыбачками. Магомедыч ходил по палубе выбритый до синевы, улыбался. Ворот рубашки ему был тесен, он то и дело тянул подбородок на сторону, сжимая и кривя губы. «Мала рубаха, — заметила она,

хоть и не смотрела в его сторону, — спешил, наверное, в магазине».

А через семь лет, когда единственную дочку отправили учиться в интернат, Надька перешла работать в магазин. Работа пустяковая: раз в два дня отпустить кому сахару или спичек. Мозоли, что годами сидели на ее маленьких круглых руках, отошли — руки на ночь она смазывала разными кремами. Сама попышнела, помягчела.

Весною Магомедыч три месяца, считай, на путине, потом на сенокосе. Одна. Ведь магазин не бросишь, не поедешь с ним? Сидишь, сидишь дома — возьмет тоска. Пойдешь к кому-нибудь на гулянку.

Магомедыч перестал поочередно здороваться то с Федькой, то с Петькой, а за Валькой, матросом с «Бегуна», с колом по колхозу гонялся.

И было за что!

Может, об этом она думала, сидя на нарте, а может, о том, что на лето дочка приедет к отцу, будет спрашивать о матери. Магомедычу самому и стирать и варить. А спина у него гнется с трудом. Да мало ли о чем может думать человек, отправляясь в такую дорогу!

Глава шестнадцатая

У пограничников действительно было снабженческое судно, оно шло в Уку. Командир согласился подбросить Ваньку до Дранки, это по пути, а если в проливе лед, то высадить где-нибудь неподалеку.

Подошли к проливу, он ходит торосами. До Дранки еще двадцать километров.

— Пойдем-ка, товарищ, с нами в Уку, — сказал командир, — от нас на нарте выберешься.

— Да вы что?! — испугался Ванька. — Двадцать-то километров? Да я... да я... вехи сам ставил в этих местах. Берегом моря иди да иди.

— Осмотрись сначала, там сугробы. Мы подождем.

— Шапкой махну.

— Давно на Камчатке?

— Десять лет, — соврал Ванька, — даже одиннадцать.

— Молчу.

Вылез на берег — самоходка стояла носом к припайке, ждала — снегу выше колена, а если между кочек попа-

дешь — до пояса. Снег сыпучий, жесткий, как песок, а сверху льдистая корочка — недавно с моря восточный ветер был.

И попер. Здорово это месить такой снег, когда трещит, будто брезент рвется. Интересно даже: ногу выкидываешь до пояса и в сторону, как саженью отмеряешь. Локти наподобие паровозных маховиков ходят, затылок в плечи тычется. Оглянулся, поднял шапку — на самоходке гудок дали, поняли.

— Давай, давай! — еще раз махнул. И полез.

Шагов через сто заметил, что мокрый весь. В сапогах снег. «Так дело не пойдет». — Раскатал голенищи, через их ушки продернул ремень, стянул его потуже. Мягкая резина голенищ плотно облегла бедра. Снял шапку, сунул в откинутый башлык куртки. Рукавицы тоже снял — от рук пар валил, — скатал, засунул в карманы. Оглянулся — огонек самоходки маячит на горизонте. Сердце сжалось: «Один остался, но ничего, часам к одиннадцати дома буду, еще и спать не ляжет. А может, и ляжет. Не ждет, конечно... выйдет сонная...» Вздохнул и пошагал.

Часа через два примерно — по его подсчетам, он отмесил километров пять, — выкидывать ноги стало больно. Если резко двинешь, бедро, как электричеством, прожигает. «Пирожки...» — остановился. Под курткой парилка, пот на пояснице над ремнем лужицей стоит и струйками стекает между ягодиц. Затылок весь мокрый, а кончики волос смерзлись, шагнешь — втыкаются иголками в шею. «Закурить, что ли?» — достал сплющенную, теплую пачку «Беломора». Долго чиркал спичкой, коробок тоже мокроватый. Папироса горела одним боком, не тянулась. Бросил ее и снова пошел.

«Этой зимой, — думал он, слегка морщась от боли в бедрах, — надо будет хозяйством заняться. Свет в сарай провести, пол настелить, стены побелить. Часов до десяти опосля работы вполне ковыряться можно. Материал кое-какой есть, на столы и стулья хватит, фанеры пару листов достал, и шифоньер можно гнуть. Зеркало бы на переднюю дверцу, но где его возьмешь? Простое стекло пока... под его картинки из журналов. А там заменить со временем. Инструмент... — У него радостно запрыгало сердце: уезжая, он наточил топоры, рубанки, долота, навел стамески, фуганки. Ружейным маслом все смазал. — Пила... — Он вспомнил, как дедушка колдовал над пилами: очки на носу, указательный палец поверх напильника,

водит им тихо, точно: ж-жих... ж-жих... Молится над каждым зубом. — Если наладить ее как следует, срез будет ровный и рубанком подправлять не надо, наждачком чуть — и вся любовь. Стулья ... — Для стульев у него была припасена пара кленовых тесин. — А что они магазинные? Там их конвейером гонят, а тут каждую планочку облизать можно...»

А ночка! Морозная, искристая, тихая. Так и манит, только вот снег шагать не дает. «К утру, раньше не буду, — уже трезво подумал он, — и идти надо потише, ноги могут... Ну ладно!.. Если в сарае сделать все по-человечески, да еще чтоб тепло было», — и стиснул зубы, ну терпеть невозможно, тысячи иголок в бедрах шевелятся. Опять остановился. Застегнулся, натянул рукавицы. Они были теплые, влажные.

Через несколько шагов оступился, попал на край кочки. Взмахнул руками, резко двинул ногой и застонал. «Дела-а-а!.. Ну ладно, потихоньку».

Становилось прохладно, между лопаток шарит ледяная лапа, она забирается на грудь, холодит бока, неподвижно прилипла к пояснице. Застегнулся получше и стянул ремень, поправил шапку. «Приду, а она... теплая вся... не ждет, — и свалился на бок. Закидывая ногу, потерял равновесие и опустился на колено — можно бы и не опускаться, но не захотел напрягать ногу. Привалился на бок, подмяв льдистую корку. — Мать честная, что же это? А долго лежать, наверно, нельзя».

Долго лежать нельзя, верно: куртка уже ломалась на спине, открытая кожа на запястьях не чувствовала снега. Сами рукавицы смерзлись, ноги ниже щиколоток деревянные, мизинцем не пошевельнешь уже. «Ничего себе...»

Поднялся. Пошатывало. Долго отдыхать не стал. «А если по прибойке?»

Добрался к морскому берегу. Куда там! Торосы ходили громыхающими буграми на зыбях, между ними клокотала вода. Смотреть страшно на эти жернова. Некоторые из льдин стояли ребром и, когда горы воды валились на берег, шевелились как живые, оставаясь на одинаковом расстоянии друг от друга. А над всем этим чудом свисали козырьком сугробы, самой прибойки даже не видно. «Оттуда не выберешься». Постоял, постоял, хлопнул рукавицей о рукавицу и побрел, морщась от боли. «Стоять никак нельзя... прямо хватает. Зараза!»

А идти? «Ух!» — укусил губу и еще яростнее задвигал локтями. Но в руках уже не было силы, хочешь порезче, тужишься, а никак. Ну никак. Бицепсы какие-то резиновые, а главное — воли нету, не заставить себя, опускается все. «Дела-а! Сколько же я прошагал? Неужели половину не прошел?!»

Ноги вот-вот перестанут подчиняться, боль — шут с ней, потерпим хоть какую, но вот ногу никак не занесешь: напрягай не напрягай живот, двигай не двигай локтями, а толку нету. И тело все непослушное от холода. Не заметил, когда промерз весь до печенок и уморился.

О том, что может остаться в тундре, думать не хотелось. Да и не верилось.

Стоит он. Шатается. Дышит под слабенький цокот зубов. Лицо перекосила плачущая гримаса. Если бы кто увидел его в этот момент, не узнал бы. И, наверное, пожалел бы.

«А-ай-да-а!» — со стоном, переходящим в протяжный плач, стараясь забыть про ноги, крикнул он и полез дальше. Опять затрещал брезент. Но вот перестал трещать. «А ну гаркну, как дед Чамба тогда: «Го-го-го-о-о!» — Этот звук жалобно повис над безучастной, равнодушной снежной далью. И упал: нога опять угодила на край кочки. «Не вывихнуть бы ногу!.. Приду, а они с Геннадием, в комнате натоплено, шампанское на столе». Он знал, что этого нету, не позволит Зина такое, но все равно...

Опять упал. Еле поднялся. Стал вытряхивать из рука-

вицы снег, она — колом. Царапает кожу, а кожа ничего не чувствует, пальцы как грабли, не согнешь, не разогнешь.

Только шагнул — опять на бок. Прикоснулся губами к снегу, губы не чувствовали холода. «Уже и губы попромерзли. Когда же это? Только одно дыхание чуть теплое».

Поднялся. Вокруг молчаливая тундра. Она грустная. Будто знает, что Ваньке уже не выбраться. И она молчит. «А Зина не зря уехала... перемигивались... отговорку деньгами нашла. Да нет, что это я? Она хорошая, переживает за меня, как мать... Ничего ей не расскажу, как я тут... — Но за этой мыслью была другая: — Замерзаю».

Снежное пространство не шелохнется. Теперь он ступал осторожно, с каждым шагом тише и тише. Ноги в коленках гнулись плохо — резина голенищ не давала, — а ниже икр они не свои. Кроме ужасной боли в бедрах, он ничего не чувствовал. Дыхание дрожало. «Скоро и дыхание холодное станет», — будто о другом человеке подумал он.

«Как же это! Во сне, что ли? Недавно с матросами на самоходке чай пил, в «козла» забивал... Снег трещал... дом рядом, Зина ждет, плачет, может, — ему представилось, как он кочерыжкой лежит под сугробом, скрюченный весь, над ним поземка стелется. — Весною охотники найдут, а может, и не найдут, трава-то здесь...» — И свалился.

Вставать ни желания, ни силы не было. Захотелось сжаться, сунуть руки между колен, как в детстве, на печке, и... «Так оно и бывает. Так вот и замерзают...»

«Ну вот и все, — как о другом человеке подумал он, — жил, работал. Сыздетства. Никому ничего плохого не делал. На Петра не сердился, даже наоборот. Зина теперь одна останется... с маленьким Ванюшкой... Хотела на моей руке поспать... теперь одна будет спать... А я останусь, травою прорасту».

А вокруг все замерло.

«Ну ладно, чуток полежу, согреюсь, может, — он сунул руки между колен, зябко повел плечами, прижимая подбородок к груди, — потом встану, лучше будет, может».

Все, конец Ваньке, очень просто все.

* * *

«Это ж замерзаю я, — подумал он, не чувствуя своего тела, — если не встану, а ну? — Не помнит, как поднялся, сначала на коленки, на четвереньках вроде пораскачивался. Поясницу еле разогнул, ни руки, ни ноги ничего не чувствовали. — Только бы не свалиться». Хотел вытряхнуть снег из рукавицы, она не снималась. Махнул рукой, она запрыгала с легким треском по льдистой корочке. «До нее и не доберешься теперь, как живая заскакала». Хотел было пойти за нею, но запустил и вторую вслед, эта еще дальше упрыгала. Постоял, постоял, стащил шапку — пальцы-грабли ничего не чувствовали — и ее пульнул к рукавицам: «Нате, вот вам! Эх! Жил, работал, всем помогал, сына хотел — и плюхнулся лицом и всем телом в сугроб, прямо перед собой. Тхр-р-рум, — пропела льдистая корочка. — Нате! Возьмите! — прохрипел он яростно, сжал до боли веки и начал двигать руками, ногами, лицом. — Нате! Камчатка!»

С отчаянным бешенством — это ему казалось, что с отчаянным, на самом же деле он еле копошился — стал месить вокруг себя все, двигать всякой, чувствовавшей себя и не чувствовавшей частичкой тела. Стиснул зубы, перекривил лицо, задыхался. Устал, но продолжал и продолжал двигать сыпучий снег. Он, этот снег, во рту, в ушах, за воротником, попискивает под ногами. Слюна соленая, в голове темно, колет в ушах, глазам больно. «Нате, нате! — перевернулся на спину. — Нате!»

Сам не знает, сколько продолжался этот кошмар. «Когда сознание кончится, тогда уж и перестану». Поднялся, еще раз в снег, да кулаками в него, да головой его. «Го-го-го!» — как Чамба.

...Затрещал брезент. «Что она, боль? Хоть какая! Хоть какая! — А боль жгла бедра железом. — Мышцы, наверно, уже все попорвались, ну и шут с ними. — На снегу танцевали черные, красные, всякие фиолетовые круги. — Шут с ними, шут с ними!»

Выдохся, повалился в сугроб. «Все равно буду биться, пусть хоть что. — Лизнул снег. Он был холодный. — Ага, губы нагрелись да вроде и руки свербят и болят, с пару, значит, сходят. Так-то вот! Если сознание кончится, тогда уж!..» Но сознание не кончалось.

Поднялся, сделал шаг, другой. Пошел.

* * *

На белой полоске горизонта зачернелись строения. Одно из них возвышалось над всеми. «Склад, а там дом деда Чамбы. А ну еще, что ж мы?» — Круги перед глазами запрыгали быстрее, на стороны полетели слюна и хрип.

Если оступался — особенно часто оступался в начале этого кошмара — и падал, без движения не лежал ни секунды. Проклиная все, плевался, с мычанием и ревом поднимался — и вперед.

Попытался тереть уши. Но они двигались всей раковиной, ничего, конечно, не чувствовали. «Крышка ушам, на жилах небось только и держатся. Ну и хрен с ними!»

И вот больной весь — в том смысле, что не было ни одной частички тела, которая бы не болела, — задыхающийся, он стоит и хохочет: «Ха-ха, хо-хо-хо!.. Еще и на голову могу! — И он встал на голову, но шея подвернулась — не напряг вовремя мышц, ухо прижалось к плечу. — Зря снега в ухо набил, дурак!»

На последних десяти метрах до склада совсем выдохся. И смех и горе. Упадет, встанет. Наберет воздуха полные легкие: «И-и-и! — и повалился. — Да что же это? А ну? И-и-и!.. И-и-и!.. — Перевалился через сугроб, сапоги так и шлепнулись бесчувственными бревнами на дорогу. — Вот так-то вот!»

Лежит Ванька. Лежит и дышит на дорогу. Оперся на руки, коленки подтянул, встал на ноги, разогнулся. Шагнул и упал — земля ровная, а качается. «Пирожки!» — засмеялся. Опять лежит. Спина стала неметь от холода. «От зараза — полежать не дает». Пополз.

Подобрался к крыльцу дома Чамбы, вскарабкался по ступенькам, стукнул кулаком дверь. Стукнул вроде слабо, еще раз — посильнее и скатился по льдистым ступенькам вниз. Хотел опять вскарабкаться, но так и остался лежать, припав щекой к ледяной ступеньке.

Блеснул свет в окне, с грохотом отодвинулся засов, заскрипела дверь.

— Кто тут колотит? — гаркнул дед, склоняясь над Ванькой. Он был в исподнем, от него пахнуло прошлогодней травой. — Никак Иван? Бабка-а! Ты откуда, ангел мой?

— Из ту-у-ундры, — прошипел Ванька, поднимая голову.

— Ангел мой! Полина-а! — Дед подхватил Ваньку, потащил в дом. — Полина, мерзлый человек. Да где ты, старая?

— А вех там не-э-ту!

— Нету, ангел мой, нету. Не ставил еще. Полина!

С фонарем топталась на пороге баба Поля. Охала.

Пока дед тащил Ваньку в хату, она ушла за Зиной. Дед усадил его в угол за стол, поставил бутылку спирта, кастрюлю вареной медвежатины.

— Сейчас, ангел мой, мы тебя отходим. Сначала нутро, а потом конечности. Ноги-то целы?

— Не знаю.

— Ваня! — влетела Зина с клубами пара. Обхватила его голову, повалилась на пол. — Я знала, что ты придешь, знала, знала... — Она была в шубе поверх теплой ночной сорочки, горячая, пахучая. Плакала, смеялась. — Знала, знала!..

* * *

Домой не пошли, остались у деда.

Не спится. Тикают и потрескивают цепочкой ходики на стене, ворочается и кряхтит дед в соседней комнате, спирт волнами прокатывается по всему Ванькиному телу, приятно щекочут и болят обмороженные места. Легкое головокружение.

— И не писал, — обнимая, с упреком говорит Зина.

— Я писал.

— Только четыре письма и было. А посылочку получал? Я с Яшкой передавала.

— Угу.

— Ой, Ваня, я чувствовала, что ты придешь... Вот не спится мне, вот стоишь ты под окном в снегу, бледный, синий весь, какой-то прозрачный. Чуть с ума не сошла, стоишь и смотришь. Не могла, к Элле Ивановне побежала, она пирогами, чаем угощала, ночевать оставляла, а я ни к чему не притронулась, наплакалась и домой, а ты опять под окном, думала, с ума сойду.

— Чувствовала, значит.

— Ой, Ваня, никогда одного больше не оставлю.

— Это конечно, вдвоем лучше.

— Хороший мой!

Глава семнадцатая

Не зеленая трава,
В поле не засохну...

Началось сразу.

Каких только пакостей Надька не насмотрелась да каких мерзостей не наслушалась — ну и отлетчицы же встречались. Были и такие, что надзирателя дразнили, выкобениваясь перед ним. Правда, он быстро их утихомирил.

Думала — ну худо будет.

В бессонной ночи вспоминалась деревня в Тамбовской области, дорога на Камчатку, когда по вербовке ехала. То-то удивилась Москве. Народу-то! И не сосчитать.

Потом ехали недели две. Россия-то! Батюшки-и!

Когда вышла замуж за Магомедыча, никуда из Дранки не выезжала: ни у нее, ни у него близкой родни на материке не осталось. Да куда и зачем ехать? А жили! Магомедычу на двадцать золотых зубов с двух путин хватило. А заботы? Особенно когда дочка уехала в интернат на учебу.

Скучновато, конечно. Но, с другой стороны, вроде и ничего: по вечерам собирались друг у друга, чаевали, сплетничали. Разъезжались по гостям: в Ивашку, Уку, Макарьевск, Оссору — сто километров для Камчатки не расстояние.

Вызвал ее к себе на второй или на третий день начальник колонии.

— Вот что... Мы тут учим многим специальностям. Учить тебя на станочницу, шофера нам невыгодно, срок у тебя небольшой. А вот на маляра, штукатура, каменщицу — подойдет. Выбирай.

Она растерялась.

— Сама понимаешь, не в благородный пансион попала, особых предложений не жди. Кем ты сможешь работать?

— Все равно.

— То есть как это «все равно»? — ободряюще посмотрел на нее начальник. — А где до магазина работала?

— Рыбу в ящики да в бочки укладывала.

— Пойдешь укладывать кирпичи. Освоишь уголки, это, кстати, не зависит от ученья и навыков, врожденное, что ли, талант своего рода нужен; так вот, освоишь уголки, присвоим высокий разряд и дадим бригаду человек тридцать. С нарядами и расценками справишься, считать умеешь, хоть и просчиталась. Не освоишь уголки, будешь подсобницей.

— Подсобницей согласна.

— Посмотрим. Образование?

— Четыре... три класса.

— Запишешься в пятый. И последнее: отработаешь должок — освободим досрочно. Иди.

— Спасибо.

— На здоровье.

Глава восемнадцатая

Вышел Ванька через несколько дней на улицу, обмороженный, с забинтованными руками, и не узнал Дранки — та Дранка и будто не та: и высоченный склад, что весною закладывали, тот, и главная улица та, и правление, но что-то не так. Солнышко, что ли, по-другому светит?

— Пойдем в контору, Ваня, — сказала Зина за завтраком, — сегодня деньги дают.

— Погоди, дай на тебя насмотрюсь!

— Ваня, — расслабленно гнулась она в его крепких руках, — там я девчонок туфли попросила отложить, могут продать их кому-нибудь.

— Хм.

В конторе возле «кормушки» — так нацарапал ножичком какой-то юморист над окошечком колхозной кассы — стояла реденькая очередь. Почти все знакомые.

— Ваня, — обступили ребята, те, что из бригады, — с приехалом! С приехалом, Иван! — трясли они ему руки. — Как там дядя Саша? Прыгает еще?

— Да гнется все... Радикулит. Здорово! — «Как и не уезжал, — горело в нем, и было стыдновато, хоть никто ни на что и не намекал, — никогда больше ребят не брошу».

— Пересчитай, — шептала над плечом Зина, когда он писал «сумму прописью».

— Ладно.

«И не с такою радостью их держишь, — думал он, складывая тяжеленькие пахучие пачки ровной стопкой, — раньше-то мечталось, или уж всегда так: стремишься, волнуешься, ждешь, а подойдет этот момент — радости никакой нету. Но попотеть-то за них поприходилось».

— Спрячь подальше.

— Ладно.

— Там, Ваня, такие туфельки... на шпилечках, темно-фиолетового цвета. У Клавы видел? Вчера в них к нам приходила. Правда, хорошие?

— Ничего, — согласился он, хотя не заметил, обута ли Клавдя вообще была.

— И я себе такие же куплю, — говорила она, прижимаясь к его локтю, — и еще беленькие...

«Как дитё, — думал он, улыбаясь, — так же, наверно, и Аришка радовалась... и эта, может, под подушку класть будет. Жизнь... мать ее за ногу».

Но в магазине ему покраснеть пришлось. Зина потребовала сразу два пальто, три плаща, навыбирала шеренгу туфель.

— Зина, да куда ты столько? — шепнул он.

— Сколько? — почти крикнула она.

— Тише... весь магазин.

— Какой магазин? Чего тише? Они же разных фасонов.

— Да тише...

— Наплевать. Девочки, — крикнула она продавщицам, — а с капюшончиком плащик в какую цену? Покажите!

«Дает!»

— Подержи-ка? Чего стоишь? За чужие деньги, что ли?

«Дела-а-а!»

Из магазина шли как переселенцы. Зина цвела вся.

— А после родов, Ваня, — тараторила она, — фигура-то изменится, вот синий плащик и как раз. И босоножки к нему. А белые выходные будут к лету. А вот эти на каждый день. Совсем дешевенькие, какие хорошие, правда?

— Правда, правда.

Навстречу, согнувшись, ковылял Магомедыч. Он тащил разные кульки, буханку хлеба под мышкой, из карманов выглядывали консервные банки.

— Осман Магомедычу!

— С приехалом, Ваня!

— Ну как здоровье? Как дела? — «Про дела-то, наверно, зря. Какие там дела?»

— Э-э-э, — отмахнулся Магомед, — клеб принести некому.

— Ничего, все наладится.

— Минэ, Ваня, сы тобой поговорить надэ.

— Выкладывай, чего у тебя?

— Понимаешь, Ваня, сотни тири-читири дай до путины? Понимаешь, Ваня, Надька посылка надэ, дочка посылка надэ, сыстра на материк денек надэ. Зимой работа плакой, книжка пустой. Сам понимаешь, Ваня!

— Осман Магомедович, — обрадовался Ванька, что сможет хоть как-то помочь этому человеку, — с превеликим удовольствием. Сейчас, — он бросил покупки на снег, достал деньги. — Держи, Осман Магомедович. Помнишь, как меня ватными штанами выручил?

— Э-э, — поморщился Магомед. — Чего вспомнил. Спасибо, Ваня, благодару.

И он заковылял, оглянулся, махнул свободной рукой.

— Плохо ему, — сказала Зина.

— Куда хуже.

— Ты бы ему больше дал, хороший человек.

— Да надо бы.

До самого дома шли молча. «Надо бы предложить, — думал Ванька, — не догадался, дурак».

Вечером пришли Прохоровы, Клавдя не впервой в Ванькином доме, да уж так подруги встретились, с охами, ахами да поцелуями. Сразу же кинулись обсуждать да примерять покупки.

— Нас они, Ваня, не возьмут, конечно, в свою компанию, — сказал Володька.

— Не до нас им.

Уединились на кухню, закурили.

— Наверно, Ваня, — Володька смял папироску, — не уживусь я с Геннадием.

— Полкана спускает?

— Ну Полкана, положим, и я могу спустить не хуже его. Не то, Ваня, совсем не то. Понимаешь, он хочет, чтобы ему подчинялись беспрекословно, а я, например, не могу нукером быть. И опять-таки дело не в этом. Как тебе объяснить? — Володька тер лоб, собираясь с мыслями. — То и дело прибегают от него с записочками: выдай то,

отпусти это — без требований, помимо бухгалтерии, втихаря, так сказать. Это, положим, пустяк, по требованиям провести после можно, можно и списать, акты на списание он утверждает, но ведь сам принцип грязненький. С душком. Вот недавно велел придержать синьку. А про эту синьку, ее и всего-то двадцать килограмм, директорша школы давно знала, мозги мне продолбила, коридоры они, что ли, подновить хотели. Я все тянул резину, говорил, что не оприходована. И он велел отдать эту синьку директору комбината, тот будто пообещал помочь нам весной с рыбонасосом. Положим, все правильно, рыбонасос нам нужен, но ведь директорша школы увидела эту синьку на заборах да воротах у комбинатовского главного инженера, у главбуха. Ну как теперь? — Володька задумался. — Недавно велел не сдавать в Рыбкооп два бочонка икры.

— Поганое это дело, — поморщился Ванька. — От людей ведь ничего не скроешь.

— Тем более у нас.

— По правде жить лучше.

— Эх, Ваня! — Володька вздохнул, закурил еще. — По правде, говоришь? — Задумался, даже помрачнел, смотрел перед собой и будто ничего не видел.

— Да ты чего это? — толкнул его Ванька. — Весь вечер как не такой.

— По правде, — еще раз повторил Володька. — Рассказать бы тебе кое-что, да боюсь, не поймешь.

— А ты не боись.

— Знаешь, Ваня, на материке какой я шишкой был? Завторга. А знаешь, что это такое? Это, Ваня, все снабжение города шло через мои руки.

— Ты смотри...

— Друзья завелись, тоже соответственно — и пошло. Хлеб по карточкам, а мы стерлядкой коньячок заедаем... И вспоминать стыдно. Потом, естественно, все разоблачилось, как это и должно быть по логике жизни. Хорошо еще, что отделался только 147-й «е» в трудовую книжку. И уехал я из своего города...

— И что же ты теперь? — Володька показался Ваньке чужим. — Уж не грехи ли решил искупать?

— Грехи не то слово, Ваня, — он хлопнул ладонью по столу, — а икру я ему не дам, от всех этих делишек пахнет знакомым мне запахом, а мне этот запах не нравится.

— А не бросить ли тебе все это и опять в бригаду? Правда, вкалываешь побольше, но...

— Не то, Ваня, совсем не то. Боюсь, ты меня не поймешь. В бригаду хочется, всей бы душой, сердцем отдыхал в бригаде, но не получается у меня, кем только не перепробовал: слесарем, штукатуром, бетонщиком.

— Полеты!

— Бью по зубилу, попадаю по рукам. Начну собирать компрессор — лишние части остаются. И смех и горе. И платить-то мне не за что. И жить не на что. По нескольку дней не ел. Ребята видят такое, то один, то другой домой пригласят, накормят. Душою я прирос к рабочим людям. И тут-то, Ваня, я задумался над жизнью. Крепко задумался.

— И до чего же ты додумался?

— А до того, Ваня, что таким вот занудам уступать в жизни нельзя и что в сарае на своем точиле не усидишь...

— Да что ты пристал ко мне со своей агитацией? — рассердился Ванька. — Я работаю, получаю свои деньги — и нормально.

— Да не нормально, Ваня, не нормально. Ты ведь, кроме своего топора, ничего не хочешь знать. И шуруешь, шуруешь...

— Ну моего топора ты не касайся, — оборвал его Ванька, — не твоего ума это дело. Хочешь, чтоб я активистом стал? А какой толк из этого? Какая выгода?

— Никакой. Разве что забот будет побольше, да и работать придется больше.

— А зачем мне это? — Ванька надулся, сердито засопел. — Без этого дела проживем. А вот некоторые активисты, как поглядишь, в начальники лезут. Глядишь, и ты выбьешься.

— Поставят — не откажусь.

— За нас с Мишкой похлопочешь. Правда, нам ничего не надо.

— В том-то и беда, что вам ничего не надо. И ни до чего вам нет дела. — Володька разнервничался. — Уткнулись и молотите, как роботы. Тот хоть учится, а ты... Не хлопотать за вас надо, бить вас надо. Хоть бы по разику треснуть.

— Давай, давай, комиссар!

— Ну и чурбан ты, Ваня!..

Расходились недовольные друг другом, до полуночи протрепались. Володька еще непонятнее стал, но ближе как-то. Хотелось ему помочь, поддержать его. Но как? Не знал. Хотя все его переживания Ваньке показались пустяковыми. «Чудак человек, — подумал, прощаясь, о нем Ванька, — нервируется, а сам не знает зачем».

На зиму жизнь в Дранке уходила под сугробы. Но не совсем, не как в те годы. Гремел двигатель на электростанции, работал сетепошивочный цех — ребята с сейнеров шили там себе кошельки, снюрневоды, рыбацкому делу обучались; в механическом цехе механики налаживали свои механизмы; были даже организованы курсы по повышению квалификации плавсостава.

Ванька опять возвратился в бригаду, в столярном цехе работал: шлюпки для флота, кунгасы и живорыбницы для ставных неводов, двери, окна, арматура.

А Леха Гуталин, «прогуталинив» в Петропавловске шесть тысяч, помогал Осману Магомедовичу на тракторе да на бульдозере. Они обеспечивали Дранку льдом (в колхозе водопровода пока еще не было, воду добывали изо льда), расчищали дороги от заносов к складам да мастерским, иногда даже выкапывали из снега молочную ферму или свинарник. Таскали с того берега, где зимовал флот, разные части в мехцех, что нельзя было унести вручную. Ну и работка у них! Бежал Ванька как-то в пургу с работы, лицо воротником шубы прикрыл — морозец под сорок, — слышит, Магомедыч чешет кого-то. Подходит, они с Гуталином возятся в тракторе голыми руками, паклю жгут. Трактор морозными иголками покрыт, а руки у них побитые, помороженные, в масле.

Чамба собирался в тундру вехи ставить.

Функционировал и Ванькин сарай. За неделю навел там порядок: настлал пол, побелил, подкрасил, провел свет. По вечерам в нем пропадал. Хорошо это. Насвистывает свою любимую:

...русский раненый лежал...

Ты не вейся, черный ворон, ты не вейся надо мной!
Ты добычи не дождешься: я солдат еще живой...

И мастерит что-нибудь: детскую колясочку — скоро пригодится, табуретку, шифоньер... Все это не спеша,

каждую планочку облизывает. Войдет Зина, сядет в уголке возле электрического обогревателя, расстегнет шубу, семечки лускает — мать из Куприянова прислала. Или зеркало принесет, рассматривает себя — на лице у нее выступили коричневые пятна, руки и ноги отекли чуть. Часто была очень нервная и недовольная всем: и воротник у него расстегнут, и небритый он, и зачем так подолгу в сарае торчит, и что погода плохая. А бывала и веселая. Начнет мечтать о ребеночке, какие у него будут маленькие ручки, ножки, как его любить будет. Пристроится вышивать распашоночку или кружева к шапочке прилаживать. Или вспоминает, как в интернате войной — с подушками — ходили на мальчишечьи комнаты, или как с подругой бегали в магазин примерять туфли: напримеряются и домой. А один раз целую неделю спала с бельевыми прищепками на носу — мальчишки сказали, что у нее нос широк. И Ванька рассказывал, как в армии служил, в стройбате — служба: ни разу в руках винтовку не держал...

Как-то Зина пришла в хорошем настроении, сначала рассматривала свое лицо в зеркало, повздыхала, что совсем некрасивая стала, потом начала вязать шапочку малышу.

— Неплохо бы тебе, Ваня, на сейнер попасть, — говорит.

— Это зачем же? — удивился Ванька.

— Ребята с сейнеров, видал, по скольку получили? Вон Моль в отпуск пять тысяч повез. А сам Страх не знает, куда деньги девать.

— Да я же не рыбак, — засмеялся Ванька, — какой же я рыбак?

— Не смейся, я серьезно. Мы бы тогда ковров накупили. Всю бы комнату коврами украсила.

— Ты смотри, — смеялся Ванька, — как у Шехеразады, да?

— Смеешься, у нас даже мебели хорошей нету.

— Да я тебе такой мебели наклепаю — диву дашься. А ковров, будут тебе и ковры на тот год, не все же сразу. В этом и за дом расплатились, и одежды насправляли.

— Или бы новый дом, — задумчиво продолжала она.

— Новый дом? — еще больше удивился Ванька. А этот куда же?

— Видал, теперь какие строят? С ваннами, стеклянными террасами.

— И у себя ванну поставим. А террас я тебе таких наделаю, будешь как в стакане.

— Все равно те красивее.

— Нам не дадут. Их дают тем, у кого нету.

— Выхлопотать как-нибудь можно. Вон Клава с Володькой какой получили!

— Они же в общаге ютились.

— Ваня, а давай свой продадим?

— Да ты что? Или не в своем уме?

— А сами в общежитие. И нам новый дадут.

— Эк куда метнула! — засмеялся Ванька. — Да разве можно?

— Прямо уж и помечтать нельзя!

— Помечтать-то можно, — посерьезнел Ванька, — чего ж не помечтать? Да только плохо пахнет от твоих мечтов.

— Ваня, слово «мечты» употребляется в единственном числе.

— Кабы ж в единственном!

— А еще приемник надо, холодильник, стиральную машину...

* * *

А Страх в этот день «коверкот» дома устроил. Приемник, холодильник, стиральную машину, ковры, подушки — рубил все подряд. Покончив со всем этим, принялся за кровать. Топор скрежетал, запутывался в сетке, кровать не поддавалась. Наконец в руке остался обломок топорища. Страх замахнулся, не зная, куда запустить, и запустил в окно. «Дзинь», — пропело стекло, и в комнате радостным роем закружились снежинки.

Два дня назад проснулся он, видит, Зойка собирается. В магазин, наверно.

— Коля, я ухожу. — Она стояла с узелком в дверях.

— И куда же ты? Если не секрет.

— Не знаю. Но больше так не могу.

— Ну? — удивился он. — Ты ж хоть адресок оставь. — Он никак не верил, что жена может уйти совсем. — Чтоб знать, куда письмишко бросить.

— Я серьезно.

— Давай, давай!

Она ушла. Это дошло до него часа через три. И ясно-то стало потому, что дома пустота какая-то. Он стал ша-

рить по углам — одна порожняя посуда, а в магазин идти неохота.

Все-таки накинул шубу, побрел. Взял несколько бутылок — и в общежитие. Чамба там гремит, в тундру собирается. До вечера просидел. И остался ночевать: «Пусть узнает как...»

На другой день похмелился и домой: «Хоть посплю по-человечески». Но дом был пуст, вода в ведре замерзла — вчера с расстройства дверь забыл прикрыть.

Посидел, посидел, пошел искать.

Был у Володьки Прохорова, был у Магомедыча, у боцмана, заглянул к Ваньке, к Чамбе шел уже с верной надеждой: «У бабы Поли лясы точит». Нету. Тогда стал заходить в каждый дом подряд — нету. «Прячется», — догадался. И, придя домой, стал рубить всю домашнюю утварь. Все порубил, вспотел. «Убью», — решил, завернулся в шубу и повалился посреди побоища. Через несколько часов — уснуть так и не смог — заткнул остатком подушки дырку в окне, побрел в сарай за дровами.

Ругайся не ругайся, психуй не психуй, а «коверкот» плохой. Когда жизнь выходит из обычной колеи, сначала это ново, интересно даже, потом неудобно. И в конце концов невыносимо.

А как хорошо было: ночь-полночь, хоть с корифанами, хоть со всей бичкомпанией — она только переломит брови и начнет накрывать на стол. А если придешь «на бровях», разует, уложит, утром похмелиться приготовит.

Дня через три невыносимо стало. От Клавди Прохоровой узнал, где она, — сама спросила, встретившись: «К Демидову переселилась?» — «Как же раньше не додумался? — удивился он. — От зараза, ну...» Но когда подходил к дому дяди Саши, приутих.

Вошел в дом. Зойка с женою дяди Саши возились на кухне у стиральной машины, сам дядя Саша сидел за столом перед осколком зеркала, скреб огромнейшей, с деревянной ручкой, допотопного фасона бритвой серебристую щетину.

— Моя у тебя? — спросил Страх, хотя отлично видел, что она у него.

Старик, не оборачиваясь, взял ремень, прикрепленный одним концом к ножке стола, стал медленно налаживать бритву.

— У меня, а што?

— Домой ей надо или не надо? Как ты думаешь?

— Думаю, не надо, — так же спокойно, с небольшой паузой ответил старик. Когда дядя Саша говорил с паузами, Страх знал, что уговоры, крики или тем более угрозы бесполезны. Еще лет пятнадцать назад на неводе, когда Страх с ребятами на шлюпке ушел к пароходу за «газом» и их пронесло в море мимо парохода, дядя Саша — он тогда председателем был — догнал их на «Бегуне», по одному вытаскивал из шлюпки и «вразумлял». Надолго запомнилось это Страху. Да, дядя Саша человек серьезный! — Думаю, не надо, — с ледяным спокойствием повторил старик и, подняв бровь, добавил: — Она у меня прописалась.

— У-у-у! — Страх так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась.

А через два дня был в Оссоре, в больнице.

Выйдя от дяди Саши, почувствовал резкую, колющую боль в правом боку. «Аппендицит... уже третий раз... загнусь... Ну и черт с ней!..» Но все-таки добрался до дома деда Чамбы.

— Вези в Оссору.

— Собачки, ангел мой, приморенные. Только из тундры.

— Бабке на конфеты. — Страх протянул пачку денег.

— Сейчас, ангел мой, сейчас, — засуетился Чамба. — Потихоньку доедем.

— И замазать дай.

Врачи говорили, что, если бы трезвый был, умер бы в дороге. Дед привез его уже в беспамятстве.

— Коля, — Зойка дежурила у его кровати. Операция была сложная, — Коля, я ведь так жить дальше не могу с тобою.

— Сказал, завязываю, значит, завязываю.

— Надолго ли?

— Как это «надолго»? На все время.

— Не верю я.

— Я же сказал.

— Еще бы мне хотелось ребеночка.

— Давай из детдома возьмем.

— Я бы девочку хотела.

— Валяй девчонку, раз хочешь девчонку.

— Только я боюсь, что ты опять начнешь...

— Я же сказал. — Страх начал сердиться.

Но его «я же сказал» не сбылось. Выписавшись из больницы, первым делом зашел в магазин. Купил несколько бутылок шампанского, связал их бинтом и тащил за собой по улице — врачи тяжелое поднимать запретили.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

«От дает, — думал Ванька, — пианину!.. Девчонке только три года, еще и «мама» сказать не умеет, а ей пианину!..» — Он сидел на борту сейнера, строгал привальник.

Холодный ветер хлестал по лицу, стружку вырывал прямо из рубанка. Камчатский апрель!

Дома стояли по крыши в снегу, но чувствовалось, что через неделю или две солнышко начнет брать реванш за зиму, тундра набухнет и забурлит с сопок, а снег так заблестит, что без темных очков не высунешься.

Теперь это уже не та Дранка — из двадцати хат с кривыми улицами и плетнями из старой рыбацкой дели. Были уже две прямые улицы в «Черемушках», с новенькими домиками, асфальтированными тротуарчиками, березками вдоль них. Три больших склада, гараж, кузница, школа — правда, семилетка, но закладывается фундамент и под десятилетку. Особенно Дранка выросла после объединения, когда ивашкинцы и укинцы перебрались со своим скарбом. Сейнеров уже не два, а восемнадцать, и три буксирных катера; «Бегун» не в счет, он теперь только по речке ползал, на хозработах: то баржу с трактором перетащит с одного берега на другой, то сенокосчиков подбросит вверх по речке к месту работы.

Сейчас флот готовился к спуску на воду, самая горячая пора: как речка тронется, он с обработчиками и рыбаками ставных неводов — неводов на нерестовую селедку ставили уже четыре — уйдет в Анапку на весеннюю путину. Плотники, сварщики, бульдозеристы, токари, слесари не поедут, как шесть лет назад, когда всем гамузом на один невод ездили, — здесь дела хватит.

Колхозное правление находилось теперь в большом двухэтажном доме. И специалистов поприехало: капитаны, механики, инженеры, учителя — не узнать Дранки.

Зина с год как перешла работать в контору. Она сначала закончила бухгалтерские курсы — колхоз посылал, — потом поступила в экономический техникум на заочное отделение, сразу на третий курс, перестала стенки мазать, теперь ведет материальный учет по судам. Мишка второй год в прорабах ходит, осенью обещают послать учиться на инженера-строителя; хорошая струнка у него оказалась: сказал что, не отступится — гору сдвинешь, а его нет. Геннадий, конечно, первая и незаменимая рука Василия Васильевича: отдельный кабинет с коврами, кнопка на столе, секретарша возле кожаной черной двери. Располнел чуть, лицо гладкое, но с людьми проще в обращении стал, не как в первые годы, когда только назначили на эту должность.

А Ванька так и остался в плотниках. Ни в прорабы, ни в бригадиры, даже звеньевым не пришлось, хоть специалист он и получше Мишки. Ему нравилось просто работать. Работай, живи, чего там!..

Сейчас он доканчивал плотницкие работы на сейнере, вот привальник только. Даже посожалел, что закончит скоро, — уж больно материал хороший попался: непересохший, без сучков. Рубанок так и свистит. А стружки летят и летят, щекочут по рукам. Летят и мысли.

«Пианину, — думал он, — дает! Сама пианинша под стол пешком ходит, а ей такой инструмент. Тьфу! — Он перекинул рубанок в другую руку, передвинулся, чуть подавшись другим плечом вперед. — А года три назад только тряпками разными интересовалась. Доха-то третий год лежит, ходить-то в ней некуда. И все Клавдя: «Давай дохи справим? Жить на Камчатке и не носить натурального меха!» И носились по побережью, высматривали да вынюхивали, где бы достать... Не зря Клавдю «Торпедой» прозвали: вылупит глаза и поперла... Правда, что торпеда».

— Шуруешь? — раздался голос внизу. Там стоял Володька.

— Ага. А ты все мотаешься, начальник? Или за зарплатой... в рабочее время?

— Заодно и зарплату получу. — Володька засмеялся, закрываясь воротником шубы от ветра. — А вообще главный зачем-то вызывает.

— Стружку снимет, зачем же.

— Черт его знает, — Володька побрел на ту сторону речки, в колхоз.

Ванька почистил рубанок, закурил. «Дела! Ну вот хоть ковры. Висели они по стенам, никому не мешали, дак нет же: «Не модно теперь так, цветы надо». И в сарай ковры, преют теперь там. — Ванька с досады выплюнул окурок, задумался. Плечи опустились, выражение лица стало печальное, некрасивое. Складочки у губ повисли и обозначились резче. — Вот работаю. Чистая рубаха, чистый свитер. Рубаха прохудилась — купил новую, стоит-то всего какую-то пятерку, пустяк, считай. На люди выйти есть в чем, и трех бы костюмов хватило, дак нет же, заставила купить девять штук! То с одной пуговицей, то с пятью, то с разрезом, то совсем без воротника. Еще четыре — и будет как у Чамбы. У того, правда, довоенных фасонов, да они ж и эти устареют. А в отпуске «процедура»!» — Ванька даже поморщился.

...Идут они с Петром по Куприянову из магазина, а из окон да ворот, приставив ладони ко лбам, выглядывают бабки. И на каждой физиономии написано: «Не наш чи!.. Нет, не наш, инженер какой-то!..» А ведь не хотел надевать ни галстук с цепочкой, ни костюм с двумя разрезами — Зина все. Петр же валит рядом по-рабочему — в стоптанных кирзовых сапогах, клетчатой сорочке — и ему хоть бы что. Только покупки поколыхиваются в карманах. А тут потей под нейлонами... Да хоть и приехали когда... тоже фокус.

Это после гулянки — гулянка была, конечно, что надо: говорили, песни пели, и многих Петру пришлось по домам развозить на мотоцикле с коляской — собрались на кухне чайку попить все свои. Зина достает узел и начала шуровать подарки, и начала. Аришке кинула макинтош, туфли, отрез на платье, матери шубу из искусственного меха.

— Доченька, зачем же ты нас обижаешь? — запричитала мать. — Нам ничего этого не надо, нам на вас посмотреть, внученьку понянчить.

— Мама, вы думаете, мы обеднели? — не поняла ее Зина и выдвинула чемоданы. — Да мы, да мы... мы еще вот чего накупили! У нас еще вот что!

Аришка насупилась и покраснела вся, а Сашка, ее муж, хмыкнул и пошел из кухни.

— Мне внученьку... ангельскую душку...

Ваньке даже за Сашкой неудобно было выйти.

«А из-за этих тряпок, считай, и колотишься. — Ванька резко задвигал рубанком, стружки так и завращались. — Бегал с работы на работу, в Пахачу за длинным рублем ездил, чуть не замерз. Привозил денег большими кучами. Ну и что? Да таким, как моя или Клавдия, все мало будет. Чуру-то нету. А в Москве? Чуть не чокнулся, тьфу!»

В Москве, когда ехали в отпуск, Ванька действительно чуть с ума не сошел. Под землею же жарища, толкучка, чемоданы спереди и сзади, набитые рыбой, балыком, икрою, тяжеленные. Наташка пищит, все спешат, и со всех сторон только и слышишь: «Гражданин, не заставляйте проход! Позвольте, гражданин, вы поставили чемодан на мою ногу...» И никто толком не объяснит, где этот ЦУМ или ГУМ, да хоть и объяснит...

— Не могу больше, — сказал Ванька и присел на что-то блестящее. И вот дежурная в красном картузе:

— На мусорницы садиться воспрещается, гражданин!

— Тьфу, мать честная!

Наконец нашли этот ГУМ. Ванька как глянул — людей-то! Не протолкнешься — и опустил чемоданы.

— Нет уж, дуй сама.

— Ванечка, я сейчас, у фонтанчика вот с Наташкой постойте!

Ждали, ждали, ждали, ждали... «Разошлась баба», — кипел Ванька. Наконец показалась она, тащит этот узел.

— Перина?

— Да, перина, — Зина была пресердитая. — Такие сапожки были, с «молнией» внутри, белой каемочкой — за пять человек кончились!

— Тьфу!

— Больше я с тобой никогда не поеду.

— И слава богу.

— Еще в «Людмилу» или в «Светлану» надо, перстень с красным камешком, как у Клавы.

— Да ты что?

— Ваня!

И опять под землею. Ас-с-са-а! Из «Людмилы» или из «Светланы» она выносила если не коробку с туфлями, то чайный сервиз, если не шапку модную, то еще какой сверток.

— Ванечка, а тебе что купить?

— Шнурки-и-и-и!..

Ванька опять приостановил работу, поправил шапку.

«Матери бы помочь, но у ней, кажись, все нормально, на пенсии теперь, пенсия хоть и небольшая, но все ж таки. Хату подновили еще с первых денег, что высылал, всем необходимым они вроде обзавелись. А сейчас ей деньги высылать бесполезно, все равно на книжку кладет, «на черный день».

«На черный», натерпелась, бедняжка! И то сказать, сразу после войны было-то как!..»

...Мать крутит самодельную — Матвеич сделал — кукурузную рушку, вспотевшая вся, волосы прилипли к вискам, собирает выскочившие зернышки. Хлеб почти что весь из макухи да кукурузных хряпок, нёбо колет, но и такого не хватает. Один раз сидят они с Аришкой за столом, у Аришки шея тонкая, живот большой от крапивных щей, голова как стеклянная, сидят, ждут, когда мать хлебы вынет из печи. Они очень любили корочки подкусывать. И вот он входит, дед Василь, побирун.

— Вынаешь? — спросил он, присаживаясь на лавку и кладя рядом шапку с палкой.

— Вынаю! — раздраженно ответила мать, отдирая капустные листья от хлебов.

— А ты, девка, не серчай, — продолжал дед, — ты мне дай только один раз укусить. Я десять дворов обойду, десять раз укушу и день живу.

«...Да-а-а! О мешке муки мечтали, а сейчас!.. Аришка-то какая стала! — Он вспомнил сестру. — Статная, спокойная, на мужа не кричит, да и сам Сашка не хапуга, шофером на мясокомбинате работает. Если грузчики когда кинут в кабину коляску колбасы — не повезет домой. Да и Аришка бы стала стыдить за такое дело. Мирно живут, ладком, хоть хата и не новая. А моя-то? «Давай новый дом — и все! Не хочу в этом — и все! У всех почти новые, а мы?» А чем наш плохой? Новые, что теперь строят, конечно, красивее. Но и наш-то? Большая зала, две маленькие, кухня такая, что компанию собирать можно, — знали с Мишкой, что делали. Дак нет же! Хоть разводись!..

Нет, не надо разводов. А Наташка? А скоро, может, сынок будет, Ваня, Ванюшка! — У Ваньки все запело внутри и затеплилось, так это хорошо стало, он даже плечами передернул и радостно — вспомнил, какой сейчас живот у жены, — вздохнул. — Нет, не надо никаких разводов: она ничего. А когда за щепками ходила!..»

...Лето тогда только начиналось, работы у плотников

выше головы. И когда она под вечер приходила щепки собирать, у Ваньки праздник был. Если когда задерживалась или брала не у него, места себе не находил. Но такие моменты были редки, щепки она брала почти всегда у него. Может, потому, что не приставал с разными подковырками. Зато ребята, только она покажется:

— Ванькина идет!

— К нему направляется.

Один раз она не выдержала да как вспыхнет:

— Ванькина, ну и что? Завидно?

— Мы уже давно заметили, что ты к нему на свидание ходишь, — отозвался Мишка.

— Хожу, ну и что?

— За свадьбой дело, вот что!

— У тебя, паровоз, не спрошусь.

— И не спрашивайся, — смеялся вместе со всеми ребятами Мишка. — Только поскорее надо это дело обтяпать.

— Горит?

— Конечно, горит, — продолжал Мишка, — одни убытки. Он же весь матерьял на щепки изводит.

Ребята даже топоры побросали. Она покраснела, растерялась будто. Глянула на Ваньку. «Эх ты, — так и говорил ее взгляд, — за себя постоять не можешь!» Потом тоже засмеялась. Но невесело как-то, как сквозь слезы. Высыпала собранные щепки, вскинула пустой мешок на плечо и побрела. Шла расслабленно, опустив голову. Немного отойдя, начала бабочек с цветов мешком сбивать.

Ребята, нахохлившись, притихли. До самого конца рабочего дня как в рот воды понабрали. А когда пошабашили и налаживаться домой стали, Мишка крикнул:

— Стой, мужики!

— Ты чего, бугор, — спросил Володька, — уж не сверхсрочную ли?

— Сверхсрочную, — не поднимая головы, ответил Мишка и начал собирать щепки на разостланную телогрейку. Все ребята стали делать то же самое. Потом всей бригадой, все сорок три человека, направились к дому дяди Вани Мурашова и возле крыльца гору дров навалили.

Дня через два мастерил Ванька посылочку матери: балычка, рыбки собирался ей послать. Настроение было грустное и в то же время приятное: побаливает, щемит внутри что-то, а хорошо. Мурлыкает себе под нос:

Ты не вейся, черный ворон, ты не вейся надо мной,
Ты добы-и-чи-и...

И так вдруг захотелось увидеть ее, Зину, так захотелось поговорить, покончить со всем этим. Пан или пропал? «А что? Пойду и скажу, пусть делает что хочет». Бросил фанерки и зашагал. Даже не думал, как и что скажет.

Вошел. У них дома никого нету, только одна она возится у стола с утюгом. Не переставая гладить, повернула голову и засмеялась. Он стоял, как перегруженный паром котел — вот-вот взорвется, — в нем кипело и прыгало все. А голос дрожал.

— Ты в клуб не пойдешь? Ребята там спрашивали про тебя.

Какой там клуб, когда будний день, кому она там нужна, чтобы спрашивать про нее?

Она сразу все поняла. Стала спокойная и строгая. И он понял, что она догадалась про его вранье, но стыдно не было.

— Сейчас... сейчас, — заторопилась она, — я сама собиралась потанцевать, да вот...

Тихая радость зацвела во всем Ванькином теле, в каждой жилочке. «И она неправду говорит и тоже, наверно, догадывается, что я знаю про ее неправду».

— Ну пойдем?

— Сейчас.

Вышли из дому и побрели в другую сторону от колхоза. Вдоль по речке за Дранку.

— Ваня, — задыхалась она, прижимаясь к его небритой щеке, — чего ж ты раньше-то?.. Стеснялся, что ли?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю.

Он весь размяк, потерял способность шевелиться. Лежал на спине, раскинув руки, и ничего не соображал.

— Ванечка, какой ты слабый!

«Нет, разводиться не надо».

Глава вторая

— Слушай, Володя, — Геннадий морщился. — А почему бы тебе эту муку не списать?

— Не получится, Геннадий Семенович, — Володька ухмыльнулся.

Все заключалось, как шутил иногда Геннадий, в «высшем пилотировании».

Этой весной пахачинский приемщик рыбы попросил Геннадия выручить его — принять в колхоз его знакомую. Все эти годы она работала в рыбколхозе «Ударник», и — странное дело — «Ударник» из года в год обставлял дранкинцев по сортности. Геннадий, конечно, с большим удовольствием выручил приемщика рыбы: на собрании, когда принимали ее в колхоз, уж так ее расхвалил, так расписал — добился, чтобы ей дали квартиру. Поставил работать кладовщицей в пахачинском участке.

Геннадий считал, что колхозу повезло, но работницей она оказалась из рук вон плохой, Володька замучился с нею: как ни поедет в Пахачу проверять хозяйство, у нее сахар стоит рядом с керосином и годен только на списание, рыба засортирована — не поймешь, где крепкосол, где малосол; бочки с хлоркой и тавотом вместе с рыбными, а хлорку берут постоянно, обляпали все. Документация запущена так, что самому Петруню не разобраться.

Володька списывал порченую продукцию, сам во все вмешиваясь, помогал ей — надоело. Стал ругать, выговорок влепил. Ух, как она его понесла: начхала она на все его инструкции! И когда подмочила партию муки, решил прикрыть эту лавочку.

— А если она была такая, — уговаривал Геннадий, — возможно, с парохода получили подмоченную или при транспортировке.

— Осенью сам получал с парохода и сам вез на «Бегуне».

— Я тебе еще раз повторяю...

— Надоело.

— Уж не надоело ли тебе работать?

— Снимай.

— Если бы ставил. — Геннадий зашагал по кабинету. — Рано или поздно, Володя, мы с тобой столкнемся на очень узенькой дорожке, и один из нас полетит.

— Думаю, что не я, — спокойно сказал Володька.

Геннадий стукнул ладонью по столу.

— Ну почему ты, Володя, не хочешь понять простой истины? Впрочем, ты все понимаешь. Ведь понимаешь, как нам нужен свой человек на приемке? Или не понимаешь? Ведь мука, в сущности, пустяк по сравнению с тем, что мы будем иметь на сдаче рыбы. Да нам и никак нельзя ссориться с приемщиком. Ну почему ты этого не хочешь понять? Почему?

— Я тебе, Гена, отвечу по-рабочему: по хрену да по кочану.

— Уф! — Геннадий так трахнул по столу, что чернильницы подскочили.

Глава третья

«Да, разводиться не надо, — думает Ванька. — Были тряпки, потом книжки пошли, когда в техникум поступила, забыла немного про тряпки, теперь вот музыка пошла, ничего! Скоро детишек двое будет, не до музыки станет! — И вдруг краска стала заливать все его лицо, шею, даже веснушки незаметны стали. — А сам тоже?! Как хапал, как хапал! Особенно в первый год, как сарай завел. Инструмент-то и покупал, и за водку выменивал, а точило!»

Четыре года назад летом притащил «Бегун» как-то баржу от парохода с разным скарбом: станками, ящиками электродов, листовым железом, баллонами кислорода. Выгружали ночью всем колхозом, аврал был.

Вдруг Ванька увидел точило: в жестяной погнутой оправе, с ручкой, обшитое старым деревянным каркасом. Сердце так и захолонуло.

— Давай вдвоем? — подошел Володька.

— Да я и один.

— На сходнях осторожнее. Придавит.

— Ничего.

Взвалил, поволок. На сходнях пошатнулся, крикнул и бросил в воду. Метрах в трех от берега.

— Я же говорил, — отозвался Володька, — хорошо хоть сам уцелел.

— Чуть не сломался.

Поднимать решили днем, нечего, мол, в потемках возиться.

Когда на следующий день вытащили точило из во-

ды, оно было все в тине, грязное. Ванька добился у председателя разрешения, чтобы ему продали его за наличный расчет.

И вот оно стоит у Ваньки в сарае. В новом, конечно, каркасе — старый изрубил на маленькие кусочки и со стружками перемешал.

Ванька задумался, отложил рубанок, повел плечами — они ныли слегка. Поясницу тоже поламывало — работал согнувшись. Осмотрелся. На сейнерах сквозь редкий косой снежок поблескивали кустики электросварки, слышались удары топоров, свист пил. Возле Страхова «Спутника» полыхал костер, вокруг него метались фигурки с ведрами, солярку плескали. Они якорь-цепи отжигали, последнее, что им осталось по зимнему ремонту. Глухо, с перебоями стучал переносный движок.

Ванька взял рубанок, размеренно и экономно стал двигать им. «Или уж всегда так: сделал что шкурно, так на пользу не пойдет. Хоть и точило. Куры заляпали, да и сарай завален — не пролезешь. Хламу-то! А зачем все? Года четыре назад сделал шифоньер, а в магазин привезли рижские, разборные, из красного дерева. Свой — в сарай. Такая же процедура и с комодом. А стульев да тумбочек каких наклепал! Из клена, пролачил, над каждой планочкой колдовал. А Клавдя возьми и ляпни: «Безвкусица это. На мягкую мебель переходить надо». За кухонными столиками подруги аж в Оссору мотали. Привезли. Беленькие, пластмассовые. Неужели сарай строил, чтоб хлам в нем хранить? Хотя зачем — там же куры свои гнезда поустраивали!..

Вот она жизнь: и того хочется и этого. Сначала думаешь, без этой или вот этой вещи нельзя, а пройдет время — волоки в сарай. Добро переводишь, да и только. Хоть вот и скотина — три года с коровой мыкались: сена, комбикорму, а в день два раза напои да вычисти все у ней. А много ли нужно, чтобы каждый день покупать три литра молока?

И те же куры. Но куры ладно, какой же двор без курей, а вот кабан... ну пусть сто килограмм чистого веса, по два рубля за кило — двести рублей, половина моей зарплаты. Взял да и купил в колхозе, чем каждый день помои таскать. После работы бы в ванну или под душ да отдохнуть, а тут мычит все да хрюкает».

Недавно Клавдя прибегала:

— Ты знаешь, Зин, мы с Володей решили машину приобрести. Зарплата у Володи позволяет откладывать...

«Машину б, конечно, можно, эдак прокатнуться. Но это ж только в отпуск, раз в три года!.. А у нас тут по тундре да по горам не поедешь, только что до магазина сто метров. Да и перед кем выхваляться? Перед дядей Сашей или Магомедычем? Нет уж, пусть Клавдя», — и Ванька заулыбался.

На днях Клавдя сшила платье, внизу узкое-узкое. Прибегала Зине показать.

— Зин, дай, пожалуйста, ажурные чулки! И белые туфельки.

Та подала ей. Клавдя вырядилась, присела на краешек стула бочком и выворачивает ногу, будто из машины вылезает.

— Ну как? Смотрится? Гармонично?

— Ничего.

— Только машину надо под цвет платья.

«Во еще как, — подумал Ванька, уходя в другую комнату. — Нет уж, пусть до магазина пешочком протопает, не королева. Машина, точило, курятник, свинарник... И машина, может, понадобится так же, как точило, тоже куры заляпают. Точило сейчас, наверно, и не прокрутишь!»

А стружки летели и летели, щекотали по рукам. Ванька так размечтался, что не заметил, как стук топоров и лязг цепей приутихли, ребята стекались в боцманскую каптерку. На ее пороге стоял Володька.

— Ваня, — крикнул он, — иди сюда, тут парни сгоношили кое-что. С получки.

— А как главный узнает? — спросил Ванька.

— Ну что ж, — в тон ему ответил Володька, — на ковре придется побывать.

— А Клавдя?

— Что ж поделаешь, Ваня? Жмут, давят со всех сторон, а мы крепнем. Ну иди или не замерз?

— Щас. — Огляделся.

К каптерке стекались ребята, снимали рукавицы, бросали у порога инструмент.

Спрыгнул на снег — как электричество по ногам. Возле порога столкнулся с Магомедычем. Того не узнать: выбритый до синевы, все морщины смотрят вверх, глаза мечут молнии.

— Ты куда, Осман Магомедыч? — остановил его Ванька. — Или с нами не хочешь?

— Э-э-э, — отмахнулся Магомед. — Некогдэ.

— Да чего там «некогдэ»? Успеешь.

Магомедыч наклонился к Ванькиному уху, прикрыл ладонью рот и сообщил величайшую новость:

— Баб приекэл. — И заспешил, отмахиваясь одной рукой.

Глава четвертая

Надька вспоминала Дранку. Осман один остался на весь дом. На лето дочка приедет из интерната, большенькая уже. Вспоминала, как он нянчил ее маленькую, укачивал по ночам. На руки брал, сутулясь, прямо сгибался над нею. А когда у девочки болело ушко, заворачивал ее в два одеяла, одевался и ходил вокруг дома целыми ночами.

Днем ему всегда некогда: «нарта новая надэ», или «угол сопсем скнил, тири бревна менять надэ, пропадет дом». С работы же приходил усталый, недовольный часто: «Гуталин опять новый комулятор посадил», или «автолку сопсем менять надэ».

О себе почти не думала, не хотелось что-то думать о себе.

Когда получила пятый разряд каменщицы — уголки у нее получились, — дали бригаду. И не тридцать человек, а семьдесят восемь. Среди них было человек пять «законниц» *. Принято было им приписывать в наряды, они опора бригадира, держат в руках всех «мужичек» **. Пошла к начальнику колонии.

— Заберите от меня «законниц»!

— Зачем же? Сами выкормили дармоедок, сами и возитесь с ними.

— Они со мною могут утворить...

— А что я вам, должен персональную охрану ставить? Вас тут кормим, учим, а вы работать не хотите... Будешь лепить им в наряды туфту, — закончил начальник колонии, — пойдешь к прокурору. Учти.

---

* Законница — воровка, попадавшая в тюрьму не однажды, стоявшая на учете в уголовном розыске.

** Мужичка — случайная преступница.

И Надька решилась: пусть что будет. А в бригаде объявила:

— Каждая будет получать, что заработает. Никому никаких приписок делать не буду, все одинаковые.

— Веселый у нас бугор, — донеслась реплика.

Через два месяца «мужички», добросовестно работая, зарабатывали по сто семьдесят — сто девяносто рублей, а «законницы» даже на харчи не зарабатывали. Постоянно ждала — вдруг на работе кирпич нечаянно упадет на голову.

«Мужички» сами договорились охранять ее.

Перешли к ней две каменщицы из другой бригады. В конторе за харчи с них до конца месяца вычли в старой бригаде и в Надькиной на довольствие не поставили. Надька пошла с ними в контору, но конторские с ними даже разговаривать не стали, «зеки», мол. И вот, встретив как-то начальника колонии на участке, Надька рассказала все.

— Идем в контору.

В конторе он сам проверил ведомости и табели: с каменщиц незаконно было удержано по тридцать два рубля.

Ух, как он напустился на конторских!

— Что мы вас тут, — зло выговаривал он, — держим за красивые глазки? Платим вам повышенную зарплату за что? Если они заключенные, то разговаривать с ними не надо?

Освободили досрочно, начальник колонии ходатайствовал, сдержал слово. С бригадой простилась по-человечески: когда получила расчет и была уже за зоной, зашла в магазин, накупила чаю, колбасы. Все это со знакомой «шофершей» передала в зону — пусть бабоньки вспомнят добрым словом!

И вот она подошла к своему двору.

Вечер уже наступил. На улицах никого, шел мокрый, липкий, весенний снежок. Тишина и благодать над Дранкой. Окно в доме светилось. «Уже пришел с работы». Остановилась у калитки.

Это была уже не та Надька. Нет, она не постарела, ей еще и сорока не было. Спокойная, задумчивая стала.

Долго стояла у калитки, все не решалась войти в дом. Перебарывала нахлынувшее на душу.

Глава пятая

Без всякой договоренности стекались к боцманской каптерке.

Громыхая брезентовой робой, ввалились почти в полном составе сварщики, стеклись маляры, плотники. Пришел Страх со своими — он любил ходить в окружении единомышленников. Одет по-парадному: в мичманке, кожаном реглане, из-за голенища опущенного сапога торчала папка с бумагами — в контору, наверное, собрался.

Ежась, влетел Гуталин. В засаленной до блеска, с короткими рукавами и без единой пуговицы — проволочкой стянутой — телогреечке, кирзовых сапожонках, посиневший весь.

Сняли Гуталина за пьянку с флота, на берегу теперь мотается, переносной движок обслуживает — самая неблагодарная работа: движок старый, постоянно глохнет, стоит под открытым небом. Гуталин то и дело прыгает вокруг него с ветошкой да ключами, слушая брань сварщиков в свой адрес.

В каптерке Леха съежился еще больше, стал колотить расслабленными кистями по плечам — рыбацкий способ согреть руки, согнать кровь к кончикам пальцев. Потом склонился над печкой.

— Ну ладно, братцы, — выпалил Гуталин, подпрыгнул и к двери.

— Ты куда?

— Глохнет движок, кажись. — И сгинул.

Гонец принес водку. Пили по-рыбацки: кружка с бутылкой ходила по кругу — каждый наливал себе сам, по желанию или по совести, — все зависит от запасов.

Бутылка подходила к концу. Боцман, прежде чем налить себе, посмотрел ее на свет, плеснул немного, остальное поставил на подоконник. «Гуталину», — сказал.

— А теперь по своим местам, — неуверенно, зная, что не так-то просто их выдворить отсюда, сказал он.

— Да ты что, Ипатьевич? — удивился его помощник, Будников, — только собрались, а ты... нынче ж получка!

— Еще целый час до конца рабочего дня, — подпрыгнул боцман, — нечего муру водить, делом заниматься надо. Забирай, Николай, своих, — кинулся боцман к Страху, — нечего им тут...

— Тсс, Ипатьевич, — лениво отозвался Страх, — не испугаешь.

— Не те кадры, Ипатьевич, — добавил Краб. — И к бабке не ходить, не те!

— Вам хорошо, — повернулся к нему боцман, — у вас все готово. А нам еще слюзы * таскать, строны растить...

— Вместе и перетащим, — так же невозмутимо продолжал Страх, — как это и всегда было. А строны я тебе найду готовые.

— Работать надо!

— Наработаемся, Ипатьевич, — отозвался Мишка. — Куда все денется?

«Ну и кадры, — раздумывал Ванька. — Ну вот что с ними сделаешь? Хоть кол на голове теши! Правда, если уж сами что захотят, тогда только держись!» — И он вспомнил, как четыре года назад рыбу осенью отгружали в Пахаче.

Обрабатывали тогда сразу два парохода, они подвалили одновременно, один из-за штормов в Лавровой задержался. Три дня как в тумане — простой парохода дороже рыбы иногда обходится — катали бочки, таскали ящики, шуровали ее в чанах бревнами, жгли костры в цехах. Обработали, конечно, успели.

Уснули после этого понятно какие. И тут приходит в палатку Юрий Алексеевич. Понурый. Не поймешь, от бессонницы или, может, заболел. Подсел к дяде Саше, тот возле гудящей бочки грел свой радикулит. Чтобы не уснуть, прихлебывал чаек из кружки.

— Ты чего, Юрочка, загоревал? — веселым голосом спросил Демидов, хотя сам морщился от боли.

— Так, между прочим. — Инженер стал подбрасывать дрова в печку.

— Ну и..?

— Вот гляньте! — Юрий Алексеевич протянул радиограмму старику.

— ...о-обеспечить о-отгрузку о-оставшейся и-продук-

---

* Слюзы — деревянная подушка, на которой судно втаскивается на берег и с которой сталкивается в море.

ции, — склоняясь к дверце печки, читал Демидов. — Пароход придет сегодня, что ли?

— К утру подойдет.

— Он же через три дня должен.

— Он в Анапку не пошел, прямо сразу к нам.

— Н-да.

Молчали. Юрий Алексеевич ворошил угли в бочке.

— И что же мы сидим? — будто самого себя спросил Демидов.

— Я обошел все экспедиции, — инженер закрыл дверцу печки, — ситуация не лучше нашей. Наших же лучше не трогать. В соседней палатке попытался разбудить бригадира, он в меня чуть сапогом не запустил.

— И все-таки попробуем, — сморщился Демидов, открывая дверцу печки, — иначе нам нечего было ее досаливать. Сходи к поварам, пусть еду готовят. А потом бери машину и к директору Рыбкоопа Борисовичу, пусть дает своих людей на подмогу, магазины и склады никуда не денутся... Борисович выручит, хорошо меня знает. Дай бумаги! Да и комбинатовскому парторгу надо черкнуть...

Написав записки, Демидов с трудом поднялся и, склонясь на один бок, побрел к койкам, на которых, разметавшись, храпели обработчики.

— А ну, орелики, подъем! — От койки к койке, скидывая матрацы, которые были навалены на парней, ходил Демидов. — Подъем, братцы, подъем!

В ответ один из обработчиков со сна пнул ногой Демидова в бедро. Демидов скинул его на пол. И как ни в чем не бывало опять:

— Подъем, ребятки, подъем!

Наконец, глыба сдвинулась: проснувшиеся, поняв, в чем дело, стали помогать дяде Саше.

...За длинным столом при треске свечей жевали консервы, глотали обжигающий чай. Курили. Курили долго — знали, что ждет в цехах. А потом — как в рукопашной на фронте — затрещали костры возле чанов, заскрипели доски и бревна, замелькала синеватая рыбка при свете пламени, замелькали бочки и ящики. К утру, к подходу парохода, катер выводил на рейд загруженную баржу.

И еще полтора дня как в тумане. Перед Ванькиными глазами мелькали потоки рыбы, река бочек и ящиков,

спины. И знакомые и незнакомые. Кое-кого он узнал: двух милиционеров, продавщиц из гастронома, парторга пахачинского комбината.

— Товарищи, за отгрузку тройная цена, — объявлял расчувствовавшийся Юрий Алексеевич.

— Помолчал бы ты со своей ценой, — оборвали его.

— Товарищи, запоминайте и записывайте сами, кто сколько откатил бочек, учет вести невозможно. Звеньевые? Где звеньевые?

Записывающих не оказалось. Деньги раскинули все поровну.

«Такие уж кадры, — думал Ванька, любуясь ребятами, ему все казались хорошими. — Когда и без всяких денег согласятся работать, а когда и палкой не заставишь!»

Каптерка между тем наполнялась и наполнялась. Пришел сам Славка Бондарев, бригадир сварщиков, своеобразная знаменитость колхоза — Славка мог варить не только корпуса судов, но и полые, с двойной стенкой винты без всяких шаблонов и расчетов. Ввалились мокрые до нитки курибаны, они закончили долбить спуск к воде. Сразу к печке, расселись вокруг, от них пар повалил.

Влетел и Гуталин и тоже к печке. Ему подали почти пустую бутылку, что на окне стояла. Он выпил остатки, шумно задышал, сделав губы трубочкой. Тыльной стороной ладони вытер глаза.

— Ну, Ипатьевич, я, пожалуй, заглушу? — спросил он боцмана.

— Да рановато вроде, Алексей.

— Гоняю-то без толку.

— Да подожди ты, Гуталин, — отозвался Будников, — куда ты спешишь?

— Сколько раз я тебе втолковывал, — подскочил к нему Леха, — что не Гуталин, а Алексей Василич. Не доходит?! — И он кинулся к двери.

— Алексей Вас...

— Лех...

Но Гуталина и след простыл. А через десять секунд движок чихнул, стрельнул и заглох. Лампочка над столом растаяла.

— Надо же тебе было, — заворчал Славка, — будто не знаешь.

— Г-ха! Обойдемся. — Будников достал огарок свечи из ящика стола.

— Костя, — примирительно обратился к нему боцман, — закроешь тут все, я пошел в кузницу скобы отжигать.

— Ясное дело, Ипатьевич.

— А-а-а! Вот вы где, ангелы мои? — ввалился Чамба. — А я слышу, заглох двигун, ну, думаю, не зря это. Дай, — думаю, — проверю свое хозяйство. — Дед работал теперь сторожем, «пензию вырабатывал». — Неплохо устроились, ангелы мои, неплохо. — Он потянулся к бутылке и кружке.

«Ну и нюх, — удивился Ванька, — с того берега учуял. А еще темнит: хозяйство проверяю».

— А я, ангелы мои, признаться, — громыхал Чамба, — без кумпании не могу.

Каптерка гудела. Шум, дым. На одном углу стола резались в «шестьдесят шесть», то и дело хлестали кого-нибудь разбухшей колодой по носу, на другом стучал «козел». Ярко трещали свечи — их с какого-то сейнера принесли.

А над всем этим царил бас Чамбы.

— Я, ангел мой, канал строил, — гремел он на ухо Володьке.

— Не темни, — насмешливо отвечал Володька, — каналы ни при чем, мы ведь про колхоз говорим.

— Выбился в начальники, — гаркал дед, — теперь прихватываешь всех.

— Ты меня, положим, в начальники не ставил, а прихватывать тебя — пусть тебя кобель прихватит.

— Знаем вас.

— Знаю, что знаешь нас, — уже серьезно отвечал Володька, — обрезик небось припрятан?

— Нету, ангел мой, нету, — вздохнул Чамба, — а для таких, как ты, надо бы сохранить.

— Вот видишь! А ведь пора бы понять хоть кое-что... И сына своего не делу учишь. Тот тоже смотрит, где что плохо лежит.

— У меня Федор лучший токарь в колхозе! — Дед вскочил со скамейки, рубанул воздух рукой, а гаркнул так, что форточка зазвенела. — На Доске почета каждый год висит!

— Присядь, — спокойно продолжал Володька. — Что Федор лучший токарь — никто не спорит, да чему ты его учишь? Недавно иду по цеху, он охотничий ножик точил. «Федя, — спрашиваю, — сколько дней ты над ним ковыряешься?» — «Третий день», — отвечает. «А сколько бы, — спрашиваю, — ты получил по нарядам за эти дни, если бы дело делал?» — «Рублей тридцать пять», — говорит. «А ножик сколько стоит в магазине?» — «Пять сорок», — отвечает. Вот и вся твоя наука.

«Ну, наверное, надо сматываться, — подумал Ванька, — а то ведь ждет там!» — И он, ни с кем не простившись, шмыгнул за дверь.

Глава шестая

Возвратился на сейнер, собрал инструмент, протер его, отнес на корму сейнера, засунул под брезент. Некоторые шли по льду на тот берег, к складам. Склады высились над Дранкой — серые, с маленькими окнами под самой крышей. Рядом мастерская: длинная, приземистая, с окнами во всю стену, наличники на окнах поблескивали зеленой краской. Новенькая совсем, и года не стоит. «В этом году тоже, наверное, фундамент под механическую мастерскую на этой стороне начнем долбить, прямо под снегом, вот флот уйдет. — Он вспомнил, как в прошлом году шуровали, отбойными молотками мерзлоту били. — Работка! А может, и еще что. Да нет, наверно, мастерскую. Флотские механики кричат: «Давай мастерскую на этой стороне, за каждой гайкой путешествуем!» Правильно, конечно, для флота здесь надо. Да и там, тракторы, машины да бульдозеры-то там. Давай, все

кричат, давай: пилораму давай — вручную много не напилишь, кирпичеобжигочную печь давай — привозной кирпич дороже хлеба колхозу обходится. Да и аэродром бы надо. Кому в район требуется или какой несчастный случай — вызывай вертолет. А она, эта стрекоза, с колхоза за час триста рублей дерет. Триста рублей! Одному человеку целый месяц надо вкалывать. Да еще как вкалывать. А там мост через речку надо бы. Трактор или бульдозер понадобится когда на этой стороне — «Бегун» полдня канителится: пока на баржу погрузят, пока... Да и Чамбе бы кончилась лафа полтиннички да рублики сшибать!»

Миновал речку, стал взбираться на высокий берег. Сугробы ниспадали с него живописными волнами, чуть розоватые от заката. Ледянистая тропка наискось прорезала их. «Не загреметь бы! — только подумал так, как один валенок подшиб другой, и покатился вниз. — Вот и больницу бы, — думал Ванька, отряхиваясь. — Коля Страх от какого-то аппендицита чуть не загнулся. Да, больницу надо. Сколько хлопот, если с детьми когда».

Наконец осилил подъем, на пригорке ударило влажным и колючим от снежинок ветерком. Прикрыл щеку воротником. Пробирался по сугробам, на которых в разных местах чернели норы. К ним вели тропки — под снегом были вороха угля. «Вот и склад под уголь... Полая вода пойдет, сколько его в речке окажется? Уж сколько лет топливный склад сделать не можем... Хорошо, хоть площадку зацементировали да досками огородили». — Ванька вспомнил, как несколько лет назад, когда стеклил окна в правлении, услышал разговор на совещании. Тогда Василий Васильевич здорово распекал за этот уголь Геннадия да старого, что до Володьки был, завхоза: «Снимите с работы на один день конторских служащих, и пусть веничками подметут... И деньги по аккордному наряду дополнительно к основной зарплате в конце дня... Вот вам и люди...

И дело, думаю, в вашем отношении к рабочим, — продолжал тогда председатель. — Инвентаризация запущена, платежные ведомости ко дню выдачи зарплаты никогда не готовы. В результате недовольство. Из Петропавловска, где ремонтируется наш океанский флот, радиограмма за радиограммой. И все одного содержания: «Когда выдадут аванс, почему зарплату не выдают?» Безобразие. Мы забываем, что зарплата для тех,

кто зарабатывает ее по нарядам, — святое дело. И вообще для всех — зарплата кормит нас. И если рабочие возмущаются, шумят на нашу контору, у наших служащих одна отговорка: «Мы специалисты, не подгоняйте нас». А рыбаки, грузчики, курибаны, плотники, сварщики, выходит, не специалисты?»

«Правильно, — думал тогда Ванька, прислушиваясь к председательскому голосу, доносившемуся из соседней комнаты. Он тянул время, нарочно долго возился со стеклами. — Чего там неясного?»

«Теперь, — продолжал председатель, — кто установил такой закон, что за перевыполнение плана по добыче рыбы премию начисляют заведующему птицефермой или молочной фермой? Береговому боцману или кладовщикам положено, они участвовали в производстве, но какое отношение к рыбе имеет прораб строительного участка или зоотехник оленьего стада? Кстати, они получают и за отел скота, и за выполнение плана по добыче рыбы. Форменное безобразие. Этой зимой Магомедов с Суренковым обеспечивали бесперебойно поселок льдом, контора начисляла себе премию».

«Так их, — радовался Ванька, пританцовывая на подоконнике, — по бездорожью их! Гуталин с Магомедычем в пургу да в морозы лед колют да возют, а премию Петруню да Клавде. А когда аврал, пароход когда разгружать ночью, и плотники, и сварщики, и курибаны выходят помогать грузчикам, а из конторских никто».

Возвратившись в тот раз домой, Ванька долго не мог уснуть, все думал об услышанных на совещании «пьюансах».

«А вот Геннадий не такой, — подумал он, уже подходя к своему дому, — хоть и за руку здоровается, придет это когда на участок: «Здорово, ребята! — веселым голосом крикнет и за руку со всеми: — Ну как тут у вас Егоров? Опаздывает? Вы, братцы, сами его вздуйте, коллективом, по-рабочему, с песочком...»

А когда соберет у себя за кожаной дверью инженеров, прорабов, начальников участков и разных заведующих — Мишка не раз рассказывал — и начнет: «Жмите на них! Прогулял он у вас или опоздал на работу — выговор. Еще раз прогулял — штрафуйте на треть зарплаты. У меня вон целый стол писем, люди просятся в колхоз».

Клавку Торпеду в начальники произвел, боишься ее

больше, чем его самого, когда на работу бежишь: стоит с карандашиком. Опоздал чуть — на ковер. А толку что? Все равно ведь зарплата идет по нарядам, зазря ведь никто ничего не заплатит. Можно и день до вечера на работе проторчать, но если ничего не делаешь? Одна видимость. Вот сегодня, если дела никакого нету и за целый час раньше пошабашили, а завтра, если речка тронется, и день и ночь слюзы да концы разные таскать будем, пока весь флот не отправим. Дак нет же! Хоть груши околачивай, а торчи на работе. Ушел — сразу на ковер, а там, глядишь, вон из колхоза. Но Василь Василич держится за Геннадия, прислушивается к нему. Конечно, чего тут! Как он тогда Василь Василича прихватил?!»

Три года назад привезли в колхоз главный двигатель под электростанцию, огромный ящик — сама станина в нем, — который три трактора тащили от берега по специальному помосту из бревен.

— Давайте в ангар, монтируйте и в работу, — сказал Василий Васильевич.

— Ничего не выйдет, Василий Васильевич, — сказал Геннадий, — под него надо лить новый фундамент и над ним уже возводить новое здание.

— Поработает пока на старом.

— На старом фундаменте нам его даже не сцентровать. Он разлетится при пуске.

— Новое здание нам в копеечку обойдется. Да и люди на путине. На старом пока. Не он первый, не он последний.

— Тогда я, Василий Василич, не только отказываюсь монтировать его, но и снимаю с себя обязанности главного инженера. Мы его угробим начисто, над нами вся Камчатка смеяться будет.

«Ничего не скажешь — грамотный: достал линеечку, чик-чик, готово. Давай шуруй. Все здание тогда по его чертежам, расчетам да подсчетам. — Ванька не заметил, как оказался возле крыльца своего дома. — Опять, наверное, за грязные штапы ругать будет».

Глава седьмая

— Или выпил? — зло спросила Зина.

«Ошибся... не за штаны теперь».

— Да с получки махнули мал-мал. С холоду-то.

— И что за мода? Как получка, так обязательно выпить. И Володька небось с вами был?

«Что с нею происходит? Шипит и шипит. Хоть домой не приходи, к чему-нибудь да придерется, все не так. Наташкою когда ходила, не такая была, все плакала да умереть боялась. А сейчас... скорее бы уж».

Зина, тяжело ступая — живот у нее теперь большой, — пошла на кухню, там загремела посудой, а через минуту ворвалась еще сердитее.

— Так и знай, еще раз выпьешь — домой не приходи. Не пущу!

«Ничего, — думает Ванька, умываясь, — пройдет. Нашло-наехало, попсихует, такая же будет, никуда не денется».

— За Наташкой идти думаешь?

— Да умываюсь же!

— Одень ее как следует. У нее опять краснота под язычком.

«Сматываться надо, пока цел, одна-то скорее остынет». Схватил шубу и к двери.

— Оденься!

«Фу, мать честная!..»

На улице немного успокоился. Метель перестала, морозец к вечеру усилился. На горизонте над горами стлались косые пелены светло-розоватых облаков. «Вот тебе и досрочный выход в путину, — подумал он, глядя на облака, — ничего не выйдет, если дунет дня на три. А суетились».

* * *

Самое лучшее время — после ужина. Ох, как он любил его! Иногда, раньше особенно, целый день ждал, когда придет с работы, помоет руки, заберется в Наташкину комнату с каким-нибудь рукодельем: колодку рубанка шлифовать, строгать топорище, пилу налаживать или еще что. Рядом Наташка ползает со своими делами, книжки листает.

На сегодня надо было проверить детскую колясочку: понадобится скоро. Подкрасить, подтянуть сетку. Побрел в сарай за нею. Как вошел — на душе пакостно стало.

Все навалено, в пыли, пересыпано и склеено куриным пометом. Стал искать колясочку — она где-то в углу, за верстаком, должна быть, — зацепил плечом какую-то жердь. Над головой загремело, шурша, посыпались гвоз-

ди. Встревоженная курица с отчаянным криком захлопала крыльями, выскочив из-под ноги. От яркого света она ослепла, натыкаясь на все, носилась по верстаку как бешеная. Опрокинула фанерный ящик. Взбудоражились другие куры, послетали с насеста, сбились в углу за шкафом, лезли на стенку. Петух грозно кукарекал. «Надо выбрать выходной да прибраться хоть немного. Срам!» Ругая себя за лень и отряхиваясь от пыли, вытащил колясочку. Топором — инструмент тоже весь ржавый — соскоблил помет, протер пыль. «Обязательно порядок наведу», — будто клятву давал он себе, но эта клятва звучала неуверенно, вяло. В самой же глубине звучала другая, насмешливая, озорная мысль: «Ничего-то ты не сделаешь, все так и останется сохнуть да гнить. Даже точило от дерьма не отчистишь». На эту мысль он сердился, гнал ее от себя, а она опять: «Все так и останется... Безвольный я, что ли?» — заключил он наконец.

...Дочка ковыряется в своем хозяйстве, он плетет новую сеточку на коляску. Отвечая на ее болтовню, мурлычет себе под нос песню.

— Наташа, спать! — вошла Зина. — Детям спать пора. И ты тоже закругляйся. Попьем чаю, и спать.

— Есть, товарищ генерал! — Ванька вскочил, дурашливо выпрямился и приложил руку к виску.

— А ногти-то? Тьфу!

— Чем плохие, товарищ генерал?!

— Сейчас же стриги!

— Есть!

Зина взяла девочку за руку, повела на кухню. Зажурчала вода из крана.

«Человеком должен выглядеть». Будто без галстука и не человек! Ногти вот. — Он отыскал ножницы, подошел к кухонному ведру, стал стричь. — А книжки? То и дело сует: «Хоть правильно говорить научись. Деревня». Будто разговариваю на непонятном языке? Не по-французскому ж?»

— Ваня, чай пить.

— Иду. — Отнес ножницы, вымыл руки.

— Чего нахмурился?

— Так.

Пили молча. Не шутилось что-то, как это всегда было за столом.

И вдруг стук в дверь.

— Можно к вам? — Вошла Клавдя. — Добрый вечер, приятно кушать!

«Легка на помине!»

— Клавочка! — встрепенулась Зина. — Я уж думала, ты не придешь.

— Зина...

«Ну слава богу, — облегченно вздохнул Ванька, — теперь их водой не разольешь. Надо поскорее сматываться, под шум винтов, как говорят флотские. — Он схлебнул остатки чая, чашку на блюдечке в знак конца чаепития перевернул донышком — знал, что психанет, но все равно вверх. — Щас взорвется...»

И точно:

— Когда ты отвыкнешь от своих дурацких привычек?

— Виноват, товарищ генерал!

— Деревня!

Выскочил в другую комнату, облегченно вздохнул. Закурил.

А подруги понеслись:

— Представляешь, — щебетала Клавдя, — мой сегодня какой пришел.

— И мой.

«Ну пошло!»

— Представляешь, — продолжала она, — в боцманском помещении пивную устроили. Я чувствовала, что сегодня день получки и мой там будет, но не пошла в эту свинарню, а когда домой пришел, я ему так и сказала: «Будешь хороводиться с бичами, домой не приходи. Не пущу».

«Даже слова одинаковые, вот подруги дак подруги».

— Ведь с должности снимут, опять в бригаду в грязи ковыряться. Я разойдусь.

— А до моего ничего не доходит, — грустно соглашалась Зина, — не только не учится, но и книг не читает. Боится их как!

— И переубедить его не можешь?

— Бесполезно, — безнадежно махнула рукой Зина.

— Ну а твоя как учеба?

— Весеннюю сессию придется перенести на осень. Наверное, лучше бы академический отпуск...

— Ничего, осенью сдашь. А академический всегда успеешь.

Ванька заглянул в приоткрытую дверь. Подруги сидели почти вплотную, Зина подперла голову рукой, Клавдя, жестикулируя, что-то втолковывала ей. «Подруги, даже

про чай забыли! А эта и шапку не скинула. Что у них за мода? В конторе в шапке, в клубе в шапке и даже в хате шапку не снимает. Поругались бы, что ли, как тогда...»

Это лет пять назад, когда только подружились, так же вот одна без другой жить не могли, по пять раз на день носились друг к дружке: эта подарит той чумичку, та принесет этой меловую щетку, плиту подмазывать, эта той — бельевую веревку, та этой — целлулоидных прищепок. Вечерами перемалывали косточки соседям, осваивали приготовление корейского национального блюда — куксы. Володька с Ванькой дивились такой дружбе.

И вдруг «война». Неизвестно из-за чего. Клавдя, кажется, выболтала какой-то Зинин секрет. Перед вечером как-то — Ванька собирался в сарай — влетает Зина вся в слезах, ругает Клавдю. Не успел Ванька понять, что произошло, как распахивается дверь и врывается Клавдя. Еще страшнее. Бросает под ноги Зине бельевую веревку, назад требует свою чумичку. Зина кинула ей чумичку, потребовала свою сковороду. Через минуту в приоткрытую дверь со звоном влетела сковорода, а вдогонку Клавде полетел веник. А ночью кто-то обрезал Зинину бельевую веревку — это была уже агрессия. Зина собралась было к милиционеру Мишке Меньшикову, да тут Володька заявился: у него, видно, дела пострашнее творились. Володька подмигнул Ваньке, громко и всякими оскорбительными словами начал бранить свою жену, говорил, что в одиночестве она очень тяжело переносит разлад и послала его попросить прощения. До милиции дело не дошло, но мир не скоро был восстановлен. Да они с Володькой и не спешили. Когда через месяц помирились окончательно, Володька вздохнул: «Поспешили мы, Ваня, с этим делом, нам же бы лучше было».

— Ведь на такой должности работает, — доносился голос Клавди из соседней комнаты, — ведь у него же образование, ведь, если бы не выпивал с бичами, давно бы был на месте Юрия Алексеевича или Геннадия Семеновича — он ведь побольше должности занимал.

«Во куда!»

— Моему бы тоже образование надо, — вставила Зина.

— В этом году в Дранке будут организовывать университет культуры, — без перебоя тараторила Клавдя, —

на женсовете решили культурную базу расширять всемерно. Правление отпускает большую сумму...

— Университет? — удивилась Зина.

— Понимаешь, Зиночка, это не совсем обычный университет, в нем науки проходить не будут, а только культуру. Но культура будет на уровне всех наук, так что этот университет все равно что настоящий. В нем будут проходить эстетику, этику, политику, экономику, логику и кибернетику.

— Киберне-е-етику-у? А что это?

— Понимаешь, Зиночка, эта наука только появилась, это самая прогрессивная наука, ею сейчас занимаются все культурные люди.

«Скажи ты, — удивился Ванька, — все знает. Да ей бы на радио работать: включилась на целый день и трещала бы. Володьку только жалко, — уже без юмора подумал он, — такой душевный мужик, а на такой фифе женился. Ну какой от нее толк? Ни постирать, ни сварить, ни по хозяйству что. Володька сам же и смеется: «Моя Клавдя шить, варить — не буду говорить, а вот насчет культурностей...» Культура?! Тьфу. Да еще учит всех, кибернетика!»

— Мы с Володей обязательно запишемся в университет. Между прочим...

Ванька захлопнул дверь. «Мы с Володей, мы с Володей!», а когда Володька в бригаде работал, разряд-то у него маленький, зарплата меньше всех из плотников — какой он плотник? — только и слышно по колхозу было: «Бич, пьяница, алиментщик!» А теперь, как стал на большой должности работать, теперь: «Мы с Володей!..»

— До свидания, Ванюша-а-а!

— Пока.

— Клава, возьми вот, хорошая книга, — предлагала Зина. — Про разведку.

— Про разведку?! — обрадовалась Клавдя.

— Точнее, про контрразведку.

— Это же, должно быть, интересная книга.

— Очень.

— А я всю библиотеку пересмотрела, ничего любопытного не нашла.

«Разведчицы! — Ванька зашел в детскую, плотно закрыл за собою двери. Было скучно. Будто лежал на ду-

ше какой-то камень, унылый, нудный, непонятный груз. Давил сердце, не давал дышать. — С чего бы это? — задумался он. — Чего мне надо? Ведь все же хорошо и все есть: и дом, и костюмы, и мебель полированная, и деньги на книжке. А тяжко. И главное, тоска-то эта только дома наваливается, когда с домашними делами возишься. В бригаде с ребятами все по-другому, забываешь и про сарай, и про все это. Или, может, как эти подруги, книжками про шпионов заняться? Записаться в университет, узнать про кибернетику? Или еще про что? Про этикетику? А может, к Володьке прислушаться?

Жизнь! Живешь и не знаешь, чего тебе надо, даже чего хочешь, не знаешь. И никогда не узнаешь. Ни за что! Всего ведь добился, все ведь есть, а... скука. Видно, прав дед Чамба: «Теснота-то какая!» И человеку, видно, всякому так же тесно в жизни, как тому цыгану в степи».

Облокотился о кроватку. Долго смотрел на спящую дочь.

Глава восьмая

А Коля Страх бродил по Дранке, ожесточенно махал руками и склонял почем зря все колхозное начальство вкупе с небесной олигархией.

А началось с пустяка. Дня два назад понес он заявки и табели в контору на утверждение.

— Придешь трезвый, тогда подпишу, — сказал Геннадий.

— Да ты что? Чи я пьяный? Подпиши.

— А почему до сих пор якорные цепи не отжег?

— Отжег, сегодня отжигали.

— Но не погрузил.

— Да что их, долго? На раз...

— Протрезвись.

— Не подпишешь?

— Нет.

— Тогда сам за мной походишь! — взорвался Страх и разорвал все бумаги. Направился к двери.

— Завтра разберемся, — крикнул Геннадий.

Страх саданул дверью.

На другой день утром вместе со всеми, кто муроводился накануне в боцманской, вызвали и Страха с компанией. За зеленым столом сидели Василий Васильевич,

Юрий Алексеевич, Геннадий, двое представителей из Рыбакколхозсоюза — к выходу на путину начальство из области приехало — и двое членов правления, двое бригадиров неводов — оба, как нарочно, широкие, молчаливые, обветренные до черноты.

Докладывал Геннадий.

— Вот уже третий раз капитан Страхов нарушает трудовую дисциплину, устраивает коллективную пьянку. И это в такой страдный период, как подготовка флота к весенней путине. В рабочее время, разумеется.

— Уже пять минут шестого было, — заикнулся помощник Краба Юра, который был назначен вместо Гуталина.

— А это что?! — тряс блокнотом Торпеды Геннадий.— Во сколько переносной движок заглушили?

— Мы его не обслуживаем.

— В четыре, — кипятился Геннадий, — и все повалили в боцманское помещение.

— Может, погреться кто, — не утихал Юра.

— Погреться, — передразнил его Геннадий. — Итак, на основании доложенного, — он повысил голос, — Страхова предлагаю от должности капитана отстранить и перевести помощником на буксирный катер «Бегун».

— Он, кажется, объяснительную приносил, — сказал Юрий Алексеевич, снимая очки.

— Вот его объяснение, — Геннадий выхватил из кармана мятую бумажку, стал читать: «...с получки выпил стакан спирта и стакан вина и считаю себя очень вино-

ватым...» Какая наивность! Оторвал от работы сварщиков, плотников, курибанов, боцманскую команду и считает себя «очень виноватым».

— И тем не менее, — продолжал Юрий Алексеевич, протирая очки, — я предлагаю Страхова оставить. На вид, конечно, поставим.

— Через вашу доброту, Юрий Алексеевич, у нас на флоте никогда порядка не будет. — Геннадий передал мятую бумажку председателю, сел на свое место.

— Так этот грех за нашим братом водится, — не вставая, начал один из широких рыбаков, — ребята уйдут же до осени. В море магазинов нету, вот и расслабились. Ну это, конечно, чтоб в рабочее время, конечно! Да. Вот. Никуда не годится... И других, конечно. Но и с другой стороны, когда оно у рыбака рабочее, а когда нерабочее? В море — рабочее, а на берегу... Ну это, конечно... — он запутался в своих «конечно» и затих, опустив голову, ломал брови.

Председатель молчал: «Страхова снять с капитанов можно, да и, пожалуй, нужно — другим наука будет, и капитана на «Спутник» подобрать можно, но ведь палка имеет два конца».

Председатель рисовал на объяснительной Страха восьмерки — если кружки у восьмерок делать продолговатые, получаются рыбки — и вспоминал. Шесть лет назад Страхову дали сейнер. Он лежал на косе в Оссоре. Замытый песком, заваленный снегом. Страхов со своей командой откопал его, домкратами поднял на кладки, соорудил над ним деревянный сарай. Перебрал машину, заменил несколько листов обшивки, наладил промысловое оборудование — этот сейнер колхоз купил у почты, там он выполнял транспортные работы. Все силами команды. И в первый же год два плана дал. И во все остальные годы, даже в позапрошлый, проловный год, когда лучшие капитаны привезли по полплана, Страхов на сто одиннадцать процентов выполнил. Две зимы посылали на слет передовиков, медалью наградили, хотели представить к ордену, но... Приходит с моря — пьянки, скандалы. Самолюбие у него взвинчено, приубавить бы, но на катере, да еще помощником, работать не станет. Его тут же перехватит кто-нибудь из председателей, Тарабарко наверняка: и квартиру даст, и новый сейнер. И опять-таки дело не в этом. Свой Страхов, камчатский. Не из приезжих — те поработают год-два в колхозе, сорвут де-

нег и на материк. А он в Дранке вырос, колхоз посылал его учиться на судоводителя, пятнадцать лет назад получал первое колхозное судно «Бегун». И потом: во время путины, когда ни зайдешь к нему, обязательно делом занят — подкрашивает, невод чинит. В путине не прикасается к спиртному. Люди рвутся к нему работать, но...

— А сколько это будет продолжаться? — повернулся Геннадий к широкому рыбаку. — Как с моря пришел, ни разу на берегу трезвым его не видел. Вчера табели принес — на ногах не стоит. И сегодня он еще не в норме.

— И все-таки надо разобраться, — тер очки Юрий Алексеевич.

— Разбираться не надо, — прохрипел, вставая, Страх, — я сам уйду. — И он направился к двери. В дверях его качнуло. Начальники из области покачали головами.

— И нам можно уходить? — спросил помощник Краба.

— Можно, — ответил председатель.

Вся компания, стуча сапогами, повалила за дверь. Наступила тишина. Даже слышно было, как чиркает председательский карандаш.

— Ну так как же с ним быть, Василий Васильевич? — спросил Юрий Алексеевич.

— На расширенном заседании разберемся.

— А со «Спутником» что? — спросил Геннадий.

— Как что? — поднял глаза председатель. Он смотрел спокойно, говорил тихим голосом. — Пусть стоит.

Вдруг в приемной, где скучали, ожидая выхода «на ковер», провинившиеся, раздался громовой бас Чамбы.

— А меня за что? — громыхал он. — Я при чем? Я по ночам работаю, а днем должен отдыхать. Что? Сапоги грязные? — Видимо, с секретаршей он разговаривал. — Главный инженер? Плевал я на вашего главного инженера.

— Утихомирьте Мирошникова, — сказал председатель, — и давайте следующих.

Но Чамбу не так-то просто было утихомирить.

— Ты что здесь хамишь?! — влетел в приемную Геннадий.

— Кто-о-о хамит? — раскатился Чамба. — Я хамлю? Ты лучше скажи, ангел мой, зачем ты меня потревожил? Я должен отдыхать после ночных трудов или не должен? А теперь я усну, а флот украдут.

Он, безусловно, врал, никаких «ночных трудов» у него не было: просто он забирается на ночь в какое-нибудь укромненькое теплое местечко, напьется из термоса пунжи — и спать. Днем занимался домашними делами или просиживал в какой-нибудь «кумпании».

— А флот украдут, — гремел он. — Делать тебе нечего!

— Вот тебе уж действительно нечего, — подступил к нему Геннадий, — днем ты ходишь по флоту, стопки сшибаешь, а ночью спишь.

— А ты видел?

— Знаю, — резко, в тон ему ответил Геннадий.

— Что ты знаешь?

— Все твои лежбища.

— А ты там был?

— Был! — взорвался Геннадий. Ему невыносимо стало хамство Чамбы. — В столярном цехе был — у тебя там гнездо из стружек, на домиках был — там печку топишь, на старом плашкоуте был — ты туда электричество провел, обогреватель поставил. Сгоришь когда-нибудь сонный. — Геннадий задыхался. — Труды...

— Может, ты, ангел мой, был и там, где была моя бабка?

— Мирошников, не хулигань, — не выдержал председатель.

— Да, Василь Василич, ведь ваш Зануда в гроб вгонит.

— Ты сам вгонишь кого угодно.

— Ведь ни за что вызвал...

— Уноси свои сапоги, — тихо сказал Чамбе председатель, — ведь за тобой убирать надо.

— Василь Вас...

— Уходи.

Глава девятая

На этот раз друзья поздно собрались у Геннадия. У Петруня дел невпроворот: флот надо снабдить денежным, вещевым, продуктовым довольствием на пять-семь месяцев, закрыть наряды за зимний ремонт флота, успеть до выхода в море провести инвентаризацию. А тут собрания, совещания. У Виктора тоже: весна, отел... Он как

только пришел, завалился на койку и уснул. Последним пришел Платоныч.

На столе, как всегда, шипел чайник, стояли стаканы в подстаканниках. На низеньком трехногом, уже не Ванькиной работы, полированном столике разбросаны карты.

— Устал я сегодня, — сказал Геннадий, расслабленно вытягивая ноги. Он сидел в шезлонге, вяло щелкал подтяжками.

— Опыта, Гена, мало, — ответил директор, прихлебывая маленькими глотками душистый чаек.

— Опыт, Платоныч, ни при чем.

— Как это, Гена, ни при чем? — шевельнул бровью Платоныч. — Вот поработаешь побольше, многое поймешь. Тебе же твой друг не раз говорил: «Не суетись». Ты знаешь, один старшина роты...

— У тебя сезонники, — перебил его Геннадий. — Что не так — трудовую в зубы, и пусть едет откуда приехал. А у меня не флот, а Запорожская Сечь. Попробуй поработай с такими!..

— Наказывай, — опять поднял бровь Платоныч. — Накажи одного, да построже — вся рота бояться будет.

— Но там чертов клубок, — подался Геннадий к Платонычу, — попробуй разберись. Вчера поступил звонок — муроводятся в боцманском помещении. Получка ж... Самому некогда было сходить, вызываю боцмана. Он хлопает глазами, как истукан: «Ничего не знаю, скобы в кузне отжигал». Вызываю другого деятеля, завхоза — наверняка знаю, и он там был.

— Без него не обойдется, — вмешался Петрунь. — Если не сам организовал все. Гм!

— Так вот, — продолжал Геннадий. — От этого тянет винцом. «Выпивал?» — спрашиваю. «А в чем дело? — отвечает, — рабочий день давно кончился». Но ведь пил-то он в рабочее время. Снимать с работы придется. Другая легендарная личность, Страхов. Этот сам пришел — заявки на подписи принес, тоже водочкой тянет от него. Прогнал. Сегодня вызвали в контору, он нахамил и ушел.

— Этого вообще из колхоза гнать надо, — опять вмешался Петрунь, вспомнив, как шесть лет назад Страх опозорил его на всю Камчатку — беспроволочный телеграф куда как исправно работает, — когда приносил наряды за ремонт «Спутника» своими силами. Они показались Петруню завышенными, он не подписывал. Страх

разорвал наряды на тысячу рублей и бросил в лицо Петруню: «На!» — Это хам.

— Самый настоящий, — согласился Геннадий, — вчера разорвал все табели и заявки.

— Его замашки. — Давнишняя обида так и кольнула Петруня. — Его.

— Трудная работа — руководить людьми, — сказал директор. — Привыкай.

— Терпе-е-ение! — раздельно произнес Геннадий, поворачиваясь к директору. — Сегодня мне этого Чамбу хотелось избить. Бешено, беспощадно. Будь это в другом месте...

— То ли еще бывает, — улыбнулся Платоныч, рассматривая карты.

— Сорок, — сказал Петрунь, глядя в карты. — Твое слово, Геннадий Семенович?

— Пас, — равнодушно сказал Геннадий и опустил карты.

— Да еще этот старый хрыч за них, — не слушая директора, выкладывал свои беды Геннадий.

— У Василия Васильевича мамино сердце, — продолжал директор. — Но он железный, когда надо. Опять же опыт.

— Что он, твой опыт? — не выдержал Геннадий. — Ведь он таблицу умножения не знает. Еще ни одного вопроса самостоятельно не решил. Ничего ведь сам не может. Чего дело ни коснется: «решим на заседании правления» или «решим на расширенном заседании». А на правление соберутся такие, как Демидов да Магомедов, попробуй перекричи. Ведь это такие колоды — не перевернешь. И, кстати, хоть и грех такое говорить, но тем не менее, — Геннадий поморщился, — чтобы управлять производством, знать кое-что надо, видеть чуть дальше своего носа. А что взять, ну скажем, с Магомедова? Или с Демидова? Ну что? А сам Василий Васильевич?

— Так-то так, Гена, гм, — вмешался Петрунь, — да тут еще кое-что надо. Гм... Как это мудрая поговорочка: «В море ходи по ветру, а в людях — по людям». Ты их слушай, соглашайся, а сам делай по-своему.

— Как тут соглашаться и что тут делать? Вот с инженером по добыче мы внесли на прошлом совещании предложение — весь океанский флот перебросить осенью в Олюторский залив на добычу жировой сельди. Ведь океанским флотом ее можно взять в два раза больше.

В три. И все эти Демидовы против. Вычерпаем, мол, за один год, а малому флоту нечего ловить будет. Но ведь малый флот можно переключить на добычу трески, камбалы. А когда это сделают другие колхозы — почешемся, да поздно будет.

— Это дело, Гена, даже районное начальство не разрешит, — сказал директор.

— Но соседям-то разрешило?

— Они победнее вас... поддержать их надо.

— На одну путину разрешило бы, — вмешался Петрунь. — Протолкнуть можно бы.

— Конечно бы, разрешило, — вздохнул Геннадий. — Но попробуй втолкуй это нашим рыбакам, море ведь они считают своим огородом. Нам разрешают ставить два экспериментальных невода. Я предлагал их поставить на рыбных, обследованных участках, а рыбу с них — в плановые невода. И все бригадиры возмутились. Как один. И такую ахинею несли... мол, подведем соседей, у них, мол, участки победнее, солидарность проявили...

— Гм. Я эту солидарность, Геннадий Семенович, давно понял. Гм, — вмешался Петрунь. — Он тебе больше чем полторы нормы вырабатывать не станет, хотя возможностей на все три. А почему? Потому что боится, расценки же снизят. Вот где собака зарыта.

— Избаловались наши, избаловались, — продолжал Виктор, потягиваясь, — а насчет экспериментальных неводов, Гена, — он показал пальцем вверх, — а если там узнают?

— Да кто узнает? — поморщился Петрунь. — Гм. Мы сами не знаем, где она есть, рыба, а где ее нету. Сегодня она здесь, завтра там.

— Туда, — Геннадий тоже показал пальцем вверх, — нужны результаты.

— Нет, — сказал директор. — Не такие результаты, о которых ты говоришь.

— Такие результаты, Платоныч, такие... — Геннадий защелкал подтяжками. — Черт возьми наших правленцев. Предлагал организовать добычу лосося в речке закидными неводами. Что ты! В речке же грех рыбачить. Тьфу!

— Ты, Гена, заведи своих людей, гм, — монотонно, без всяких эмоций продолжал Петрунь. — Построй, так сказать, костяк. Опору.

— Опору?!

— Ну а как же ты хотел? Наверное, найдутся люди, которые понимают тебя. Создай коллектив, выдвигай их.

— А-ах! — отмахнулся Геннадий. — В доверие почему-то лезут одни бездельники да подхалимы. Вот хоть табельщица, жена завхоза, уж так старается, так старается... Но куда ее я продвину, что я ей могу доверить? А сам Прохоров?

— Одной компании со Страхом, — вставил Петрунь. — Гм.

— И мы с ним никак не срабатываемся. Нет-нет да и вставит палку в колеса, нет-нет да и нагадит. Прогоню когда-нибудь... Но где толкового человека найдешь на эту должность?

— Я тебе, Гена, пришлю, — сказал Платоныч, — у меня простым мастером в цехе работает. Деловой парень.

— Давай, Платоныч, посмотрим. Этот Прохоров все кишки мне вымотал.

— Пришлю, потолкуете. Ну так что там у нас? Прикуп чей? Вставай, Виктор, отоспался, наверное.

— Даю шестьдесят, — сказал Петрунь, разглядывая карты.

— Пас, — сказал Геннадий. — Фу, черт! Никак не могу отделаться от сегодняшнего совещания, так и стоит перед глазами этот Чамба.

— Н-да, — задумчиво рассматривал свои карты и отбрасывал лишние Платоныч. — Помню, один раз, еще мастером я работал...

Глава десятая

Прошло четыре дня. Речка не трогалась, правление молчало. За «Спутником» на пустых ящиках сидели четверо матросов, старпом, стармех Краб и его помощник Юра. Из всех страховских кадров остались только двое: Краб да Моль. Остальных правление, чтоб освежить обстановку, рассовало по другим судам. Хотели и этих, но Краб упросил собрание: на пенсию ему скоро, и уж последнюю путину-то на старом судне и со старым капитаном отработать. А Моль так и сказал на собрании:

«Или со Страхом, или из колхоза». Из колхоза исключать его не стали, колхоз уже второй год учит его на судоводителя: трехгодичные курсы, летом ребята шесть месяцев рыбачат, зимой столько же учатся.

Плохое настроение было у парней. Рабочий день кончился, но никто что-то не уходил.

— Теперь его не уговоришь, — рассудительно сказал Краб.

— Теперь все, — согласился со своим шефом Юра.

— Если Страх поднял чешую, — продолжал Краб, — ничего не поможет. И к бабке не ходить, не поможет.

— И все З-з-зануда кашу з-заварил, — сказал Васякок. Вася сильно заикался, особенно на согласных звуках. Кстати, кличка «Зануда», как окрестил его Чамба в приемной председательского кабинета, к Геннадию прилипла моментально и, кажется, навечно. — И ч-чего он на него вз-з-зъелся?

— Да есть за что, — улыбнулся Краб.

— Петрович, — обратился к нему старпом, — а ведь без Страха мы плана не возьмем.

— Не будет делов без Страха, — согласился Краб. — И к бабке не ходить, не будет.

— Не сработались же, — сказал Моль. — Первые недели две фестиваль будет, а не работа. А как в прошлом году мы шуровали, как шуровали! — Он оживился. — Если сами не возьмем, то зальемся у кого-нибудь. Всегда с рыбой. Помнишь, Петрович, как к «Медному» в кошелек залетели?

— Было такое дело, — улыбнулся Краб.

— «Медный» кричит по рации: «Кому рыбы? Залегает, выпускаю». Мы подскакиваем, а там уже четыре сейнера налаживают свои садки. Страх кричит Гуталину: «Бери садок, прыгай в шлюпку». Гуталин сел. Мы сначала ничего не поняли. А Страх врубил полный ход и пошуровал мимо всех, и пошуровал. Потом вывернул корму и бах шлюпку в невод к «Медному». Пока те ковырялись, Гуталин, он же шустрый, пришил уже свой садок. Только перепустил ее в садок, она и залегать в неводе стала. Те без рыбы, а мы под жвак.

— На это он мастер, — улыбнулся Краб.

— Петрович, — опять обратился Юра к своему шефу, — сколько вы в прошлом году пустырей * потянули?

---

* Пустырь — пустой замет.

— Да будет девять, — отозвался Краб.

— Девять, — подтвердил Моль.

— Девять? — удивился Валька, он тоже из новеньких. Раньше Валька работал у другого капитана, самого суетливого и самого неудачливого во всем колхозе, по прозвищу «Адмирал». Вальку перевели к Страху решением комсомольского собрания, чтоб дисциплину улучшить. — А мы с Адмиралом в прошлом году каждый день по два таскали.

— Каждый день по два? — выкатил глаза Моль.

— А то и по три, — продолжал Валька, — то промажет, то ворота оставит, то на молодь зафинтилит. Замучил всех, уже разбегаться хотели.

— Нам молодь попадалась, если наводил кто-нибудь,— продолжал Моль, — а сами всегда крупную брали. Помнишь, Петрович, — он повернулся к Крабу, — как у Крещеных Огней метнули? Ты тогда еще не хотел.

— Мне Гуталина жалко было, — отозвался Краб. — За него боялся.

— Шторм шурует страшный, — Моль даже привстал с ящика. — Все с моря тикают, а Страх собрал нас всех и говорит: «Ну что, братцы? Метнем? Добрый косячок под нами». Мы молчим, страшно. Сейнер так и валяет, так и валяет, от снега ничего не видно. Свистит все — шапку не удержишь. — «Как, Алексей Василич, — спросил Страх Гуталина, — усидишь в шлюпке?» — «Попробую», — говорит Гуталин, а сам съежился...

Начались воспоминания. Вспоминали, где, когда, как брали рыбу. Обычно такие экскурсы в прошлое бывают с долей хвастовства — какой же рыбак не преувеличит длину, например, когда-то пойманной рыбы? — или чтоб посмеяться — тогда ворошат все «козочки», которые приключились раньше. Сейчас вспоминали плавания со Страхом просто, немного с грустью.

— Так говорит: «Не приду»? — переспросил Юра.

— «Не приду, — говорит, — ни за что», — ответил Сеня.

Теперь все надолго замолчали.

Вася-кок, впервые попавший на флот, да и вообще на Камчатку, мечтал... Еще из армии писал письма в Рыбакколхозсоюз, на море просился. Сколько радости было, когда на сейнер назначили! А уж как Вася на камбузе старался, мыл да чистил все. Ребята даже одергивали, советовали гонор для путины приберечь.

Моль — закоренелый страховец. Тринадцатилетним пацаном сбежал из детдома, сирота он, Страх взял его к себе поваренком. Уж сколько лет со Страхом... Другого кэпа и не представлял. Управление катером или сейнером Страх доверял ему полностью, даже заметы научил делать и рыбу искать. Правда, отругает иногда, но без этого на рыбе нельзя. Зато уж лишнюю работу делать не заставит, лучше сам сделает. Да и вообще...

Краб думал о том, как он уедет на материк насовсем. Девятнадцать лет на Камчатке, а на море вообще уже сорок. Хватит. Поясницу иногда так скрючит, не разогнешься. Лето отрыбачить, съездить в Мацесту, подремонтироваться — и на мертвые якоря. Старуха на родине домик купила, фотографию прислала. Дом с виноградником... Да, последние деньки... Со Страхом было просто. А пришлют нового, может, такого, что и иглицу * никогда в руках не держал. Старпом не возьмется, молодой еще, рано за такое дело браться.

Старпом думал, что его могут заставить принять «Спутник», главный инженер намекал уже. По колхозу пойдут сплетни: подсидел, мол, такого рыбака, как Страх. Да и совести не хватит: Страх сам ремонтировал «Спутник», сам невод шил, каждую скобу прилаживал.

А Валька был настроен оптимистически. Черт его знает, что это за Страх? Может, похуже Адмирала. Улучшить тут дисциплину!

Валька лежал на одном ящике, ноги в сапогах закинул на другой и смотрел, как бегут по небу волокнистые облака.

— А черт с ним, братцы, со Страхом, — зевнул он, — раз он нас бросил, проживем и без него.

— Прожить-то проживем, — потянулся Краб, — кто ж говорит, что не проживем.

— А неплохо бы, Петрович, — обратился к нему Моль, — плана два рубануть, как в прошлом году. Или три, как в позапрошлом.

— И одного не возьмем, — отозвался Краб. — И к бабке не ходить, не возьмем... — Он вытащил из кармана мятую пачку папирос, стал ковыряться в ней, откидывал высыпавшиеся папиросы. Целую папиросу протянул старпому. Тот отрицательно покачал головой.

— Все перекуриваете, орелики? — раздался хрипло-

---

* Иглицка — игла, которой шьют невода.

вато-насмешливый тенорок. — Все перекуриваете? — Перед ребятами стоял дядя Саша. Он взял у Краба папиросу, раскурил. — Так. А рыбка вон уже пошла в Анапке, ночью речка вскроется, а вы все покуриваете. А где же ваш Страх?

— Нету, — сказал Моль.

— Ушел, — сказал Юра.

— Куда же это он мог уйти? — так же насмешливо продолжал Демидов. — Может, загазовал?

— У него, дядя Саша, не поймешь, — отозвался Юра. — И загазовал, и со всеми начальниками разругался. Уже четвертый день на сейнер не появляется.

— Это он может, — не удивился старик, — сколько я с ним нахлопотался, когда председателем был. — Демидов говорил уже серьезно. — Нажрется, бросит «Бегун» где-нибудь в устьях, а сам «выступает» по колхозу. И ничего не скажи. Самолюб больно большой.

— Г-г-говорят, его с капитанов сняли, — вмешался Вася.

— Ну снять-то не снимут, — сказал Демидов, — в правлении не дураки. Кто ж колхозу рыбу ловить будет? А вот...

— В общем, говорит: «Не пойду», — перебил Демидова Сеня, — сам у него был.

— А вы тоже все уйдите, — старик сильно затянулся, закашлялся, — уйдите — и все.

— З-з-зачем?

— Как это? — засмеялся Моль.

— Уйдите пока с судна, — продолжал старик, — а я пойду к нему и буду страмить. Куда это годится? Рыба на носу, а он выкобенивается, коверкот чертов. Целую зиму готовились, ремонтировали все, рыба подошла, ребята молодые, работать хотят, а он фокусничать. Что ж тут, не люди? Скажу, что вы тоже с сейнера поуходили. — Старик закашлялся. — Вы только на сейнер пока не появляйтесь.

— Смотри, дядя Саша, не пугнул бы он тебя, — усомнился Моль.

— Он и вас обматерит.

— Или сапогом огреет.

— Не огреет, я ему такую ижу пропишу!

— Иди, иди, — засмеялся Краб.

Что говорил старик Страху, как «страмил», какую

«ижу» прописал ему, осталось неизвестным. А вот Вася в последней сцене сыграл замечательную, прямо-таки гениальную роль.

«Спутник», как и четыре дня назад, стоял на слюзах, кормою к самой кромке — винты льда касались. На борт с кучи сугроба перекинуты две длинные, гнущиеся доски — сходни. Вся подводная часть, даже винты — Вася по собственной инициативе намазал, — горела только что просохшим суриком. Ярко блестели названия и цифры пограничного номера на маслянисто-черных бортах. Рубка беленькая, крылья мостика обтянуты новеньким проолифленным брезентом, чтоб соль не разъедала, привальник по правому борту обит резиной, чтоб невод при выборке не цеплялся. Сам невод уложен и приготовлен к выметке, даже шлюпка наготове — тронься речка, «Спутник» тут же полетит искать косяки сельди.

По гибким доскам прошел Страх. После прошедших бурь он был тихий, хмурый, немного помятый. Брел медленно, задумчиво.

На судне ни души. Только один Вася сидел возле распахнутой двери камбуза на низенькой, собственного изготовления скамеечке, чистил картошку.

— Здорово, Вася, — прохрипел Страх.

— З-з-здравствуйте, Яковлевич! — ответил Вася, не поднимая головы. Он склонил ее еще ниже, к плечу чуть-чуть. Насвистывал что-то, следя за сбегающей кожурой.

Страх прошел в кубрик. Пустота. Стал возле холодной печки. Вокруг заправленные молчаливые койки, разбросанные костяшки домино на столе, чье-то белье под трапом. Тишина. Часы тикают... Неуютно в кубрике. «Дня два не топили, — подумал он, — неужели поубегали все?»

Вышел на камбуз. Стал возле двери камбуза, ногу поставил на высокий комингс. Нога слегка дрожала. «Даже ноги трясутся», — отметил Вася.

Молчит Страх. Молчит и Вася.

— А где все? — после долгой паузы спросил Страх.

— Ушли, — не поднимая головы, ответил Вася.

— Как?

— Так вот и ушли. Мы все разбегаться хотим.

— Почему?

Вася пожал плечами.

— Старпом почему не на работе?

— Ушел.

— А Юра?

— Тоже ушел.

— А Петрович?

— Ушел.

— А ребята?

— Все ушли. Я ж г-г-говорю, что все разбегаемся. И я уйду. Вот н-н-начищу картошки и тоже уйду.

— Куда?

— Мы с Валентином к Адмиралу пойдем.

— А Юра?

— На «Бегун», на ваш старый пароход, Яковлевич.

— А Петрович?

— П-п-петрович — не знаю. Он говорит, что вы с-с-свинья, а не капитан. Бр-р-росили всех.

— Да не свинья я, Вася, — жалко скривился Страх, — не свинья. — Он даже руку приложил к груди. — Никого я не бросил. Я же поругался с этим Занудой, а не с вами, ну?

— А З-з-зануда нам рыбу л-л-ловить не будет.

— Ну да, это верно, — плаксиво оправдывался матерый морской волчище перед салагой-первогодком, — но я же не хотел вам плохого. Не хотел вас обидеть.

— А м-м-мы и не об-б-бижаемся. — Картофельный клубень у Васи разлетелся пополам.

— Мало ли что бывает, Вася, — болезненно морщился Страх, — ты ж сам понимаешь...

Губы у Васи кривились, он кромсал картошку.

— Вася, — умоляюще продолжал Страх, — иди найди ребят и скажи, чтоб вертались. Чтоб на судне были... вон уже все на сейнерах живут. Речка ведь может тронуться. Скажи им...

— И-и-и-и... — у Васи заело даже на гласном звуке, — и-и-и-есть! — наконец выстрелил он. Схватил шубу и к двери. — А якорь-ц-ц-цепи мы уже п-погрузили, — кричал он, покачиваясь на сходнях, — еще в т-тот д-д-день.

— Да мы и без цепей рыбу поймаем, — продолжал Страх, — цепи, цепи... вот штука... цепи...

Глава одиннадцатая

Для Дранки День рыбака — из праздников праздник. В каждом доме рыбак, если не вся семья рыбацкая. Да колхоз и живет за счет рыбы, а за поселком на кладбище каждая десятая могилка — с якорями...

Он совпал с выборами нового председателя. Василий Васильевич после больницы так и остался в Петропавловске.

Выборы были, правда, не совсем гладкие: в колхозе, на месте, большинство проголосовало против Геннадия Семеновича, но радиограммы с флота почти все пришли «за». Кандидатура прошла.

Подарки и премии на этот раз, как и всегда, впрочем, богатейшие: «Алмаз» и «Мегафон», загруженные аккордеонами, приемниками, свитерами, костюмами, электробритвами, отправились к месту промысла. «Бегун», весь в флагах, обходил ставные невода. На его носу тесновато, правда, — школьный оркестр пристроился. День стоял тихий, солнечный.

С промысла пришел — но лучше бы не приходил — «Спутник». Его, как передовое судно, отозвали с моря для участия в общеколхозном торжестве, а он в речке на мель засел. Такой позор! А ведь весь колхоз вывалил на берег: «наших с моря встречать» — извечная рыбацкая традиция.

Когда новый председатель прибыл туда, Страх опять был «под парами».

— Что ж я, на свой праздник не имею права выпить стопку водки?

— Ты не имеешь права позорить колхоз, — сказал Геннадий.

— Ух ты-и-и, коверкот!

— Передашь судно капитану «Бегуна». Сам пойдешь на его место.

Клуб в этот день глухо шумел, как улей перед вечером.

«Как хорошо, — тихо думал Ванька, слушая, как на сцене называют имена, наблюдая, как названные смущенно и в то же время гордо поднимались за грамотами и подарками, — почету-то сколько людям, не зря живем!»

— Нашему лучшему колхознику, добросовестному труженику и очень симпатичному человеку.. — хорошо

поставленным голосом произносил новый председатель на сцене.

«Кого же это он так расписывает?..» — и сердце вдруг захолонуло.

— ...Ивану Евсеичу Проскурину...

«Ничего себе!»

— ...наш скромный подарок! — Геннадию принесли из-за кулис большой картонный ящик.

— Иван Евсеич, где ты? Прошу сюда!

Плохо помнит Ванька, как вручали подарок и грамоту, жали руку, что-то поздравительное говорили. Потом шел от сцены с этим ящиком — приемником «Рекорд», — под ногами ничего не видно, а вдруг зацепишься за ковер? И сидеть неловко, выше носа этот ящик.

— Ваня, — шепнула рядом сидящая Зина и прижалась к его локтю, — поставь пока на проходе.

Ну а рыбачек, доярок, маляров, штукатуров, воспитательниц детского сада, птичниц, свинарок и учительниц какими только отрезами на платья, туфлями, капронами, часами да сережками не одарили! С Эгелем Айтаровым, отцом Яшки Айтарова — его тоже от стада вертолет привез, — произошла довольно курьезная штука.

Назвали его фамилию. Он размашистой пастушьей походкой — хоть и глубокий старик, а бегает шустро — проковылял на сцену. Геннадий объявил, что он премируется домом.

— А где, однако, дом? — спросил старик.

В зале засмеялись.

— Любой выберешь на улице Гагарина. — Геннадий тоже смеялся.

Сюрпризом же всего вечера — Геннадий, конечно, придумал — было открытие Доски почета. Сначала думали, что это тоже подарок — стоит на сцене что-то большущее, укутанное простынями. Потом вынесли это в свободную от скамеек часть зала и под звуки оркестра сдернули простыни.

Мать честная! В левом верхнем углу величиной с тетрадочный лист фотография. На ней Ванька: кепка козырьком назад, смахивает пот со лба. Улыбается, небритый чуть, фотограф, зараза, даже веснушки вывел — глаза озорные, бесшабашные, подмигивают кому-то из-под руки. У Ваньки угли внутри занялись, как увидел. Ведь никогда и не думал, что такой симпатичный да герой. Пусть даже на фото.

В правом верхнем углу другая такой же величины фотография, там береговой боцман Александр Ипатьевич Быков, почетный колхозник. Но разве сравнить с Ванькиной? Воротник у боцмановской рубахи кривой какой-то, и смотрит как через забор. Совсем не то.

Пришли домой. Зина все время искоса поглядывала на Ваньку, улыбалась про себя. Потом обняла.

— Я даже не представляла, что у меня такой красивый муж, дай поцелую.

— А-ах! — отмахнулся Ванька, подставляя губы, а настроение было такое, будто кто-то в душе балалаечку тихо-тихо настраивал.

Глава двенадцатая

Шел дождь. Шел тихо и собирался идти долго. Тундра и горы вдали были в серой мгле, того берега почти не видно. Речка побелела и бежала быстрее.

В нежилом доме на берегу реки спрятались от дождя дядя Саша Демидов и охотник Яшка Айтаров.

В доме, собственно, ничего нет, только печь да плита. В начале лета, когда колхозное стадо кочевало в этих местах, здесь жили пастух с женою и доярки. В одной из комнат располагался молочный склад. Но теперь стадо откочевало к Ивашкинскому увалу, пастух с доярками переселились в другой, точно такой же дом, а здесь теперь только бидоны. Пустые и с молоком. Полные трактор каждый день привозит от стада, забирает пустые. Такую же манипуляцию производит дядя Саша, только он курсирует по речке на моторной лодке от дома до колхоза.

Вот сейчас дядя Саша привез пустые, нагрузился полными, но в колхоз не едет: дождь пережидает. С ним Яшка, которого он из колхоза подбросил. Яшка тоже не хотел идти по дождю в свою зимовьюшку. В колхоз он ходил за припасами.

В комнате, где они сидят, душно, грязно; поблескивают пустые консервные банки по углам, сереют заплесневелые корки хлеба. Бумажки, мусорок всякий.

Старики, им обоим под шестьдесят, сидят перед урчащим — только сняли — чайником; рядом, на разостланной газете, — сыр, колбаса, сахар, стаканы, хлеб. Яшка привалился к стенке, одну ногу выбросил перед собой,

на другую облокотился. Дядя Саша сидит напротив на кирпиче, опустил голову.

— А помнишь, Яша, — хрипло говорит Демидов, высыпая заварку в чайник, — помнишь, как я красницу * сдавал?

— Да-а-а, — неопределенно тянет Яшка.

— Когда председателем был.

— Да-а-а...

— Борисович, он тогда директором комбината был, кричит: «Где твои пятьсот центнеров? Здесь и трехсот не будет, а квитанцию ты взял на пятьсот». А я говорю: «Здесь! Вот здесь! Считай!» Меня, Яша, надуть трудно.

— Теперь ее тысячами сдают.

— Я не про то говорю. — Демидов протягивает руку и колышет ею перед Яшкиным носом. — Я говорю, Яша, про то, как я рыбу сдавал, когда председателем был, что меня надуть трудно, говорю, что я люблю справедливость. А что сейчас ее тысячами сдают, то это все бесхозяйственность: ведь Геннадий берет ее по два да по три плана, а через пять лет ее не будет. Не хочет, стервец, ни о чем думать.

— Ведь ему толковали на правлении, что рыбку сначала надо вырастить, вскохать, а он что, стервец: «Селедку выловим, перейдем на другие сорта рыбы: треску, камбалу...» Что делает, стервец, что делает! Нефтебазу-то прямо на берегу поставил, всякая пакость стекает в речку, а ведь для нее это смерть.

— Смерть, однако.

— А ведь мы толковали ему, строй ты базу-то в тундре, подальше от воды. Дак нет же: «Нерентабельные затраты... нагнетательная система... природные условия...» Да природу-то мы лучше его знаем. Дак ему ж надо выхвалиться, чтоб поскорее в районе заметили. А природу-то беречь надо.

— Он хочет быть шибко большой башка. Но он шибко большой башка не будет.

— Не будет, Яшка, не будет. Попомни мои слова, не будет. Чтоб на такой должности работать, надо все делать для людей, а как для людей делать не будешь, скопнут. Знаю, не один год в председателях ходил.

— Да, однако.

— Что натворил, стервец, — машет головой Деми-

---

* Красница — нерка, одна из наиболее ценных пород красной рыбы.

дов. — Сколько ее было! Вот хоть селедка: в Анапке, бывало, весною по отливке не пройдешь, икра так и хрустит под ногами, а вода в заливе вся белая от молок. А теперь: «Новые места промысла...» А с умом бы рыбачить, дак она бы и здесь была, незачем в окиян бегать. «Новые места!» Рыба-то одна без одной жить не может.

— Не может, однако, — соглашается Яшка.

— Ну! А то рыба. И-эх!

— И гуся мало стало. А сколько, однако, гуся было.

— Молодых сетками ловили.

— Охотовед скоро запретит гуся брать.

— Да через таких, как Зануда, и переводится все. И откуда он взялся на нашу голову?!

— Раньше дичи мнока было, — продолжает свою мысль Яшка, — рыбы мнока, олешка мнока.

— И-их, Яшка! — чуть не всхлипывает Демидов. — Помнишь, когда я председателем был? И-эх! Рыбу только с морской брали, — ворошит свое прошлое Демидов, — дружно жили, по справедливости, по человечеству. — Он наливает чаю в стакан, отхлебывает. Затем толстыми, черными от загара и негнущимися от мозолей пальцами отколупывает корочку от угла буханки. Кусочки валятся, он собирает их, сыплет в рот. — Как у меня было? Помнишь? Собираемся и решаем. Все вместе, по-рыбацки: кого куда послать, кого старшим, кому какую долю выделить. — Демидов задумчиво смотрит перед собой, вяло колышет рукой. Затем поднимает палец. — По справедливости, по человечеству! А теперь!

Яшка молчит. В умных глазах, выцветших среди бесконечных просторов тундры, знающих повадку каждого зверя и каждой птицы, тихая печаль.

— Я не хотел за него, однако, голосовать.

— А кто хотел? Кто, Яшка, хотел? Это флотские все напортили, им-то все одно, кто тут на месте. Они один раз в году тут бывают, а те, кто в окияне рыбачит, и не заходят сюда. В Питере и ремонтируются, и живут. Им наплевать. И в районе завел себе дружков. При Василь Василиче ни один небось сюда не заявлялся, а теперь...

— А боится он их, однако.

— Что ты! Не знает, с какой стороны забежать. Особенно если кто из области... Уж так старается, так ста-

рается. А Петрунь? С кряхтеньем за стол садится, а вокруг начальников пушинкой летает.

— Василь Василич, однако, не боялся.

— К министру летел и не боялся. Помнишь, Яша, когда комбинат рыбу принимать отказался? Через Москву выхлопотал владивостокские базы, аж с Владивостока пароходы приходили.

— Охотника, однако, никогда не обидит.

— И рабака... сам рыбак. В Тымлате простым рыбаком работал.

— Собачки у него, однако, тобрые были, когда в Тымлате жил...

— Что ты! Тигры.

— У коряков таких собачек не было. И жили, однако, хорошо, — возвращается Яшка к прежней мысли. — Нерпушку застрелил, почаевал, поехал дальше. Олешка застрелил, чум поставил, чаюй...

— А теперь? — вздыхает Демидов. — Дома двухэтажные понастроили, кахве стеклянные. Ты там был?

— Боюсь, однако.

— Приемников, телевизоров понавезли. Музыка... разные твисты да свисты. Как вечер настает, мои пустельги вертятся перед зеркалом, налаживают конские хвосты. А пляшут? Ты видел?

— Боюсь, однако.

— Страм! А юбки? Страм! Да еще: «Не хотим в деревне жить, в город хотим».

— В городе, однако, плоко. В тундре лучча, — мечтательно вздыхает Яшка, — везде чум ставь. А в городе не поставишь чум.

— Отец в доме не живет?

— А зачем пастуху дом? Где олешки, там и дом.

Старики опять на какое-то время замолкают. Демидов хмурится, Яшка грустно смотрит перед собой.

— Зашел я как-то в двухэтажный муравейник в «Черемушках», — продолжает Демидов. Он наливает себе чай. Яшка держит свой стакан двумя руками, будто руки греет. Оба медлят пить. — Как там жить? Где собачек держать? Где рыбку коптить? Ты заходил туда?

— Боюсь, однако.

— В комнатах, правда, чистота, окурок негде растоптать, но, как вечер настает, защелкали замками. Страм!

Всего ж четыре квартиры на площадке — и боятся. Тьфу-х!

— В тундре замков, однако, нету.

— Да у меня во всем колхозе ни одного замка не было, склад гвоздем закрывали. Это ж сейчас мода на замки пошла.

А дождь шумит и шумит. Поет и поет свою тихую, монотонную песенку. Будто подсмеивается над стариками.

— Ведь что делает этот Геннадий, — вздыхает Демидов, — как осень — он в тундру, на охоту. Тут путина, уборочная, а он гусей гоняет. Василь Василич осенью даже лечиться не уезжал, а этому соловью...

— Василь Василич, — перебивает Демидова Яшка, — всегда по колхозу ходил. Как шесть часов утра, он уже ходит...

— А это соловей, Яшка. Прилетел, напоется и улетит. Он же с нами жить не будет, в главк уедет, сразу видно. Ему ж на нас наплевать, ему ж свое удовольствие надо. Вот этой осенью вся головка: Петрунь, новый завхоз, инженер по добыче в тундру укатили, а тут «Алмаз» штормом выкинуло на берег. Ипатьевич забрал всех курибанов да строительные бригады спасать судно, в колхозе никого, кроме конторских, не осталось. А картошка в поле. Кому ее убирать? Осман Магомедыч с Лешкой Гуталином на тракторах подкопали ее, а собирать некому. Хорошо, Магомедыч пошел в контору, разнес там всех... Понадевали спецовки, вышли они, а толку с них! Картошки, считай, половина осталась, дожди тут пошли, она позеленела, ослизла. И что же они придумали, когда из тундры возвратились, эти соловьи? Они, Яша, чтобы выкрутиться перед районом, коров да свиней запустили туда. А те не едят их, все мордами да копытами свеженьких ковыряют, умная ж скотина. И-эх! Да за такое дело под суд надо! — Демидов устал от длинной и горячей тирады, тяжело дышит. — Столько добра погубили. А потом конторских на субботник погнали. А толку? Тут весь колхоз на ноги поднимать надо!

— С красными ногтями, однако, плохо картошку копать, — соглашается Яшка.

— Да тут не субботник надо, — продолжает свою мысль Демидов, — а день и ночь работать, пока погоды стояли. Да я бы...

— У тебя, Яковлевич, хорошо было, — поддерживает

своего друга Яшка, — хоть и денег меньше зарабатывали.

— Погоди, кончатся скоро деньги. Денежки-то с рыбки идут, а где она? Красненькая-то? А селедочка? В прошлом году два плана взяли, а в этом? Вот треску выберем, что ловить будем?

— И деньги не нужны были, — продолжает Яшка, — а сейчас деньги шибко нада, однако. Шибко нада. На четыре точки живу...

— Сам на три.

— ...два сына в институтах, — загибает пальцы Яшка, — две дочки в техникумах. Всем пальто нада, плащи, однако, нада, костюмы нада. Соболя нету, олешки мало, мишки мало, гуся мало... Книжка совсем пустой. А им нада, они учатся.

— А толку? Толку-то что? И у меня учатся, а толку? Ведь раньше на десятом году парнишка уже за собачками смотрел, на четырнадцатом — на неводе, уже добытчик для семьи. А теперь его, дармоеда, учи да содержи до двадцати пяти годов, и в одном пинжаке он уже не хочет ходить, два да три давай. А возвратится, хорошо как возвратится, опять же в конторе засядет, а ты, отец, ковыряйся в земле, гни хребет. — Демидов замолкает. Тянется непослушными пальцами к бухашке. — Вон, я своей внучке зимой сапожки стал шить из перпичьей шкурки, на нее же мода теперь...

— Мода, однако. Только нерпушкой и живу.

— Ну вот, да. Долго шил, все некогда было. И что же, ты думаешь, она мне, пустельга, заявляет? «Пока ты сопьешь, я институт закончу». Во, Яша, как! От горшка два вершка, еще сопли на кулак мотает, а ей академию подавай. А три пустельги уже там. Скоро приедут с миникюрами... я им пропишу ижу, покажу пидикюри!

Старики одновременно подносят стаканы, прихлебывают маленькими глотками. Молчат.

— Да, однако. Как дальше жить?

— Драться, Яша, как же! — Демидов закипает. — По морде, как же! В шею Зануду гнать, как же! Это ж не наш человек! — Демидов горячо и хрипло дышит.

— Да, однако.

— И-эх!

Дождь идет. Все также настойчиво барабанит по крыше и не думает переставать.

Глава тринадцатая

А Ванька бегал по морскому берегу, кричал, суетился — лес принимал с парохода. Мишку вызвали зачем-то в контору, и он оставил Ваньку за главного.

Лес от парохода, стоящего далеко на рейде, подтаскивал Страх на «Бегуне», а с берега в колхоз тащили уже тракторы. После того как Страха сняли со «Спутника», он опять порывался было уйти из колхоза, да что-то передумал.

«Бегун» тыкался носом в берег, его заваливало, Страх никак не мог подать плот.

— Да не так же ты, не так, — кипятился Ванька. — Да что ты, окривел или что? — кричал он Страху. — Ну куда прешь?

— Я не на велосипеде, — откликнулся Страх. — Сам попробуй?

— А это что ты приволок? — продолжал Ванька. — Что ты приволок? На растопку, да?

— Я их не выбираю.

— Да ты ж там торчишь. Куда глядел? По пузырькам вдарял, да?

— Там есть ваш чудак, он пусть и смотрит.

— От волосаны, — расстроился Ванька, глядя на корявые, кривые, тонкие бревна, — это ж курям на смех. Даже на забор не пойдуть.

— Пойдуть не пойдуть, — передразнил его Страх, — сам поезжай и выбирай, каких тебе надо.

— И поеду. Всякую дрянь суют, а вы хлопаете ушами. Тоже мне капитаны!..

— Не ори.

— А я и не ору. Кинь конец, я залезу.

С «Бегуна», ткнувшегося в берег, подали конец. Ванька стал карабкаться по нему.

— От козодеры, — не утихал он, перелезая через леера. Перебравшись, вытер руку о штанину, протянул Страху. — Здорово, Коля!

— Здорово, здорово, Ваня! — Страх наспех тряхнул Ванькину руку, кинулся на корму — катер опять повалило на берег. — Я с твоим лесом винт угроблю, в печенку вас всех!

И вот Ванька на пароходе. В огромнейшем трюме, где без малейших неудобств смог бы разместиться трехэтаж-

ный дом, связывали в плоты, стропили и поднимали лес. Ванька сразу к стропильщикам:

— Куда заводишь? Не такой нам надо. В накладной ясно сказано: «Для пилорамы».

— Нам этот сказали, — огрызнулся матрос.

— Ошибаешься, корифан. Этот да не этот. Давай-ка вон те бревна! — с обидой в голосе прокричал он.

Матросы лениво начали растаскивать уже связанные плоты, стропы стали заводить под более ровные и толстые бревна.

А Ванька полез по трюму. «Это на наличники пойдет, — думал он, тыкая носком сапога звенящие сосны, — самое что надо: ни от жары, ни от холода не поведет окна-то. — Ему представились окна будущего Дворца культуры. Вспомнил, как на собрании Геннадий развешивал по стенам чертежи да плакаты. — Одних колонн шестнадцать штук, а окон по скольку в каждом зале — и не сосчитать. А это, кажись, клен? Мать честная! Да из него ж таких стульев для главного зала наклепать можно... И в библиотеку, для сцены. И на шлюпки для флота пойдеть. Куда ж они, волосаны, глядели? Старые кунгасы на шлюпки курочим, по дощечке собираем, а тут целый склад! Тьфу! — Он стал прыгать с бревна на бревно, присматриваясь да прикидывая. И вдруг присел. — А это не дуб? — Он не верил своим глазам, стал колупать ногтем торец массивного тумбистого бревна. — Черт возьми? Да из него ж вечные стояки будут. Да и на мост!» — Он топтался по бревну, улыбался, кашлял.

— А ну, ребята, давай сюда, — сорвавшимся голосом крикнул он матросам, — сюда, сюда заводи! — И опять пощелкал по торцу: «Не усохло еще!»

«Бегун», обвешавшись по бортам плотами, запыхтел к берегу. Ванька проводил его продолжительным взглядом, вздохнул. Потом спустился на дно трюма.

Матросы, рассевшись по бревнам, лениво переговаривались, курили. Он подошел к ним, для приличия откашлялся.

— Закури, мужичок, — сказал один из них, протягивая пачку «Беломора», — хватит мотаться.

— Можно, — сказал Ванька, присаживаясь. — Ну как заработки, ребята?

— А-ах, — вяло отмахнулся тот, что протягивал курево, — на полгода в каботажку перевели. Только оклад

да что на выгрузке сшибем. — Помолчав, добавил: — Лес вот вам возим.

— Лес нам нужен.

Матрос вздохнул.

— А раньше куда плавали? — чтоб поддержать разговор, спросил Ванька.

— Раньше, мужичок, плавали, — матрос усилил голос на слове «плавали», — в Японию.

— Зачем это?

Матрос отвернулся, отщелкнул окурок.

— Как «зачем»? — засмеялся другой матрос. — Лес возили.

— А-а-а...

— Что «а-а-а»?

— И такие же большие? — Будто ничего не понимал Ванька, а сам так и щупал трюм глазами: «Вон из того хороший стояк получится».

— Всякие, — равнодушно ответил матрос.

— А нам бы побольше вон таких. — Он указал пальцем на бревно, что облюбовал на стояк. — Дворец культуры строим.

— Хорошо, хорошо, мужичок, — поморщился матрос. — Сделаем тебе и это полено.

— Спасибо вам, братва.

«Надо сказать им, чтоб из того вон угла брали, — думал он, оглядываясь по сторонам, — и для кинозала, и для детского сада. А там что за кукарача? — Он встал, направился к толстому, какому-то широкому бревну. Особенно уродлив был комель этого бревна, прямо страхолюдина. — Липа-а-а!.. — прошептал он. — Да это ж в детский сад самое то: шкафчиков если, дверцы легкие будут с запахом... мальчишка откроет шкафчик, ух: запах-то всегда внутри собирается, и бельишко пахнуть будет. А если лошадок-качалок, каких-нибудь слоников понавыделывать». — Ванька чувствовал мягкий, чуть отдающий медом запах липы.

Глава четырнадцатая

— Да посиди ты, браток, чего ты прыгаешь? — подошел к нему один из матросов.

— Да я вот с тобой посижу, — сказал Ванька, усажи-

ваясь рядом и приветливо шурясь. «...Шкапчики, стульчики, качалочки — само собой».

— Ты чего улыбаешься? — спросил матрос.

— Ничего. А ты?

И оба рассмеялись.

— Чудак ты, однако, — добродушно заметил моряк, вытягивая ноги.

«Не чуднее, браток, тебя. А матерьялу тут! Интересно, сколько там по накладным осталось?»

Вдруг загудела лебедка, на ходовом шкентеле стали спускаться стропы к ногам матросов. «Полундра!» — донеслось.

— Ну что, парни? — обратился матрос к своим товарищам. — Заделаем этому мужичку дровишек?

— На раз.

— Он с виду хороший мужик.

«А толпа тут дружная... кореши. Подружнее, наверное, наших будут. Да это, конечно, флотские же... вон хоть и наши: придут осенью с моря, так все вместе и ходят. Братия».

Спустился Михаил. Он, как и Ванька, первым делом полез по трюму. Ванька шел за ним.

— Этот уголок видал?

— Ну а как же?

— Полировка хорошо ляжет.

— Ну так.

Остановились. Молчали. Мишка закурил, болезненно передернул бровями и отвернулся. Раза три подряд курнул и растоптал окурок. Сунул руки в карманы, зашагал.

— Миш, ты чего?

— Так.

«Опять, наверно, Геннадий пилил. За вчерашнее, наверно, что пораньше ушли с работы. И что за мода? Хоть ничего не делай, а торчи на работе. Ушел — тут же к Клавке в блокнот, а там — «на ковер»... Правда, к Мишке трудно подкопаться, да и вообще трудно с панталыку сбить его — всегда свою линию выгнет, — но у Геннадия разговор короткий: «Не можешь работать головой, работай руками», — и отправит в бригаду, как Володьку Прохорова. Ас-с-са! Да и Юрия Алексеевича с начальников участка снял, перевел в прорабы, а ведь Юрий Алексеевич сколько лет главным инженером был».

— Я тут липу нашел, — начал Ванька, уж очень

тягостно было молчание, — ребятишкам в детский сад... сгородим что-нибудь.

— Ну.

Опять замолчали. Мишка снова закурил. Потом как-то мрачно сказал:

— У Геннадия был.

— Полкана спускал? — Ваньке жалко стало своего друга. Подошел вплотную, смотрел ему в самые зрачки. — Ты не обращай на него внимания.

— Да нет, не то. — Мишка отвернулся. — В командировку посылает. С этим пароходом.

— За цементом небось, стеклом, железом.

— За всем.

— Цемента недели на две осталось. Как бы у соседей выпрашивать не пришлось.

— Успею привезти.

— Хорошо бы.

— Я вот, — Мишка посмотрел себе под ноги, — тебя за себя оставить хочу.

Ванька сразу представил все дело, все хлопоты и неурядицы: наряды, расценки, механизация — ведь иногда придется бегать, искать да упрашивать тех же бульдозеристов да крановщиков, если сверхурочная когда — выписывание и получение со складов материалов всяких, заказы, расстановка бригад, растворы, архитекторы опять же — этим все подай!..

— Ничего страшного нету, — будто отгадал его мысли Мишка, — с чертежами да с расценками Юрий Алексеич поможет, он собаку съел на этом деле, колонны Сысоев выведет...

— Это конечно. Но ведь и другие же есть. Хоть тот же Сысоев.

— Сысоев отказался. Говорит, беготни много. А больше кого? Петрова — его днем с огнем не найдешь после получки, Андреича — тут бегать надо. А какой он бегун? Ты ж сам понимаешь.

— А ребята как?

— Ребята согласны, кое с кем толковал... Все уважают тебя.

«Это, конечно, вроде всегда так было. Если поговорить да растолковать все».

— Не бойся, поймут. Не для себя же мотаться будешь.

— Это-то да.

— В общем, пойдем в контору. Председателю скажем. ЦУ даст. Ты с ним поругался, что ли?

— Да ты что? — удивился Ванька. — Вот уж сколько лет он сам по себе, я сам по себе. Да и из-за чего нам с ним ругаться-то?

— Он что-то против тебя имеет. Я уже говорил ему насчет тебя, велел подумать.

— Ну тогда не надо, — Ваньке скучно стало. — Чего там...

— Чего «не надо»? А по-другому как? Все бригады согласны. И он поймет. Не поймет, что ли?

— Мне, Миша, что-то вообще не хочется к нему идти. Сам не знаю почему.

— А ты думаешь, мне хочется? Но все равно: живем-то не для него. Идем.

И вот, разговаривая о делах, перебрались на «Бегун», на нем пришли в колхоз и вот уже шагают по конторе.

«Это ж хлопот сколько, — думал Ванька, проходя мимо Доски почета, которую он заметил и мимо которой он всегда не мог проходить равнодушно, всегда отворачивался и делал безразличный вид — а вдруг кто заметит, что он любуется своей фотографией. — Особенно с механизацией, ломается ж всегда все. А если погода? Бетономешалка, компрессоры — все на временной проводке. Да и с нарядами... Понесешь в контору, а Петрунь не утвердит. А ребята шуметь будут. Но ничего: фундамент заложен полностью, считай, теперь только корпус гнать — ставь да вари арматуру. Косяки, двери — чепуха, а вот с козырьком да с фасадом... Архитекторы опять же... А черт с ней! Пропадай моя машина, все четыре колеса — не слажу, что ли? Если поговорить с ребятами да обтолковать все, так шуранем!.. Была не была!»

Глава пятнадцатая

Но получилось вот так. Подошли они к председательскому кабинету, Мишка и говорит:

— Ну ты пока здесь потанцуй, а я зайду. Поговорю с ним, тогда и тебя позовем.

— Ладно.

«А черт с ним, с Геннадием, — оживился Ванька, — правильно, конечно, Мишка сказал: не для него живем.

Переживем, вот маху бы не дать где. — Он вышагивал перед дверью, держа сцепленные руки за головой. — С чертежами бы не получилась какая процедура, да и вообще с бумагами. Юрий Алексеевич поможет, его участок рядом. Колонны Сысоев выведет. Механизация. Конечно, побегать придется, может, и поупрашивать кого, если на сверхурочную когда, ребята, вот... вроде уважают все. Да чего там! Не поймут, что ли? Пойму-у-ут! — Задумался, сцепленные руки так и держал за головой. — Черт возьми! Махина-то. Одна лестница на второй этаж шириною три семьдесят пять. Четыре метра, считай. Перила с завитушками, ковры разные, стекло кругом. Художники разукрашать приедут. Так шуранем, что...»

Из-за двери, она осталась приоткрытой чуть, доносились голоса, редкая и твердая Мишкина речь и смех с остротами председателя. «В хорошем настроении, — подумал о нем Ванька, — шутит. А когда не шутит, так обрежет, что глазами захлопаешь. Выбрали себе преда. Да-а! Да если подумать, с нашим братом тоже: вон Петров любит горло подрать, хоть мужик и деловой. Не поставь Клавдю с карандашиком, кое-кто не только к восьми, к обеду бы на работу не заявился, особенно если в понедельник когда. А Ипатьевич? Не гоняй своих, они бы и долбили «козла» в каптерке. Флотские тоже: придут с моря и с неделю всей ватагой по колхозу шарахаются. Сейнера на берег тащить да ставить на кладки, а они муроводятся. Ну это, конечно, отдохнуть людям тоже надо, больше чем полгода на воде... Это-то да!.. Василь Василич умел ладить с народом, понимал всех, и его понимали, и никогда голоса не повышал. А у этого: «Зайдешь в контору, мы тебе обходной листок подарим. На память». А вот Юрий Алексеевич мягкий человек, грубого слова работяге стесняется сказать, ну и пользуются этим... Таким тоже быть плохо, могут заклевать. — Остановился перед дверью, прислушиваясь к голосам. — Крутоват, конечно, правный».

За дверью говорили о каких-то орнаментах, геодезических работах, гидроработах, еще каких-то работах. «Не поймешь даже, о чем толкуют... Как он тогда Василь Василича прихватил насчет фундамента под главный двигатель: «Над нами вся Камчатка смеяться будет».

...Только чего это он на меня дуется? — подумал Ванька опять о Геннадии. — На ковчеге вроде корифанами

были: обед научил его варить, шубу подрубил, головки на хромовые сапоги поставил. Да и всегда: «Как дела, Ваня? Идут?» А теперь? Может, думает, что не потяну? Дело большое, конечно, не фунт изюму... А может, боится доверить, ему ж «высшее пилотирование» потребуется. Ну, это уж дудки? Без афер обойдусь».

— Я все-таки, Геннадий Семенович, — доносился Мишкин голос из-за двери, Ванька встрепенулся и притих, — Проскурина за себя хочу.

— Опять ты на своем, Михаил, — раздраженно сказал Геннадий, наверно, он морщился, — ведь это немыслимо.

— Почему?

— Ведь ему бревна ворочать, а ты такое дело хочешь доверить. Он же слово «хрен» без ошибки написать не может. Пскопской ведь!

Ванька будто ослышался, не сразу понял. Тихо побрел от председательского кабинета. Машинально толкнул дверь на выход.

Не заметил, как прошагал через всю Дранку, мимо складов, очутился на излучине реки, где она сворачивала в тундру. Повалился в траву.

Дедушка вдруг вспомнился покойный: карандаш за ухом, брови сдвинуты; широко расставив ноги перед верстаком, размашисто двигает рубанком; пахучие, длинные, прозрачные, сморщенные с одного бока стружки так и вьются из-под руки... Дедушка привез ему как-то с базара маленький рубанок, пилку, топорик, все это в маленькой плотницкой разноске — «на работу ходить». Зимой по вечерам дедушка работал, а Ванька сидел в сторонке на табуретке и, обняв коленки и натянув подол рубахи на них, расспрашивал, расспрашивал.

В войну дедушку немцы застрелили на его глазах — за помощь партизанам. Ванька тогда убежал на огород, упал возле копешки с просом и заплакал, до самого вечера валялся на мягкой, теплой земле.

Немцев прогнали, была очень жаркая весна. На коровах пахали. Ох, как спать хотелось! — вставали-то до солнышка. Привалиться бы на борозду — хоть она и холодная — и спать. Или бы на сухом бугорке.

Он тогда матери помогал, корову подгонял. Хворостиной. А корова ж худая, угластая вся — хворостина ломается об мослы, — упадет Ванька на борозду и плачет. Мать присядет рядком, гладит костистыми пальцами по

головке его, сама вытирает щеку уголком платка. Молчит. Надо вставать, надо подгонять корову.

Аришку нянчил. Аришка вымазана вся куриным пометом от коросты... А когда принесли похоронную на отца, мать целый день просидела на кровати. И Аришка хныкала, и он ревел, а она даже внимания на них не обращала.

...Сеяли вручную, старик Матвеич, колхозный конюх, командовал. Позавязывает всем пацанам мешки узлом за спиной так, чтобы на живот середина приходилась, попасыпает зерна сколько донесешь — и пошел махать. Зернышки чтоб между пальцев скользили, равномерно чтоб. Если баловаться начнешь, вот он, Матвеич, рукою, что без одного пальца, по шапке. Не больно, правда. Петру больше всех доставалось.

Потом, уже когда в четвертый класс ходил, вернее, четвертый пришлось бросить, работали на тракторе с Петром. Один раз свалился сонный с сидушки под луг, в ночной смене дело было — ох, как лемех щекотнул по ребрам! Потом по-плотницкому, отцовым да дедовым инструментом, до самой армии и после армии — каждая постройка на колхозном дворе без Ванькиного участия не обошлась.

После армии возвратился в Куприяново, а там по двести граммов на трудодень дают. Да и сразу, как только подходил к дому с солдатским вещмешком, почувствовал, что плохо у них, — сердце так и щемило, так и щемило, будто сдавливали его. Подошел к калитке, дело было перед вечером, весною, холодновато еще, сыро, — мать идет по двору в резиновых сапогах, голенищи хлюпают по худым ногам. Эх!

Паши не паши, ворочай не ворочай мешки, а толку — солдатские гимнастерочки побелели и попрохудились на воротниках, а чем заменишь? Аришка уже в девятый класс собирается, а пальто нету. Не выдержал — хоть им помочь! — пошел в район на лесоразработки вербоваться. Не взял даже кусок сала, что мать где-то раздобыла на дорогу. В районе встретил вербовщика на Камчатку, но опоздал, вся партия уже уехала. Все-таки добился, получил вербовочные бумаги, добрался до Петропавловска, вылез из самолета, пограничники под руки (пропуска-то не выправил, не знал) — и в милицию.

Ночь сидел в дежурке, ждал, когда начальство придет. Есть хотелось — лавку бы грыз. Наутро вызвал

к себе начальник, рябой, загорелый как чугун, младший лейтенант, и стал расспрашивать. Ванька все и рассказал: и про колхоз, и про Куприяново.

— Есть хочешь? — спросил младший лейтенант. Ванька отвернулся.

— Пахонов! — крикнул он мордастого старшину. — У тебя там в профсоюзной кассе богато?

— Есть кое-что, — разъехался старшина.

— Отчисли этому парню на билет до Оссоры и на харчи, дня на два.

— Это можно.

Ванька сначала ничего не понял, потом:

— Деньги я вам возвращу сразу... сразу...

— Ладно, ладно, — нахмурился младший лейтенант, шлепая печатью по бумагам.

— Я вам, я вам...

— Разговорчики! — прикрикнул младший лейтенант, потом спокойно, но так же строго добавил: — Полетишь в Оссору, там нужны плотники, грузчики, рыбаки в колхозы. Путина сейчас. Вербовочные у тебя, правда, в Корф, но заработки одинаковые, что в Оссоре, что в Корфе. Тебе ведь все равно?

Так вот и попал на край света.

Речка в этом месте текла тихо, будто прислушивалась. И кусты посклонились к воде, слушали, как она переливается под луной. «Ну а что же я плохого сделал? Ну а если десятилетку бы закончил или техникум, тогда бы что? Чем бы лучше было? А если не тянет к этому, теперь что? Ну что? Ну был бы, например, на Мишкином месте или хоть на месте самого Геннадия — тогда бы что? А если у меня лежит душа к другому? Чтоб топор держать, ведь диплома-то не надо. Зачем он?..» — Ванька приподнялся, стал кидать камешки в речку.

Щеки горели, и во всем теле чувствовалась какая-то ненормальность, будто остывало все внутри. Руки были потные. «На Доску почета повесил, «нашему лучшему труженику и очень симпатичному парню...», а на самом деле я для него «пскопской» — вот как он меня... Ворочай, катай бревнышки, я тебе и премию дам, и на Доску почета повешу, но ко мне ты не суйся, ты же «пскопской». Вот так-то вот!»

А ночь наполнялась темнотой, обволакивая все.

Мерцало небо. Через речку просеребрилась лунная дорожка.

На душе были усталость и равнодушие. «Зачем? Пусть живет, жалко, что ли? А интересно получается — пришел на ковчег с чемоданчиком: «Терпеть не могу куркулей». Анекдоты рассказывал. И печку топил, и варил, и в ковчеге прибирался. А потом: «Вот когда детей крестить будем, то ты «Леша», а я «Гена». А дальше: «Жмите на них: опоздал — выговор, еще раз опоздал — штрафуйте на треть зарплаты...»

На собраниях: «Товарищи... соцобязательство... рабочий класс... да-а-а... рабочий класс...» А сам колхозный вертолет за покупками в Оссору посылает да на колхозном катере баб по речке катает».

* * *

В колхозе свет дали. Дранка, насуетившись за день, притихла. Разве собака где тявкнет да скрипнет, бросив сноп света в уснувшую улицу, дверь. Идти никуда не хотелось, даже менять позу не хотелось, хоть рука, подпиравшая голову, отекла и онемела. И не хотелось думать, как будет отчитываться перед женой за такое долгое отсутствие.

А ночь теплая, звездная. Запахи так и холодили ноздри. Утихомирилась и Ванькина душа. На Зануду перестал сердиться. «Псковским» обозвал? Ну и что? Черт с ним! Он сам по себе, а я сам по себе, так, видно, положено, никуда от этого не денешься!»

А ночь прямо душила тишиной и запахами. Речка мягко искрилась. Было до дрожи благодатно. Лег на спину, раскинул руки. Смотрел в бледноватое небо. Духота усилилась, запахи кружили голову. Захотелось вдруг отдать всего себя и этим звездам, и траве, и речке, и людям. «А как хорошо!..»

Упала первая капля. Он нехотя поднялся, побрел домой.

Как только вошел в комнату, Зина вскочила с кровати и включила свет. Видно, не спала: губы так от злости и подрагивали.

— Где шлялся?

— Потом, потом...

— У-у-у, паразит, деревня, шляется по ночам!..

В Ваньке все заклокотало, захотелось трахнуть обоими кулаками по столу, разнести все. Разорвать, растоптать. Но он только выдавил сквозь зубы:

— Где был — не твоего ума дело!

Она так и замерла с открытым ртом: Ванька, ее безответный Ванька, всегда и во всем соглашающийся с нею, которым она помыкала, как хотела, — и вдруг...

Глава шестнадцатая

Хоронили Леху Гуталина. При разгрузке баржи придавило автокраном.

В последние годы Леха работал на электростанции, никакого, собственно, отношения к крану не имел. И вот три дня назад прибегает Магомедыч.

— Алексей, пойдем баржу разкрузим? Понимаешь, одному ошшень плок.

— Пойдем. — Леха валялся на диване с книжкой.

— По старой дружба, друк.

— Хорошо, хорошо.

Стали они выгружать. Магомедыч по барже метался, кричал на шкиперов, Леха сидел в кабине. И вдруг кран стал валиться набок — опора соскользнула с досок и пошла в песок, — Леха повел стрелу с грузом быстрее, хотел, видно, успеть перекинуть ее на берег, чтоб не замочить цемент, да не успел, кран пошел быстрее. Кинулся из кабины и только по пояс высунулся — край кабины навалился ему на живот. Магомедыч прыгнул с баржи, побежал за бульдозером. Пригнал. Связали они стропы, стали поднимать кран. Только приподнялся чуть, стропы оборвались, Леху ударило еще раз по тому же самому месту. Но он еще был жив, советовал, как лучше завести стропы. Магомедыч второй раз стал поднимать — и второй раз они оборвались.

— Накрой меня, Магомедыч, — сказал Леха, — холодно что-то. — И закрыл глаза.

Хоронил весь колхоз. Когда вынесли, «Бегун», старый Лехин кормилец, дал сирену, подхватили другие суда.

Потом, по шоферской солидарности, все машины и самосвалы.

Ванька шел позади всех. Кажется, никого так ему жалко не было, как Леху...

Подружились они совсем недавно.

В последние годы Ванька ни летом, ни осенью не ездил за длинным рублем — надоело, да и Зина заочным техникумом занялась, приутихла чуть насчет тряпья да музыки. Оставался дома — девчонок уже трое стало, их надо и в садик отвести, из садика забрать. Да и по хозяйству что помочь жене, она ведь все с учебниками...

По вечерам, когда детишки укладывались — солнце летом садится только в двенадцать, — он ходил на рыбалку. Не из-за корысти, конечно, закидником ее можно поймать хоть тонну. Нет. Ему нравилось удочкой захлестывать ее и тащить к берегу — уж так она пружинит да удрать старается.

Вот на рыбалке они и сдружились.

Еще с ними на рыбалку ходила жена Страхова Зойка с приемной дочкой, семилетней девчонкой, тоже Зоей — совпадение такое получилось. Страх сначала не верил, что жена ушла от него всерьез, ходил упрашивал, но Зойка не вернулась. Первые дни они жили у дяди Саши, потом им квартиру дали.

— Лех, — спросил как-то Ванька, — а по флоту ты не скучаешь?

— Конечно, скучаю, — признался Гуталин. — Первое время вообще не мог. Но сейчас на «Бегун» или на старые сейнера не пойду, если и отпустит Зануда. Может, еще в шахте людям так же приходится — не знаю, не был там, но, говорят, там тоже несладко — да у нас вот на рыбе. Вот смотри: вахта двухсменная, устаешь как черт. Ну-ка двести сорок центнеров выбрать из кошелька да перелить в трюм? А сам кошелек таскать? Восемь ведь человек всего. Мокрые уж всегда. А осенью, когда леденеет все. Спустишься в кубрик, а там повернуться негде. Ты ж не раз ремонтировал...

— Да, знаю.

— А на вахте? Чего на себя только не напялишь? А во время путины — ложишься в час, встаешь в три, как чумной ходишь.

— А как же Страх?

— На таблетках только и держится. Вот хотел из колхоза уйти и не ушел. И не уйдет — его нигде на море не возьмут. Да и тут держат за старые заслуги. А ты думал, стал бы он баржи с одного берега на другой таскать? Такой рыбак...

— Кончился, значит, «коверкот».

— Кончился, Ваня, — Гуталин вздохнул.

— Как оно получается, — задумался Ванька, — вот ведь недавно человеком был...

— О, Ваня, — прервал его Гуталин, — а ты знаешь, какой Никола был? Один раз сабунку * на спор от берега до склада на спине нес.

— Сабунку? — удивился Ванька. — Да ее и два человека не донесут.

— Где два? Мы шесть человек еле взвалили на него, сабунка заледенелая вся... А вот на новые сейнеры, — возвратился Леха к прежнему разговору, — что сейчас колхоз покупает, я бы с превеликим удовольствием. Почти все работы там механизированы: кошелек сетевыборочные машинки тащат, рыбу в трюм насос сосет. Правда, тоже не мед, на то она рыба, но хоть высушиться есть где да спишь раздетый. Да нет, там нормально. Они вон вахту на переходе в шлепанцах да в сорочках стоят, не то что мы, бывало... укутаешься, как немец на фронте, и дубеешь на морозе да на ветру, а тут волнишкой тебя похлестывает. А лед скалывать?

— Ох, тогда вы и отмачивали «козочки», — засмеялся Ванька. — Помнишь, как ты бичей «баранинкой» накормил?

— А-а, — Гуталин тоже засмеялся. — Сильные тогда у нас кадры были: Краб, Моль...

— А где они сейчас? Никого что-то не видать.

— Краб на материке, на пенсии. Недавно письмо прислал. «Воюю, — пишет, — со своей старухою из-за черноморского климата, никак не хочет его бросать. Но я ей рога сверну, и к бабке не ходить, сверну...»

— Глядишь, еще заявится. А Моль?

— Моля, Ваня, сейчас не узнаешь. Там такую кокарду на мичманке носит, вторым штурманом на БМРТ ** в океан ходит.

---

* Сабунка — плоскодонная шлюпка.
** БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер.

— Ты смотри?!

— В Питере на Ленинской столкнулись, — оживленно продолжал Гуталин. — Смотрю, идет джентльмен, еле узнал. Чудачка с ним, в лаковых красных сапожках, коготки перламутровые, волосы пепельные...

— Вот это Моль!

— Целый день наговориться не могли.

— Старину небось вспоминали?

— Ну, — Гуталин задумался. Потом со вздохом добавил: — Теперь, Ваня, таких кадров нету. Вывелись.

— Да, теперь попритишало, и в общаге, и вообще на флоте...

— Вон они с моря придут, нейлоновые сорочки, галстуки наденут, в кафе коктейли тянут да танцуют. Не верится даже, что это матросы или мотористы. Пижоны.

— А на новые сейнера, наверно, не попадешь? — спросил Ванька.

— Попасть-то можно, да, признаться, я сам что-то не тороплюсь: квартира у меня отличная, работка тоже; сменюсь с вахты, поплещусь в ванне и, если никаких дел нету, на диван лягу, книжечки листаю.

— Ты книжки читаешь? — удивился Ванька.

— А почему мне не читать? — в свою очередь, удивился Гуталин. — Что здесь плохого?

— И толстые?

— А при чем толщина? — Гуталин смотрел, смотрел на Ваньку и расхохотался.

— Чего ты ржешь? — Ваньке не по себе стало. — И я читал. В первый год, как приехал, зимою скука была... Брехня все, про графов разных да князей...

— Ну это ты зря. — Гуталин посерьезнел. — «Анна Каренина», например, и про графов, да не оторвешься. И никакой брехни там, по-моему, нету. «Тихий Дон» — там про таких, как мы. Бывают, конечно, разные книжки. Но хороших много, это ты зря.

— Я говорю про правду, чтоб правда в них была.

— А я про что!

Так и болтали они целыми вечерами, забыв даже про рыбу. А когда под выходной забирались вверх по речке форель и хариуса ловить, то и ночью у костра все никак наговориться не могли.

...Шли каюры, трактористы, токари, слесари, плотники — ни механический, ни деревообделочный, ни стройцех не работали. Ребята с сейнеров, что пришли с моря по каким-нибудь делам, держались грузной — почти все по-рабочему, в сапогах — толпой. А суда и машины гудели.

— На кого ты нас покинул, на кого обиделси?.. — заголосила какая-то баба.

У Ваньки комочек в горле зашевелился. Зойка Страхова заплакала в голос, ее под руки вели. «Эх, Леха, Леха... как по тебе даже чужие...» — родственников у Гуталина в Дранке не было, да и вообще на Камчатке, отчим где-то на материке, о котором он никогда не вспоминал.

Сказать о покойном захотели многие, первым вышел дядя Саша.

— Это был... — он закашлялся. Кашлял долго. — Это был... Алексей... Алексей... безотказный... безотказный... — дядя Саша смахнул слезу, махнул рукой и отошел в сторону. Не получилось речи.

А Ваньке было невыносимо, он плакал не стесняясь.

— Бежал он на работу, — басил над Ванькиным ухом Чамба. — Да. Бежал он, Ваня, бежал. А я из магазина иду, квас несу. Он подлетел: «Дай, дед, глотнуть, от жажды умираю. А себе на рубль еще купишь. А мне только глотнуть». А мне, ангел мой, жалко стало. «Нет, ангел мой, — говорю, — сам сбегаешь». — «Да не успею, — говорит, — вон Торпеда карандаш достает». — «Успеешь, — говорю, — ангел мой, ноги молодые». А он: «Да не успею, мне только глотнуть». Давно, Ваня, дело было, а забыть не могу.

— И ты не дал ему глотнуть? — удивился Ванька.

— Не дал, ангел мой, не дал. И чего это я не дал? Какого-то квасу жалко стало.

«Ну и куркуль, — Ванька отвернулся от Чамбы. — Так куркулем и останется».

— Ну теперь давай, Ваня, за упокой Лешиной души! — Дед совал Ваньке бутылку, сам он уже приложился.

— Не хочу, — отвернулся Ванька.

— Чего это, Ваня? Давай, ангел мой!

— Отстань!

— Эх! — сокрушительно произнес Чамба. — Никто со мною даже разговаривать не хочет! Меня, видно, так хоронить не будут, — разговаривал сам с собою дед.

— Товарищи! — раздался голос председателя. — Мы провожаем в последний путь хорошего труженика, нашего товарища...

Ванька не стал слушать, пошел. «Вот так и нету человека. — Ванька вспомнил всю Лехину жизнь от «козочек» в общежитии до вечерних разговоров на рыбалке. — Жил человек — и нету. Как все просто».

Пришел домой. Зина еще не возвратилась. Дети в садике. Тишина и прохлада в доме. В окно падают красноватые лучи заходящего солнца, покой над Дранкой.

Пришла Зина. Она была молчаливая, печально притихшая. Он задумчиво лежал на диване.

— Заболел?

— Да нет, так.

— Пойдем в кино?

— Не хочется что-то.

— Картина, говорят, очень хорошая.

— В другой раз. Иди, если хочешь.

— Ну отдохни. — Она наклонилась к нему, прикоснулась крашеными губами к его щеке. Потом стала собираться. Плавно поворачивалась перед зеркалом. Слегка хмурилась, подправляя прическу. «А какая красивая стала, — отметил Ванька, любуясь женою, — и откуда что взялось?»

Зина после рождения троих детей расцвела, помолодела будто. Учеба кончилась, забот меньше. Да ей и всего-то двадцать шесть. Чуть пополнела, осанистей стала, спокойнее. Ходит плавно, чуть покачивает бедрами. Ногти точеные, лаком поблескивают, перстенек с красным маленьким камешком на одной руке. Лицо, если сбоку смотреть, тонкое, а волосы так здорово уложены.

— За детьми сходишь, ладно? — Она щелкнула замком сумочки.

— Ладно, — «Королева да и все. — Ванька никак не мог налюбоваться женой. — И платье-то? Без всяких финтифлюшек, и стекляшек ни одной нету, а как здорово!» — Она почувствовала его взгляд, улыбнулась. Еще раз качнулась перед зеркалом, плавным жестом поправила волосы. — «Да-а-а...»

— Посмотри, Ваня, вот интересная книга. — Она по-

ложила перед ним толстую книгу. Четко постукивая каблуками и покачиваясь, пошла к двери.

«Щит и меч», — прочитал Ванька. — Ого! И за год не прочитаешь, про рыцарей, наверно. А может, и про нас что есть? Интересно. Лехе же попадались, надо почитать».

Задумался. Вечерело уже. Косые лучи перед диваном на ковре меркли.

«Леха, Леха! Все бегал по колхозу, спешил все, все некогда тебе было».

Так и пролежал весь вечер. Потом пошел за детьми в садик.

Глава семнадцатая

Ванька сидел на колхозном собрании. Собрание было юбилейное, в честь десятилетия объединения колхоза. Проходило в новом, только выстроенном Дворце культуры. Глухо постукивали кресла, ярко горели люстры. Молодежь, вся разряженная, галдела на задних рядах — там даже гитара бренчала: старики, одетые «по-чистому», разместились в основном на передних. Спокойные, тихие, будто после бани. И будто торжественности стеснялись.

Ванька сидел почти на задних рядах, в левом углу возле стенки.

Плохое настроение было у него. Такое, что хуже некуда. Разламывалась голова, в глазах резало, на них что-то давило сверху.

Дня три назад на вечеринке у Магомедыча произошло такое, что всю ночь после этого он пробродил сам не знает где, потом еще два дня как в кошмарном сне, а вот сегодня сам не знает, как попал на собрание.

На гулянке, естественно, пели песни, танцевали. Был дядя Саша со своею гармонью, смешил всех заковыристыми припевками. Были и незнакомые ребята, особенно выделялся художник, что Дворец приехал разукрашивать: высокий, с длинной гривой, в очках, одетый очень здорово — свободный пиджак без плечиков, вроде рубашки, галстук, завязанный кушаком, коричневые ворсистые, с обрубленными носами ботинки. Он почти весь вечер отплясывал с Зиной. А она красивее еще стала,

изменилась, что ли? Вся дышала, щечки зарумянились. Откинула голову, прикрыла глаза и как в забытьи кружилась, кружилась с художником... «Нашла стихия на бабу», — подумал Ванька, любуясь женою.

А Володька загрустил к концу вечера, совсем мрачный стал — он очень тяжело переносил разлад с Клавдией, разводились они. Все эти дни он держал марку, а тут сломался.

— Не везет мне, Ваня, в жизни, второй раз горю... Дети где-то на стороне. Опять одиночество. Хорошо, хоть здесь детей не остается.

— Не расстраивайся, — успокаивал его Ванька, — переживем. Куда мы денемся?

— Ну, в первый раз — ладно. Ну а здесь? Чего не хватало? Эх, Ваня... Ты стихи не читаешь?

— Иногда.

Володька положил Ваньке руку на плечо и начал:

Выпьем, что ли, Ваня,
С холоду да с горя,
Говорят, что пьяным
По колено море.
Стар теперь я, Ваня,
Борода седая...
А судьба все та же,
Злая да лихая.

— Хватит бормотать, — прервал его Ванька, — что толку из твоего бормотанья?

Вышли на улицу просвежиться. Собрались закурить — спичек не оказалось.

— Сейчас принесу, — сказал Ванька и пошел в дом.

Только открыл дверь в коридор — художник целует Зине руки. Одну, другую. Она откинулась к стенке, закрыла глаза, Ванька так и одеревенел. А художник уже до шеи добрался, обнимать начал. Тут она, уклоняясь от поцелуев, повернула голову и увидела Ваньку. Вскрикнула, вырвалась и бежать. Художник открыл рот и хлопает глазами. Затем прислонился к стене, к тому месту, где она стояла, снял очки. Потом надел их, испуганно глянул на Ваньку. Поправил очки — это вывело Ваньку из оцепенения. Он медленно подошел к художнику, остановился напротив.

— А ну! Скидавай очки.

— Я, собственно, ничего не имею, обстановка, так сказать...

— Скидавай! — Ванька рявкнул так, что очки так и слетели с художникова лица. Он близоруко, жалко, дрожаще как-то смотрел на Ваньку. — Г-гад! У нее же трое детей. — И Ванька поднял ладонь, художник даже губы скривил, а пятиться некуда. «А ведь зубы хрястнут», — подумал Ванька и опустил руку в карман. Повернулся и пошел прочь.

Зина лежала на Надькиной кровати, уткнувшись в подушки. Хлюпала.

— Домой!

Она быстро накинула доху, схватила платок и к двери. Лезли по сугробам, она все всхлипывала. Дома кинулась в свою комнату и захлопнула дверь.

Он посидел на диване, достал бутылку спирта. Налил стакан, но пить не стал.

Потом пошел бродить. Ходил по морскому берегу, смотрел, как громыхают жернова торосов. Был в тундре, зашел даже на кладбище, посидел на Лехиной могилке. Опять возвратился на морской берег, пристроился поудобнее на льдистом валуне, завернулся в шубу и смотрел на туманную полоску горизонта.

Тускло поблескивали торосы. В ушах звучала пластинка, что на вечере у Магомедыча крутили, Володька все ставил ее. Так и жег душу голос из радиолы:

...Ах, вы, братья мои,
Вы, товарищи-и-и,
Сослужите вы мне
Слу-у-жбу ве-е-рную...

* * *

Утром возвратился домой. Зина молча вытирала слезы. Лицо распухшее. На него не смотрела.

Прилег на диван, отвернувшись к стене. Голова гудела, в ней все дрожало и путалось, на глаза давило.

К нему подбежала младшенькая, стала теребить за плечи.

— Не надо, папа спит.

Зина собрала детей, увела, наверно, к бабке.

До обеда лежал. Потом голова стала болеть невыносимо. Опять пошел бродить. Был у дяди Саши, был у Магомедыча. Надька все расспрашивала да успокаивала.

— У нас с Османом еще не такое было, — утешала она его и матерински гладила по голове. Ему хотелось уткнуться в ее мягкую грудь, закрыть глаза и забыть про все.

— Нишшаво, Вань, — вертелся тут же Магомедыч, — у нас куж был.

Опять ушел, бродил сам не знает где. А на другой день пошел на собрание в клуб. Забрался в угол.

Народу набилось уже полный зал, ждали, когда выберут президиум. Ванька рассеянно, ничего невидяще озирался по сторонам, машинально кивал входящим.

«Как же это все получается? — стучало в голове. — Ложку не так держишь — некультурно, тарелку только от себя... Все не так стало: и ем не так, и хожу не так, даже занавеску на окне задергиваю не так. Бегали с Клавдией по университетам, ведь не мешал же. Бегайте, изучайте на здоровье кибернетику да этикетику. А в техникуме когда училась? Ведь дом на меня лег. А делать как ты — культурно?»

А клуб наполнялся и наполнялся, уже и садиться негде стало. Наконец кто-то из флотских привстал, повернулся к залу и по бумажке зачитал президиум. Названные пошли на сцену. Поднялась и Клавдя. «А ее-то зачем? Протокол, наверно, писать. — Клавдя пробиралась по рядам, руки скромно скрещены на животе, голова приопущена, губы кокетливо удерживали покровительственную улыбку. Семенила малюсенькими шажками. — Ну ничего у нее без фокусов не получается».

«Ну а если развестись? — мысли опять возвратились к прежнему. — А зачем это? Ну зачем? Кому это нужно? Сам болван прохлопал... Только и знал, чтоб для дома все...»

На сцене за красный стол усаживался президиум. И Магомедыч попал туда, топтался позади всех. Для такого торжественного случая он нацепил все медали и ордена на пиджак. Причесанный.

«Ну раз на то пошло — черт с ней! Одну-то девочку оставят, может, и двоих. В суде тоже люди, поймут. Пусть носится со своей Торпедой по университетам, изучает кибернетику да этикетику. Проживем. А девчонки вырастут, поймут!»

И вот на трибуну вышел Геннадий. С папкой. Сияющий. Ванька рассеянно глянул мимо него на президиум. «Ненаших много, подвалило начальство из района

да из области. Чего это они? Никогда вроде столько не было».

Председатель разложил перед собой бумаги, отхлебнул водички, окинул всех сияющим взглядом и поднял руку: успокойтесь, мол, товарищи. «Как артист!» — подумал Ванька.

— Товарищи! — начал он. — Мы собрались... — Он говорил красиво, гладко, цветисто. «Вот шпарит, небось ни в каком слове ошибки не сделает». — ...несмотря на короткую биографию нашего колхоза, несмотря на условия Крайнего Севера, мы с вами, товарищи, построили...— И он начал перечислять, что и в каком году построили. «А строили-то как? — думал Ванька. — Особенно когда Василия Васильевича не стало. Хоть цемент, когда этот Дворец строили, да хоть и тес или стекло, стекло особенно: то пургою побьет, то при выгрузке. Начнешь открывать ящик, а стеклить нечем, одни куски. Куда их? Списать, колхоз-то богатый, миллионы в банке, другим колхозам взаймы даем на покупку флота. А там и целые есть, не только битые. А толь? Сам собирается на охоту, берет рулончик на шалаш. Там и оставляет. Да что там! Вон Чамба тянет что ни попадя. И сарай, и заборы из всего колхозного. А сам-то?»

Года три назад пришел Геннадий на участок к Мишке, Мишка поликлинику вел:

— Михаил, сюда!

— Слушаю, Геннадий Семенович, — подошел Мишка.

— Пару кубометров теса приготовь.

— Вам я уже отвозил. Там и террасу обшить хватит и на забор. Плотников пришлю через пару дней, как договорились.

— Не мне, в комбинат.

— Платонычу небось?

— Ему.

— Горбыля могу, а теса нету. На приемный покой не хватает.

— Найди, такой пустяк! Что ты за строитель, если не можешь изыскать.

— Где же изыщешь, если нету? Хоть и пустяк. Вон горбыль пусть берет, потом, это же все колхозное.

— Ну... — Геннадий замялся, при всех неудобно было говорить об этом. — Зайдешь в контору, потолкуем.

— Если за этим, то и толковать нечего.

— Миша, это ведь для дела. В комбинате есть бочкотара, знаешь, весною как она нам нужна будет. Это, надеюсь, ясно.

— Ясно, — поморщился Мишка, — чего ж не ясно? Бочкотара государственная, тес колхозный, бочкотара нужна колхозу, тес — директору на забор. Чего ж не ясного? Наливай да пей.

— Ты забыл, что все ведь для колхоза.

— А ты забыл устройство нашего государства.

— Ты меня не учи.

— А я тебя и не учу.

— Не повезешь?

— Нет, и мастерам скажу, чтоб не возили.

Так и не повез. Но на другой год он послал Мишку в Пахачу в командировку выстроить причалы. Когда Мишка возвратился, на его месте — начальником стройцеха — уже работал другой человек. Мишка так и остался простым мастером.

А месяца через три, осенью, они поцапались капитально, уже как следует. Мишка вел теплоцентраль по «Черемушкам». Тут, к возвращению флота с путины, должно было подъехать районное да областное начальство вручать знамя за первое место, разные грамоты.

— Михаил, — пришел Геннадий на участок, — сворачивайся. Давай зальем тротуары около складов. К причалам надо будет спуск забетонировать. Это надо срочно, срочно — используешь быстротвердеющий раствор.

— Погоди, Геннадий Семенович, — остановил его Мишка. — Ведь скоро морозы, пурги. Грунт под теплоцентраль бить тогда придется отбойными молотками, сооружать навесы от заносов на рабочем участке. Представляешь, сколько мороки?

— Миша, мы друг друга не понимаем.

— Конечно, нет.

— Тогда по-другому: я приказываю, ты исполняешь. Я председатель, в конце концов.

— Выбрали вот — командуешь, а надо будет снять, снимем. Выноси вопрос на правление.

На правлении не обсуждался этот вопрос. Мишка, конечно, не стал заниматься с тротуарами, но после постройки теплоцентрали в «Черемушках» Мишкина должность сократилась. Два месяца помотался Мишка в бригаде плотником и ушел в колхоз «Тумгутум» сразу на должность начальника строительного участка.

«Нету Мишки, — вспомнил Ванька своего друга. — Был бы рядом Мишка, друг. Гляди, еще Володька из колхоза уйдет... А с Володькой Геннадий так же обошелся: подгадал, когда у того случился завал с рыбой, и нагрянул с инвентаризацией, хорошо, хоть растраты не обнаружилось... Но Володька из колхоза не уйдет, его в другое место никакими пряниками не заманишь».

— ...досрочно, из года в год на протяжении десяти лет управляемся с полевыми и овощами. Наша продукция...

«Врет ведь, после Василия Василича ни одного года нормального не было... Взять хоть ту же картошку. Флот к концу путины на сухой картошке почти всегда сидит... Единственная свежина...»

— ...наша птицеферма расцветает с каждым годом. Я позволю себе привести некоторые...

«От дает, — усмехнулся Ванька, — «расцветает», «показатели»...»

— ...увеличили флот до тридцати трех единиц, освоили новые места промысла и добычу новых пород рыбы... Наши суда бороздят воды четырех морей и самого большого в мире океана. Валовая добыча рыбпродукции...

«Ну кому очки втирает? Красная-то рыба перевелась почти, рыбнадзор запретил ловить ее. Теперь гоняются по океану за какой-то саблей, а эту саблю никто, наверно, и не ест. А как душили в Пахаче селедку, когда участок только открыли. «Главное, Проскурин, деньги, они погоду делают, результаты». Юрия Алексеевича с дядей Сашей тогда чуть не съел за то, что пеструю запретили выкидывать... вот и навыкидывались, навыхвалялися!»

— ...ведь нельзя не учесть тот факт, что на строительстве этого прекрасного Дворца, этого храма культуры мы сэкономили...

«Да это уже вообще... уже совсем...» — Ваньке противно стало от этого вранья.

...— благодаря нашему с вами труду, товарищи, эффективному использованию техники, экономии материалов мы с вами, товарищи, создали мощную материально-техническую базу, и недалек тот день, когда мы с вами, дорогие товарищи...

— И неправильно это! — вдруг громко произнес Ванька. Сам не знает, зачем произнес, вроде и не собирался.

Геннадий, щурясь от света, посмотрел в ту сторону,

откуда раздался этот возглас. Некоторые тоже повернулись к Ваньке, наступила еще бо́льшая тишина.

— Да. Неправильно! — тверже повторил Ванька.

— Вы, Проскурин, что-то хотите сказать? — не меняя торжественности на лице, обратился к нему Геннадий. — Кстати, товарищи, я закончил. Товарищ Проскурин, давайте сюда, чего вы там? Сюда давайте!

— Могу и туда! — И он стал выбираться из своего угла. Наступал на ноги, не извинялся. Все уступали ему дорогу, а Славка Бондарев подтолкнул:

— Давай, давай, Ваня, жахни речугу.

Потом шел по мягкому ковру, шагов совсем не слышно. «А, наверно, ничего и сказать не смогу, — как-то думал он, — смеяться будут... ну все равно!»

— Товарищи! Это наш ударник коммунистического труда, — представлял Геннадий Ваньку и улыбнулся ему как самому лучшему другу, — Проскурин Иван...

«Да, да... так я тебе и поверил, — думал Ванька, глядя прямо в приветливые глаза Геннадия Семеновича. — Жди!»

— Наш, так сказать, маяк.

— Да знаем его, — донеслось из зала.

И вот он на трибуне. Яркий свет бьет в глаза, потеют ладони, мокро под мышками. «Да что же это? — мелькнуло в сознании. Глянул на зал: глаз не отрывают, притихли, ждут. — А что же говорить!» Повернулся к президиуму. Геннадий, улыбаясь, с любопытством смотрел на него. Но это только губы расплылись, глаза-то насторожились, колючие. Клавдя Торпеда также сощурилась, карандашик наготове. Улыбается, так это с насмешечкой; сейчас, мол, будет что-то ужасно интересное. «От, выдра, еще и ничего не сказал, а она уже...» Магомедыч, он сидел на самом конце длинной скамейки, скреб ногтем штаны на коленке. Голову опустил, брови насупил.

— Я никогда не выступал, — дрожащим голосом начал Ванька и сам удивился, какой у него тихий голос. — Но все равно: что тут говорил председатель, многое не так. Неправильно. Да. Когда достраивали этот Дворец, сколько цемента, раствора, стекла да шифера пропало? Его ж оставили достраивать на зиму, потому как летом надо было выхвалиться перед начальством, асфальты строили. А зимою что с Дворцом получилось? Сколько цементу да растворов в сугробах осталось? А стекло? Экономия или что? А рыба? Когда селедка жировая

в Пахаче была, сколько ее в море опять выкинули. И не сосчитать. Не стандартная? А это ж рыбка!..

Голос его немного окреп, но подрагивал еще, дыхание от непривычки говорить сбилось, он запинался иногда на середине слова. Да, рыбка... Или вот уборочная, про которую председатель тут распинался. Ну он, конечно, не в курсе дела, потому как прошлую осень с завфермой гусей по тундре гонял. А яйца? Почему они в прошлом году без скорлупы оказались? Ракушки-то на зиму не заготовили! А заведующему фермой до этого дела нету, тоже летом то в тундре, то в отпуске. А почему одну весну у нас куры пропадали? А? А потом опять цыплят покупать. И насчет рыбы вообще... После Василь Василича стали брать по два да три плана — только чтоб себе, чтоб себе. Да. — И у Ваньки заело, он не знал, что говорить дальше. — Да. Чтоб себе... Вон когда Чамба...

— Мирошников, вы хотите сказать? — поправил его Геннадий.

— Да, Мирошников. — Ванька смахнул пот со лба. — Да. Ну вот когда Чамба, — в зале и президиуме засмеялись, — перевозит через речку и когда у него мотор скиснет, как он его материт? «Был бы ты мой, дак за один вечер бы перебрал». Так: «был бы мой». И мы так же, как Чамба, только себе!..

— Ну, Иван Евсеич, — повернулся к нему Геннадий, — это еще наши недостатки, которые мы, конечно, изживем. Издержки движения, так сказать.

— А я про что говорю? — повернулся к нему Ванька. — Я ж про это и говорю, что течет все: хоть рыба, хоть цемент, хоть та же толь. То в море, то в речку, то еще куда. Не жалко, разбогатели же!

— Постойте, постойте, — поднял руку Геннадий, — но создали-то мы сколько? Ведь недавно здесь медведи бродили.

— А сейчас их нету...

— ...постойте же. Дворец вот, кафе современное. Вы ведь бывали там, и не раз, наверное.

— Бывал, — твердо сказал Ванька, — да я-то при чем? А вот пастухи в этот стакан не ходят. Как приедут из тундры, так и чаюют на лужайке за магазином.

— На травке оно привычнее, — донеслась реплика из зала.

— Там же у них «Золотой Рог», — послышалась другая.

В зале засмеялись.

— Хорошо, хорошо, — засмеялся и Геннадий, — кому нравится, пусть отдыхают в «Золотом Роге». Но дома-то? Ну-ка сколько вы сами домов построили?

— Я не про это говорю, — поморщился Ванька. — Я говорю, что добра много пропадает. Хоть и дома́! Понастроили таких двухэтажных коробок! Оленеводов же туда и силой не затащишь.

А во-ро-вство? — раздельно, по слогам произнес он и повернулся к президиуму. Геннадий даже отпрянул, а смеющегося выражения как не бывало на его лице. Теперь оно было сосредоточенное, настороженное. Будто он с мыслями собирался или припоминал что-то. — Среди белого дня тащат и кирпич, и тес, а толь так вообще за материал не считают. Вон Чамба и себе и сыну выстроил дома и поставил заборы... Что он, за стеклом или за кирпичом в Петропавловск на самолете летал или во Владивосток на пароходе ездил?

Геннадий потупился и покраснел будто. Опустил глаза. «Знает кошка, чье мясо съела», — подумал Ванька и продолжал:

— Воруют, да еще отвези им... Распоряжаются хоть икрою, хоть вертолетом, хоть катером, хоть еще чем... — Ванька подумал, что надо сказать, кто этим распоряжается, но что-то в нем заело. И будто говорить было нечего больше. В зале стояла мертвая тишина. Ванька весь дрожал. — Да... вот... собрал вокруг себя... — Он так стиснул трибуну, что она затрещала, доски разъехались.

— Не портите колхозное имущество, — привстав, крикнул Геннадий.

— Не кричи! — оборвал его Ванька. — Пустяками зубы не заговаривай, новую сделаю. — Он сдвинул доски трибуны. А дышать было нечем. — Да и кто давал такое право, чтоб выгонять? Да за что же меня выгонять? Я хоть раз опоздал на работу? Я вам не Михаил. Это его вы понижали, понижали, пока человек сам не ушел из колхоза, а меня понижать некуда. Мешки таскать буду, а из колхоза не уйду.

— Товарищ Проскурин!

— Что Проскурин! — в тон ему гаркнул Ванька, а настроение было такое, даже локти дрожали.

— Вот так-то его!.. — крикнул кто-то из рядов.

— Пыравильна! — взлетел Магомедыч с угла длинной скамейки. — Пыравильна! Моя понижай, моя повышай, суравно, моя трактор верти. — Он метался перед столом президиума. — Чито это? Э? Как это? Кгде пыравда? Пошшему сыразу гон из колхоза? Э? Сам, — он стучал себя по звякающим медалям, — сам возил на сторону колкозный бэнзын, колкозный кырасын. Как это? Э? Уезжай, дорогой, откуд приекэл! Такой шшеловэк наш колкоз не надэ!

— Подожди, Осман Магомедович, — послышался насмешливый Володькин голос. Он поднимался на сцену. — Кричать не надо.

— Надэ кыричать, Прохоров, надэ!

— Подожди, Осман Магомедович...

— Нет, — он оттолкнул Володьку, — я сказать буду! Доски — пустак, кырасын — пустак, бэнзын — пустак. А пошшему колкозный вертолет на охоту летайт? А пошшему колхозный катэр за личным грибам ездиит? Это тоже деньги. Моя баб общественный деньги растратил, турьма сидел. А тут чито? Э? Ты, дорогой, — Магомед стрельнул пальцем в Геннадия, — не коммунизм строишь, ты дорогой, ломаешь. Ты, дорогой, уезжай, откуд...

— Осман Магомедович, — взял его за плечи Володька и повернул к залу, — погоди. Дай мне сказать.

— Пошшему так, э?

А Ванька, ни на кого не глядя, шел по залу. «Сейчас им Володька выложит, язык подвешен!» Вдруг его схватили за руку, да так крепко, что он чуть не поскользнулся на коврах. Оглянулся — его держит за локоть не молодой уже, серьезный человек, седоватый чуть. По обличию начальник, и не маленький. Улыбается глазами.

— Кем работаешь? — он смотрел Ваньке прямо в глаза, подавшись из кресла, а локоть, тряхнув, стиснул еще крепче. Взглядом, в котором искрились участливо теплые улыбочки, так и говорил: «Ну и орел ты, брат».

— А что? — «Вроде не надсмехается... подбадривает вроде!..»

— Кем работаешь? — Седоватый улыбнулся.

— Плотником, кем же? — И Ванька от смущения неловко как-то дернул плечом — седоватый выхватил руку и, переломив брови, насмешливо дул на пальцы, замотал рукой в воздухе.

— Ну и силища у тебя, — морщась, улыбался седоватый.

— Чито это? Как это? Э? — не унимался Магомедыч.

А Ванька влетел в раздевалку. Сдернул шубу с вешалки, кинул шапку на голову и уже ломился по сугробам.

«Из колхоза выгоним? А это?» — он показывал кому-то кукиш.

— Ваня-а! — услышал он голос жены. Утопая в снегу, лезла к нему Зина. На ходу застегивала шубу, заправляла платок, в одной руке держала его шарф.

— Простудишься, — глубоко дышала, слезы катились по ее щекам. — Дай я. — Она укутывала его шарфом, застегивала.

— Уф! У-ф-ф-ф! — Ванька уже не владел собой. — «Выгоним!» А это вы видели?

— Ваня, — удерживала его Зина, обнимая и прижимаясь к нему, — не надо, все хорошо будет, успокойся!..

■

Юван ШЕСТАЛОВ

* * *

О мать моя! Зачем мне жизнь дала?
Склоняясь над березовою зыбкой,
зачем ты забавляла сказкой зыбкой,
а вот про быль — ни слова не смогла?

О мать моя! Ты мне глаза дала
затем ли, чтоб они навек прозрели
и видели и солнце, и метели,
и огненные облака крыла?

О мать моя! Ты ноги мне дала
затем, чтоб мог уйти от колыбели
в края вечнозеленые,
где ели —
от инея, как будто купола!

О мать моя! Ты руки мне дала
затем ли, чтоб держал перо стальное,
чтоб сердце мое билось молодое,
как вечевые в рань колокола!

О мать моя! Ты чувства мне дала.
Не плакал и не пел бы по весне я.
Звучит душа все звонче, все нежнее,
пусть жжет огонь — в нем я сгорю дотла!

И может быть, все знала ты, когда
качнула колыбель мою рукою,
чтоб шар земной не замер навсегда,
не стал без человека
мир тайгою.

Но знала ты, —
что Ленин на земле.
Вот почему, в мою поверив долю,
ты нагибалась бережно ко мне —
и становилась снова молодою.

О мать моя! Пусть был тяжел твой путь,
но к свету он был Лениным проложен.
Ты лишь хотела,
чтобы сын чуть-чуть,
хоть чем-нибудь был на него похожим.

О мать моя! Тебе я жизнь свою,
и песнь свою, что я сейчас пою, —
все отдаю, как нежность мне велела.
И я хочу — в работе и в бою
все время быть таким,
как ты хотела...

ШУМ

Шум, шум, шум
давних сердечных дум.
Слышу, душою юн, —
шумом наполнен чум.

Слышится зверя крик,
слышится снежный скрип
возле сугробных шхун —
шум, шум, шум...
Слышу ржанье коней,
гулкий обвал камней,
слышу ребенка плач,
лодки над взморьем кач,
шорох воды о лед,
ход колыбели влет.
Первое слово вдруг.
Нового роста звук.
Сердце мое — вещун.
Шум. Шум. Шум.

Звонкий девичий смех,
свадебных троек бег,
жизни веселый свет
и изобилье лет.
Счастье уходит вдруг —
эха чужого звук.
Слышишь в себе в тиши
холод живой души.
Смерть... И, душой угрюм,
слышишь прощальный шум...

Гул отшумевших гроз,
тяжесть соленых слез,
тихой земли печаль,
светлого неба даль.
Слышишь ты — рвется ввысь
новая чья-то жизнь.

Бродит в дереве сок.
Ломко, наискосок
прянул на землю звук —
белка задела сук.
В дали — издалека
тихо текут века...

Кружатся воды — шум,
кружатся годы — шум.
Песнею вдаль маня,
зреет душа моя —
слушай, душа-вещун,
этот бессмертный шум.
Шум. Шум...

Перевел с манси Владимир Цыбин

Людмила ШИКИНА

* * *

Моей матери снился сон:
Золотая в подвесках осень.
Моей матери снился сон,
Что войны не бывало вовсе.

Будто не были нивы черны
И не плакали в голос вдовы,
Будто не было
вовсе войны,
Будто счастья, как горя, —
вдоволь;

Будто все на земле спокойно:
Степь дымится в солнечном мареве.
И пасутся дикие кони,
И рябин полыхает зарево...

...Ох, как горько
плакала мать:
От погибшего сына
весточку
Не успела во сне прочитать,
Не сломила с рябины веточку.

* * *

Там, за холмом,
за перелеском,
Багрово вздыбился закат.

Гляжу — как много лет назад
Горит
деревня под Смоленском.
Огонь летучий
и дымы...
Склонились ивы
низко-низко.
И нету ни родных, ни близких —
Никто не уцелел с войны.
Цветы какие там растут?
На пепле душ
святых и правых
Какие зеленеют травы,
Какие птицы
гнезда вьют?..
Там, за холмом,
за перелеском,
Закат смешался и восход...
Который год,
который год
Горит
деревня под Смоленском.

* * *

Реки — мои вены,
Корни — мои нервы,
Крылья мои — ветер.
Люди — мои дети.
Я земля — я мать,
Я дала вам память,
я дала вам разум,
Чтобы помнить горе,
чтобы помнить радость.
Я впрягаю солнце
в колесницу лета,
Над лугами небо —
радугою ленты.
Дети мои, дети,
к вашей колыбели
Я зову березы,
я зову метели.

На моих ладонях
раны и ожоги
Забинтуют зимы,
и опять дороги
Поведут вас к пашням,
поведут вас к нивам...
Загрохочут грозы,
отзовутся ливни.
Мои дети — люди!
Что же с вами будет?
Если вдруг иссякнут
мои реки — вены,
Если пересохнут
мои корни — нервы?

Б. НАВРОЦКАЯ, Р. ДОНЬСКИЙ

Рис. Ю. КИСЕЛЕВА

ГЛАВА 14

Корта разглядывал словесный портрет Хирурга: в газете портрет выглядел еще лучше. Капитан свернул газету и положил на край стола. Сообщение милиции было напечатано во всех газетах.

— Не верю я в эти портреты, — сказала его жена. Она поглядела на снимок и отбросила газету в сторону.

Корта усмехнулся.

— Иногда это кое-что дает. Отдел криминалистики имеет на своем счету множество словесных портретов, как две капли воды похожих на пойманных преступников.

---

* Продолжение. Начало в № 7, 8.

— Это возможно лишь тогда, когда несколько человек с близкого расстояния видели чье-то лицо. Твоего же Хирурга никто не смог подробно описать. Все говорили только о плаще и бородке. Бандит прекрасно понимал, чем отвлечь внимание от своего лица.

Допив чай, Корта встал из-за стола.

— У каждого работника милиции этот словесный портрет получается в большей или меньшей степени похожим, но это всегда лучше, чем ничего. — «Это еще имеет и психологическое значение, — подумал он, — как для милиционера, так и для разыскиваемого преступника».

Расспросы во Влохах так ни к чему и не привели. В ту памятную пятницу никто не заметил мужчину с бородкой, в темных очках и с узелком цвета хаки в руках. На углу улиц Солипской и Болеслава Храброго есть газетный киоск, а на противоположной стороне — продовольственный магазин. Но ни одна продавщица не видела ничего подозрительного. Люди Корты тщательно проверили списки квартиросъемщиков, места их работы, расспросили, чем они занимаются в свободное время, выяснили образ жизни всех молодых мужчин этой округи. След обрывался во Влохах.

«Там он не жил, — думал Корта. — Это почти наверняка. Может быть, у него там имелся сообщник».

Капитан не задержал директора ювелирного магазина, решив, что нельзя арестовывать человека только благодаря случайному стечению обстоятельств — совпадению его местожительства и направления, по которому бежит бандит, совершив ограбление.

Часто преступник бежит куда глаза глядят.

В данном же случае Корта был почти уверен, что все действия Хирурга были глубоко продуманы и точно рассчитаны. Кроме того, капитан был убежден, что Хирург находится далеко от Варшавы, и очень надеялся на периферийную милицию.

С момента ограбления прошло восемь дней.

Ранним субботним утром Корта сидел у себя в кабинете и ожидал сообщений из областных управлений милиции. В начале следствия он сконцентрировал внимание на мельчайших подробностях, каждая из которых могла стать ниточкой, помогающей напасть на след преступника. Раньше капитан охотно покидал кабинет, выезжал в город и вмешивался во все, что касалось ведения дела. Сейчас его никакая сила не могла бы сдвинуть с места. Он мерил шагами кабинет и поглядывал на телефон.

Коллеги любили Корту за мягкий юмор и ироничное отношение к собственным слабостям.

Дверь кабинета приоткрылась. В щель просунулась голова Габлера. «Ого! — подумал тот. — Шеф пребывает в лирическом настроении». Однако он понимал, что за этой кажущейся пассивностью и спокойствием капитана скрывается неуемная энергия. Старые сотрудники знали о способности Корты мгновенно выходить из апатии и активно включаться в дело, развивая бурную деятельность. Новички часто попадались на эту удочку. Корту очень забавляло тогда недоумение, слишком отчетливо выражаемое лицами таких новичков.

— Сержант Кирилко нашел очки с белыми стрелками в электричке Варшава — Влохи, — сказал Габлер.

— Ну и что? — буркнул Корта, не проявляя интереса ни к сообщению, ни к находке.

«Экий дьявол, — подумал Габлер с недовольством. — Сначала он приказывает людям искать ветра в поле, а потом, видите ли, его не интересуют эти пресловутые очки».

— Кирилко допросил кондуктора поезда? — ядовито спросил Корта. — Или нам нужно вызывать для этого человека в управление?

Габлер сделал вид, что не услышал последнего замечания шефа. Он провел с капитаном не одно дело и прекрасно понимал, что придирчивость и раздражение того вызваны прежде всего скрытым беспокойством за исход дела.

— Кондуктор не заметил в поезде никого в таких очках, — равнодушно сказал Габлер. — Случайность... или их подкинули специально... Ага! — добавил он. — Быть может, вас заинтересует сообщение центрального отделения? В прошлую субботу, как раз на следующий день после ограбления, ушел из дома и до сих пор не вернулся некий Анджей Лехонь, студент третьего курса университета. Это сообщение поступило от хозяйки, у которой студент снимал комнату.

В глазах Корты появился интерес.

— У него есть семья? — спросил он.

— Да. В Калише. Пропавшего у родителей не оказалось.

— Сколько у нас таких сообщений за прошлую неделю?

— И то верно! — рассмеялся Габлер. — Как всегда, целая куча. Один у девушки, другой сбежал с любовницей от жены, третьему захотелось вкусить романтики одиночества. Было бы неромантично, конечно, сообщать кому-нибудь, что жаждешь романтики. Я обратил внимание на Лехоня потому, что пропал он именно в ту субботу.

«И правильно сделал», — одобрил Корта.

— А никого, кроме этого студента, не охватило романтическое настроение в пятницу или в субботу на прошлой неделе? — громко спросил капитан.

— Ну как же! Но все — пожилые люди. Из молодых только он.

— Проверьте этого Лехоня, — приказал Корта. — Сразу же как вернется. Запросите университет.

Габлер понимающе кивнул.

«Как раз каникулы, — подумал Корта. — Студент. Выкроил себе две-три недели, взял рюкзак и пошел куда-нибудь в Татры. Эти сопляки нынче думают, что у стариков железные нервы. Эффектное исчезновение...»

Зазвонил телефон. Сообщение из Гдыни. Дежурный милиционер на гдыньском вокзале видел в ночь с четверга на пятницу молодого человека с девушкой, но не обратил на них внимания. А в пятницу вечером они получили пакет со словесным портретом. Дежурный милиционер утверждает, что этот молодой человек и есть разыскиваемый. Корта выпрямился. От его утренней меланхолии не осталось и следа.

— Проверить в билетных кассах вокзалов, на какие направления продано больше всего билетов, — приказал он.

— Проверяли, — ответил голос в трубке. — На Мазурские

острова. Сейчас начинается период отпусков. Ну а на другие направления продано по два-три билета.

Корта энергично застегнул пуговицы мундира. Габлер понял, что настало время решительных действий.

— Поручик! — сказал Корта.

— Слушаюсь! — Габлер невольно вытянулся в струнку.

— Возьмите двух-трех людей и поезжайте на Мазуры. Как следует прочешите зону отдыха вокруг озер. Проверьте все закоулки. Он с девушкой. Значит, будет искать одиночества, безлюдных мест. Обратите внимание на те кемпинги, что на отшибе. Все районные отделения на Мазурах поставим на ноги, но я хотел бы все-таки, чтобы вы были там, на месте.

Габлер с шумом закрывал свой стол. На пол летели карандаши, линейки, кнопки.

«Влохи? — думал капитан. — Очки нашли в электричке. Снова Влохи».

Он разыскал сообщение об исчезновении студента третьего курса Варшавского университета. Описание жильца, данное квартирной хозяйкой, совпадало со словесным портретом Хирурга. «А рост? Возраст? — задумался Корта. — Брюнет. Надо будет найти его однокурсников. И сейчас же».

Он вызвал сержанта Кирилко и послал его в ректорат университета.

ГЛАВА 15

„Сельская идиллия», — подумал Анджей и повернулся на другой бок. Он лежал на одеяле, расстеленном для него Агнешкой в саду под яблоней.

«Однако она не обманула меня, рассказывая о саде, — лениво думал он. — И вообще она славная девушка. А отец ее вовсе не глуп, даже, пожалуй, по-крестьянски хитроват. Могу поспорить, что у них в кубышке есть еще кое-что, помимо золотого портсигара, который я подарил. Они стонут, жалуются: налоги, доставка, цены, но еда у них такая, какой варшавскому студенту и не снилось».

Солнце поднималось все выше, и тень от яблони сокращалась. Анджей встал, подтянул одеяло к самому стволу и, опершись спиной о дерево, устроился поудобнее.

«Надо же! Лето наступило, — подумал он. — А я и не заметил, как окончилась майская благодать. Лето. Наше польское лето. Урожайное, плодоносное».

В траве прыгали кузнечики — в саду еще не косили. Совсем недавно, в Гдыне, Анджей и представить себе не мог, что проведенные в глухой деревушке два дня подействуют на него как самое лучшее лекарство. Ограбление и весь последующий кошмар были так далеки, будто миновали месяцы. Даже звук выстрела на Хожей, преследовавший днем и ночью, перестал грезиться ему. Словно туманная пелена отделила его от прошлого, которое предстало перед ним уже не с такой остротой. Исчезло нервное напряжение. Эта девушка, Агнешка, даже не сознавая, какую роль ей отвели, стала для него убежищем от самого себя.

«Наконец-то и я понял, что такое наблюдать себя со стороны, — думал Анджей. — Ей с ее примитивными мозгами это не дано. Слишком проста и доверчива».

Старики ничего не подозревали. Анджей еще в поезде договорился с девушкой, что она представит его родителям как своего жениха. Доказательством серьезности его намерений было золотое кольцо с бриллиантом, сверкающее на ее руке. Да и какой человек, проживший всю жизнь в деревне и тяжелым трудом зарабатывающий кусок хлеба, мог бы поверить, что такой подарок парень мог сделать при первом же знакомстве?

Агнешка часто ездила в Гдыню и Колобжег к отцовым братьям. Оба ее дяди давно покинули деревню и работали в портовых городах. Девушка злилась на отца за то, что он не часто отпускал ее в город. Анджей надеялся, что благодаря этим родственникам ему в будущем представится возможность вырваться за границу.

«Еще неизвестно, как можно использовать этих родственников, — думал он. — Ясно одно: надо отсюда бежать, и как можно скорее. Нужно немного отдохнуть, набраться сил и сматываться...»

Он отлично понимал, что ему просто необыкновенно везет. Семейство Агнешки было родом из этой местности. Они одинаково хорошо говорили по-польски и по-немецки. Их хозяйство находилось на отшибе, в десяти километрах от Выжиска. Это обстоятельство Анджея очень даже устраивало. Ни о чем лучшем в своем положении он и мечтать не мог, даже если бы знал вдоль и поперек все деревни Польши.

«Девушка поможет установить контакты, которые я пытался наладить в Гдыне. Не спеши, — сказал он себе. — У тебя еще есть время. Нужно ее хорошенько обработать. Для дела, которое ты задумал, две ночи в одной постели — слишком мало. Тише едешь — дальше будешь».

Он подарил отцу девушки золотой портсигар, а матери золотое кольцо. «Скромный подарок, — подумал он. — Кольцо потянет на тысчонку, не больше».

Если старики и были удивлены щедростью жениха дочери, то старались этого не показывать. Золото отбивает у людей охоту задавать лишние вопросы, и сомнения после таких подарков обычно рассеиваются. Родители лишь в первый день поинтересовались, где Агнешка с ним встретилась и сколько времени они знакомы. Потом мать не обращала внимания даже на скрип лестницы, когда Агнешка поздно вечером поднималась в нагретую солнцем и пахнущую самодельной деревянной мебелью комнату гостя, расположенную под покатой крышей. Подарки сделали свое дело.

«Идиллия, — снова подумал Анджей. — Сельская идиллия на чердаке, под периной, с родительским благословением. Окошко выходит в сад. Стрекочут цикады. Фарс, натуральный фарс...»

Он громко рассмеялся, вспомнив, с какой легкостью его благословили родители Агнешки. Рано утром, когда они приехали, к девушке подбежал двухлетний мальчик. Агнешка слишком порывисто бросилась к нему и на руках внесла в дом. Правда, ребенок называл ее по имени, а мамой — пожилую женщину,

мать Агнешки. Но Анджей быстро смекнул, что та слишком стара, чтобы рожать.

«Кто их там разберет? — думал он, сонно следя за полетом аиста. — В деревнях и не такие «чудеса» случаются».

Агнешка шла по саду. Он наблюдал за ней и удивлялся перемене, происшедшей в ней за эти дни. Переступив порог своего родного дома, она превратилась из скромной городской девушки в хозяйскую дочь. Только выговором и манерами она отличалась от домашних. Она следила за тем, чтобы правильно накрывали и подавали на стол, и общая питьевая кружка для воды ее теперь раздражала.

— Агнешка! Это твой ребенок? — спросил неожиданно для себя самого Анджей.

Он не мог видеть ее лица, потому что в глаза светило солнце. Та вздрогнула и тяжело, как это делают деревенские женщины, присела на мешок. Исподлобья, подозрительно посмотрела на него.

— Мой, — сказала она просто. — Да, мой. Откуда ты знаешь? Люди уже успели тебе наболтать?

«Да, — подумал он, усмехнувшись. — Разговаривать в моем положении с людьми! Только этого еще не хватало».

Когда он ложился отдыхать в саду, то устраивался так, чтобы его не было видно через забор прохожим с дороги.

— Я это сразу понял, едва вошел в дом, — улыбнулся Анджей. — Но меня не касается твоя прежняя жизнь, понимаешь?

— Потому что ты городской, — уже мягче сказала она. — Ты и представить себе не можешь, что такое деревня.

«Хорошо, что ты это понимаешь. Мне это на руку», — подумал Анджей.

— Мне очень нравится твой мальчонка! — Он перевернулся на спину. — Ты ведь не останешься здесь навсегда? — спросил равнодушно.

— Правда? — оживилась Агнешка. — Ты заберешь меня отсюда?

«И очень скоро», — подумал он.

— Решил сегодня махнуть в Выжиск, — сказал он между прочим.

— Запрягать? — спросила она, вскочив.

— Нет, нет, пожалуй, пройдусь пешочком, а то я совсем обленился. Только и делаю, что сплю да ем! — рассмеялся он. — Так и растолстеть можно.

— Тебе нужно отдохнуть. Ты ведь весь год учился, — сказала она с суровой заботливостью. — Я тоже училась два года в техникуме и жила в Гдыне, да отец помешал закончить учение. Вечно у него что-нибудь. То картошку копай, то капусту режь. Какое уж тут учение! Потом мальчик родился и полностью привязал меня к дому. Поначалу мать даже пеленок не хотела сменить. Только когда он уже стал говорить, в ней проснулось что-то человеческое. Она его по-своему любит. Да и мне посвободней стало. Так что я смогла бы с тобой уехать.

Анджей встал с одеяла. Агнешка потянула его в избу. Она поставила перед ним тарелку и чугунок с наваристым мясным супом. Потом он пил компот из общей кружки, которая так

раздражала девушку, и наблюдал, как она хлопочет вокруг него, как кормит малыша, как все ловко получается у нее.

Выйдя на дорогу, Анджей огляделся по сторонам. Он решительно воспротивился желанию Агнешки проводить его хотя бы до перекрестка и быстро пошел по дороге, засунув руки в карманы. Ему требовалось достать газеты за два последних дня. Туда и обратно — двадцать километров. Не желая обращать на себя внимания, он не останавливал попутные машины. В Выжиск Анджей пришел через два часа. Он отвык от таких длинных прогулок и очень устал.

«Обратно мне за столько времени, конечно, не вернуться...» На главной улице городка, в киоске, он купил несколько газет и был потрясен. С фотографии глядело его собственное лицо. С минуту он ощущал какую-то опустошенность. Каким образом его фотография попала в газету? Позже, прочитав текст, он сообразил, что перед ним портрет, составленный по описанию нескольких свидетелей. Анонимный. Анджей немного успокоился.

«Топорная работа, — подумал он. — Хотя какое-то сходство имеется».

Он оторвал взгляд от снимка. Кто-то стоял рядом с ним у киоска. Едва Анджей почувствовал это, его охватил ужас. Сейчас-то вот его и узнают! Впервые в жизни у него на голове волосы встали дыбом.

«У каждого милиционера этот снимок в кармане», — подумал он.

Он не смел оглянуться на человека, остановившегося рядом с ним возле киоска. Ноги стали как ватные. Он не мог сделать ни шагу. Бежать отсюда. Немедленно бежать из этого города! Но куда? Возвращаться к Агнешке нельзя! Его охватила паника. Надо срочно садиться в первый же поезд!

Человек отошел от киоска и двинулся вдоль улицы. Только тогда Анджей осмелился поглядеть ему вслед. Он никак не ожидал увидеть этот снимок в газете. Наивно считал, что грим: очки, бородка и шляпа — полностью избавит его от подобного рода сюрпризов.

Несколько успокоившись, вновь принялся рассматривать чужое и в то же время такое знакомое лицо, уставившееся на него застывшим взглядом с газетной фотографии.

«Самая слабая деталь у них — глаза, — отметил он. — Человеческие глаза наиболее точно выражают характер личности. А это не мои глаза, какие-то кукольные, неживые. Успокойся... Высоту лба они правильно определили. Но как им это удается делать?! Ведь у меня же была шляпа на голове. А губы? А подбородок? Нос прямой, похож на мой, но ведь у половины поляков прямые носы».

Мысль, продиктованная первым испугом, теперь уже казалась ему нелепой. На железнодорожном вокзале наверняка полно милиции, и у каждого милиционера его портрет.

Ноги сами понесли на хутор, к Агнешке. Он подчинился своему инстинкту. Окончательно успокоившись, понял, что комнатка на чердаке для него сейчас самое безопасное место в мире.

Он задержался на миг у витрины магазина игрушек. Заколебался. Анджей отлично понимал, как рискованно ему пока-

зываться в магазинах. В то же время нужно любой ценой завоевать расположение людей, у которых он скрывался.

Кому придет в голову, что человек в его положении может покупать детские игрушки? А с другой стороны, чужие лица в маленьких городках всегда привлекают внимание обывателей. Но игра стоила свеч.

Он купил мальчику трактор с прицепом. Продавщица не обратила на него никакого внимания, а даже, напротив, рассердилась, что он нарушил ее дремотное, ленивое состояние.

На полках магазина сидели уродливые целлулоидные куклы с вытаращенными глазами и неестественно большими головами. Взгляд этих кукол сразу напомнил ему о фотографии в газете. Он выскочил из магазина как ошпаренный. Его гнали и преследовали эти бессмысленные, мертвые кукольные глаза. По дороге Анджей смял газеты и бросил их в грязный пруд, смахивающий скорее на громадную лужу.

Малыш пришел в полный восторг от трактора. Во всех уголках дома раздавался его радостный щебет. Анджей сделал вид, что ищет газеты, купленные в Выжиске.

— Потерял? — огорчилась Агнешка. — Знаешь, а отец экономит деньги на газетах, не выписывает ни одной. Он предпочитает покупать сельскохозяйственные журналы. — Она рассмеялась. — Быть может, тебе удастся разыскать что-нибудь для чтения наверху, где еще с зимы лежат старые газеты и журналы.

Страх улетучился. Анджей был в безопасности. Он не ошибся, вернувшись сюда. «Придется здесь засидеться подольше, — подумал он. — Надо подождать, пока люди забудут. Газета живет только день. Через два-три дня никто не вспомнит об этом портрете и сообщении. Никому и в голову не придет сравнивать мое лицо с этой фотографией. Придется здесь окопаться надолго».

С этого дня Агнешка стала ему еще ближе.

ГЛАВА 16

Капитан Корта пытался понять, каков же он, этот его противник. Заурядный студент или же карьерист, которому и диплом-то нужен, чтобы как можно выше подняться по служебной лестнице...

Судя по тому, что ему удалось провести Корту и не попасться в его сети, преступник был умнее и хитрее, чем предполагал капитан в начале следствия.

Габлер еще не вернулся с Мазурских озер. Донесения от него поступали самые неутешительные. Видимо, следствие пошло по неверному пути. Хирург поехал, вероятно, совсем в другое место. Одному или с девушкой, но ему удалось вырваться из почти уже сомкнувшегося кольца. Областные и районные отделения милиции разыскивали его в деревнях и городках, куда в ту ночь в Гдыне были проданы билеты. Территория розыска расширялась, вместо того чтобы сужаться. Хирург выиграл время, получил еще одну передышку, а капитан Корта снова сидел перед картой Польши и ломал голову, куда мог запропаститься преступник.

«Ну ничего, не так все плохо, — подумал Корта. — Мальчишка стремится к морю. Рано или поздно он вынырнет где-нибудь в порту. Тут надо быть все время начеку!»

Дело Хирурга захватило Корту гораздо больше, чем он ожидал. Начался настоящий поединок между капитаном и ловким преступником. Одно из двух: или это очень хитрый противник, или же ему просто необыкновенно везет, что бывает особенно часто с новичками...

— Когда вы последний раз видели Лехоня? — спросил он громко.

Студент, которого сержант Кирилко привел из университета по поручению Корты, пожал плечами.

— Каждый день я его видел. До самого семестра.

— А ваш приятель... Как его зовут? — спросил Корта, словно припоминая.

— А! Кузнечик! — невольно воскликнул студент и сразу смешался, пожалев о своей несдержанности. Но последнее могло капитану просто показаться.

— Кузнечик? — удивился Корта. Он низко наклонился над записью Кирилко. — Казимеж Лясковский, — прочитал он.

— Да, а Кузнечик — его прозвище, — пояснил студент. — Он и в самом деле похож на кузнечика. Вот мы на курсе и прозвали его так. Я не знаю, когда он последний раз видел Лехоня. Лучше вы сами у него спросите.

Корту не покидало ощущение, что студент старается увильнуть от откровенного разговора.

— Вы ведь все трое друзья, не правда ли?

— Да как вам сказать... — ответил Зигмунд Краль. — Мы в одной группе и часто занимаемся вместе. Что до меня, то я не люблю, когда кто-то сует нос в мои дела, и сам не лезу в чужие. Конечно, мы виделись не только на занятиях. Бывает, поможешь человеку устроиться репетитором, а иногда и своими уроками поделишься, если не успеваешь справиться. Иногда по воскресеньям мы ходили вместе пить пиво на Залив. Но то, о чем вы думаете... С этим ведь давно покончено, правда?

«Может быть, — подумал Корта, — может быть, ты и прав или хочешь таким образом запутать меня».

— А как вы планировали провести летние каникулы? Не было ли у вас задумки пойти вместе в поход, а?

— Нет, у Лехоня родители в провинции. Он всегда к ним ездит летом. Мы думали, что и на этот раз он хотел поехать к старикам.

— Вы знакомы с его девушкой? — спросил Корта таким тоном, как будто точно знал, что у Лехоня есть девушка, и располагал о ней самыми подробными сведениями.

— Я ее видел пару раз, — ответил Зигмунд Краль. — Мы обычно знакомим друг друга с теми девушками, которые не представляют для нас особого интереса. Лехонь же был влюблен, смертельно влюблен. Такую девушку я бы и сам не стал никому показывать. И Лехонь так делал.

— Фамилия этой девушки? — резко спросил Корта. Пусть студент поймет, где он находится. Это допрос, а не приятельская болтовня. Он решил сменить метод допроса, так как предыдущий оказался малодейственным.

Зигмунд Краль поднял глаза на капитана. В них не было ни смущения, ни удивления. «Все в порядке, — говорили его глаза. — И твой тон мне понятен. Ты на своем месте, а я на своем».

— Я не знаю ее фамилии, — спокойно ответил он. — А зовут ее Катарина.

— Адрес?

— Я не знаю, где она живет, — ответил студент. — Лехонь никогда об этом не говорил и был прав.

Корта чувствовал, как в нем постепенно поднимается волна раздражения, но показывать это он не хотел и не имел права. Никак не мог понять, откуда берется у него злость на этого парня. Казалось, все просто. Приятель студента вышел из дому и не вернулся. Студент не знает, где тот находится, и не сует носа в личную жизнь товарища.

«Кажется, мне становится ясно, почему я так к нему цепляюсь. Вся она такая, современная молодежь. Хитрые бестии. Непробиваемые. Они замыкаются в свой отдельный мирок, и черта с два пробьешь эту броню».

Когда капитан понял причину раздражения, то сразу же успокоился. К нему вернулось критическое отношение к себе и объективный взгляд на молодого человека. Зигмунд Краль показался ему в конце концов совершенно обычным студентом, у которого совсем нелегкая жизнь.

«В свое время нас приглашали учиться, — подумал он. — Носились с нами, как с писаной торбой, впихивали в голову знания — только учись. В стране была острая нехватка квалифицированных специалистов. Мы начинали учиться без конкуренции».

— А какова ваша версия? Куда мог пропасть ваш приятель? — спросил он.

— А почему, собственно, пропал? — удивился студент.

Корта рассмеялся.

— Видите ли, к нам поступают различные заявления, на которые мы должны отвечать.

— Понимаю, — согласился студент. — Но ведь все очень просто: взял рюкзак и отправился с девушкой куда-нибудь в горы. Я же вам говорю, что он влюбился в эту девушку по уши и скрывается ото всех.

«Я и без тебя знаю, что твой друг скрывается, мой милый, — подумал Корта, — но этого мне, к сожалению, совсем недостаточно».

— Ну хорошо, предположим, человек куда-то уезжает на каникулы. Но хоть кому-то: квартирной хозяйке, дворнику, родным, наконец, он должен сказать, куда он направляется, — заметил Корта с еле уловимой иронией.

Студент мгновенно подхватил эту мысль:

— Знаете, что очень неприятно, когда над вами вечно что-то висит. Я и сам мечтаю не отчитываться, чем займусь завтра или через месяц. Это мечта моей жизни, правда! Думаю, что Кузнечика и Лехоня тоже...

Когда Зигмунд Краль ушел, Корта почувствовал усталость.

— Кирилко! — крикнул он. — Вы уже допросили эту Цикаду?

— Какую Цикаду, товарищ капитан?

— Ну этого Кузнечика, — буркнул Корта и, немного помолчав, спросил: — Есть еще какие-нибудь новости?

— И есть и нет, — сказал сержант. — Сейчас каникулы. Нужно подождать, товарищ капитан. Может, он объявится на какой-нибудь туристской базе.

Деканат дал Лехоню очень хорошую характеристику. Все экзамены сданы вовремя, никаких задолженностей. Корта прошелся по комнате, взглянул в окно. На улице был яркий, солнечный день. «Я сижу здесь, в этой конуре, веду умные разговоры со студентами, а бандит лежит где-нибудь на травке с девушкой. Ну разве это справедливо?»

У входа в управление он увидел Зигмунда Краля. Через минуту к тому подошел Кузнечик. Лехонь, наверное, очень похож на них. Молодые люди, защищающие свой внутренний мир и восстающие против любого вмешательства.

«Черт побери! Ведь и мы в свое время горой стояли друг за друга и свято верили в непогрешимость товарищей...»

Зигмунд Краль обернулся. Здание управления уже почти скрылось из глаз — виднелась только башенка на крыше.

— Ну и что? — спросил Кузнечик.

— Они его еще не сцапали, — ответил Зигмунд.

— А ты уверен, что это он? — усомнился Кузнечик.

— А кто? Святой Николай? Черт бы его взял! Чуть не втянул нас в такое дело. Они теперь покоя не дадут, будут все вынюхивать.

— Да брось ты! — махнул рукой Кузнечик. — Они и понятия не имеют, что Лехонь и грабитель одно и то же лицо. И ничего они не узнают. Ключ в наших руках, а мы его утопили. В Висле! — рассмеялся он. — И никто тебя ни о чем не будет больше спрашивать. Успокойся ради бога.

Зигмунд Краль поклялся себе, что, когда кончит учиться, обязательно уедет из Варшавы на какую-нибудь новостройку и навсегда забудет об этой проклятой неделе, которая могла перевернуть всю его жизнь.

ГЛАВА 17

Агнешка открыла окно. В комнату заглянули мальвы на упругих высоких стеблях, похожие на любопытных кумушек. Анджей рассмеялся.

— Чего это ты развеселился? — спросила девушка.

Анджей сладко потянулся. Он уже довольно свободно чувствовал себя в этой семье. Бродил по нижним комнатам, валялся на диване. В окне он увидел отца Агнешки, запрягающего лошадь в телегу. Рядом, возле дивана, играл мальчишка, то и дело дергая Анджея за рукав. Анджей терпеливо распутывал веревочку от трактора, когда случались «дорожные аварии»...

Раньше он никогда не задумывался о своем отношении к детям. Не знал, любит их или нет. Сейчас пришел к выводу, что относится к ним довольно терпимо.

На дворе кто-то поздоровался с хозяином. Анджей насторожился. Визиты соседей были ему неприятны. Правда, такое

случалось довольно редко, так как хозяйства располагались далеко друг от друга. Лехонь небрежно приподнялся на локте и выглянул в окошко. Милиционер ставил мотоцикл к стене сарая. Анджей увидел, что хозяин наклонил голову и стал похож на быка, который собирается отразить любое нападение. Анджей весь превратился в слух. В голове мелькали лихорадочные мысли: оставаться здесь или спрятаться наверху? Он не знал, что сделает старик: пригласит милиционера в дом или же будет беседовать во дворе. Видно было, что хозяин не оказывает особенного почтения представителю власти. Старик стоял около лошади, крепко сжимая в кулаке вожжи, и не очень любезно ответил на приветствие милиционера. Лехонь затаился. Агнешка гремела на кухне кастрюлями. «Она готовит обед и выйдет нескоро, — думал Анджей. — Мать пошла на луг доить корову, а это довольно далеко от дома».

Милиционер вынул платок и вытер потный лоб. Солнце стояло в зените, и участковому было очень жарко в мундире, застегнутом на все пуговицы, как и положено человеку, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.

— Здесь в последнее время никто чужой не появлялся? — спросил он. — Мы ищем одного отдыхающего из Варшавы.

Хозяин поднял голову. Лошадь, обеспокоенная присутствием чужого человека, испуганно дернула мордой.

— Тпру-у... скотина! — осадил ее старик. — Я с нею еще с жеребенком намучился. Нервная очень. Подождите минутку, отведу в стойло, а то не даст спокойно поговорить.

Старик говорил нарочно медленно и нескладно. Несмотря на душивший страх, Лехонь понял, что старик притворяется. Когда хотел, тот выражался гладко и логично. Секунды, как капли раскаленного олова, падали на Анджея. Старик долго не возвращался из конюшни. Анджей знал, что люди в деревне все любят делать не спеша.

Милиционер сел на колоду, на которой рубили дрова, прямо напротив заросшего мальвами окна, оглядел двор и задумчиво уставился на мальвы. Анджей, затаив дыхание, втиснулся в диван. Он слышал медленные шаги старика.

— Ворюгу ищете или политического? — спросил тот, подходя к милиционеру.

— Какого там политического! Запрос пришел из Варшавы. Пропал молодой парень. Вот и ищем.

«Не хочет вспугнуть старика, осторожно подходит, — отметил Лехонь. — Знает, с кем имеет дело».

— Так что, никто к вам чужой не заглядывал? Может быть, у соседей кто-нибудь снял комнату на лето?

— Я не знаю, что там у других делается, — уклончиво ответил старик.

— Ну хорошо, — согласился милиционер. — Я только спрашиваю, не видали ли вы кого-нибудь на дороге? Может, проезжал кто-нибудь?

— Тут мало кто ездит, — сказал старик. — Дорога здесь, сами знаете, какая.

— И никто не интересовался комнатой? — удивился милиционер. — Вы ведь каждое лето кому-нибудь сдаете.

— Сдавать-то сдаем, да пока никого нет... Может, в июле... Многие в июле берут отпуск...

— Так, говорите, никого не видели? — настойчиво повторил милиционер вопрос, встал с колоды, одернул мундир. — Как только кого заметите, сразу дайте нам знать. Сейчас же! — строго прибавил он.

Милиционер вывел мотоцикл за ворота. Старик проводил его. Они стояли рядом. Вся поза старика выражала нетерпение: когда, наконец, представитель власти уберется с его собственного участка? Милиционер завел разговор на общие темы:

— Как в этом году урожай? По-моему, неплохой.

Старик сплюнул себе под ноги:

— А я знаю, какой будет урожай? Вот когда ссыплю зерно в амбар, тогда и скажу — хороший или плохой. Что тут загадывать! Град выпадет или что другое случится... Вот и останешься на бобах.

Милиционер искренне рассмеялся:

— Дожди в мае были что надо, стебли стоят прямо, колос налитой. Уже года два я не видел такой красоты.

Он снова повернулся к окну. Анджей упал на диван. Рубашка прилипла к спине от холодного пота.

— Не затеняют вам мальвы свет в избе? — услышал он голос милиционера.

— И пусть затеняют, — ответил старик, — летом очень приятно, когда в комнате прохладно.

Милиционер завел мотоцикл. Лехонь приподнялся. Ему показалось, что он целую вечность пролежал ничком на диване, закрывая руками голову. Теперь он сел. Старик направился к дому. «Он не должен застать меня здесь, — промелькнуло в голове Лехоня. — Надо сделать вид, что я ничего не видел и не слышал».

На цыпочках двинулся к лестнице, ведущей на чердак. Но он не успел добраться до двери своей комнатки.

— Агнешка! — донесся голос старика снизу. — Где Анджей?

Лехонь прижался к стене. В темноте маленького коридорчика почти ничего не было видно.

— Не знаю, — ответила Агнешка, — наверное, в саду. Он любит лежать под старой яблоней.

— Милиция тут что-то крутится, — озабоченно сказал старик дочери.

— А чего они хотят?

— Мне кажется, какого-то бандита ищут.

— У нас?! — удивилась девушка. — Тут ведь спокойно, ни о чем таком мы даже не слышали.

— С Варшавы кого-то гонят.

— Никого чужого вроде здесь не было. Ты видал кого-нибудь чужого?

«Боже мой, — подумал Анджей, — как слепы люди!»

Несмотря на то что это принесло ему спасение, он не переставал удивляться наивности людей. Он бесшумно проскользнул в комнатку, поднял матрац и вынул из-под него ценности.

«Надо купить папку для драгоценностей при первой же возможности. Пора отсюда смываться, но не сегодня и не завтра... Даже наивность Агнешки имеет свои границы. Где бы спрятать этот узелок?»

Он как бы заново оглядел комнату. Простая деревенская ме-

бель, стены оштукатурены и выбелены. Нет никаких закоулков. Анджей положил узелок на прежнее место, нащупал в соломе пистолет и с облегчением вздохнул: никто из домашних его не подозревал. Лег на кровать. Когда Агнешка будет разыскивать его к обеду, он сделает вид, что все утро проспал. Окно комнатки выходило в сад, и Анджей не мог видеть, что делалось во дворе.

ГЛАВА 18

Ей не спалось, Анджей чувствовал, как слегка вздрагивают ресницы, касаясь его плеча. По ночам наверху было душно.

— Жарко? — спросил он.

— Ага. Ты тоже не спишь?

— Я думаю, — буркнул Анджей. — И что у нас тут за жизнь? Никаких перспектив. Ну, окончу я университет. В лучшем случае буду зарабатывать три тысячи злотых в месяц. Это после стольких-то трудов!

Хотя Агнешка молчала, он все же чувствовал, что слова его попадают в цель.

— А что ты изучаешь? — вдруг спросила она.

— Математику, — ответил Анджей не задумываясь.

Ей это ничего не говорило, потому что в ее представлении университет был чем-то вроде школы.

— Ох, и наработаюсь я летом, — вздохнула она. — В этом году пшеница уродилась как никогда, — добавила она с затаенным недовольством.

— А ты могла бы не работать на уборке урожая, — заметил он. Агнешка подняла голову с его плеча. — Только летом можно было бы это сделать...

— Что сделать?

— А переехать на другую сторону. За границу. По морю, — сказал он так естественно, словно предложил проехаться на телеге до Выжиска.

— Это опасно, — захихикала она. — Мой дядя, который живет в Колобжеге, рассказывал о таких любителях. Их часто снимают с кораблей.

— Видно, денег жалеют, — заметил Анджей. — За такие прогулки нужно платить как следует.

— А как же учеба? — спросила она.

— Ты же знаешь, как на Западе платят людям со специальным образованием. Фактически у меня уже есть полдиплома, даже больше. Но и половины хватит, чтобы стать там техником.

— Я знаю, — сказала она. — У нас тут один уехал. Он был техником. То ли по канализации, то ли по проводке. Что-то в этом духе. Сейчас работает в Стокгольме. У него уже есть машина и вилла. Он присылал семье фотографии.

— А ты поехала бы со мной? Одному не хочется. Без близкого человека там очень одиноко. Я уже давно об этом думал, да все как-то не складывалось. А теперь точно решил. Мы ведь вдвоем?

— Там много красивых женщин. Ты бы быстро утешился.

Его охватило волнение. С ним это происходило всегда, как

только план, существовавший в его воображении, начинал воплощаться в жизнь. Анджей знал, что обладает даром убеждения. Ведь только благодаря этой способности он лежал сейчас в постели с девушкой, а не на тюремной койке.

Он повернул к Агнешке лицо. Инстинкт подсказывал ему, как надо действовать в данный момент. Вот и теперь без всякого желания он обнял ее и крепко прижал к груди. Она же была счастлива в своем чувстве и доверчиво тянулась к нему. Своей открытостью и искренностью она словно стремилась наверстать упущенное, отнятое у нее жизнью в глухой усадьбе. Постоянные упреки родителей, непрерывный труд... Любовью она бросала вызов серой, скучной жизни. Наконец и она кому-то нужна! К ней вернулась вера в себя. Он же в эту минуту ощущал лишь усталость, пустоту и пресыщенность.

— Ты с ума сошел! — шептала она. — Успокойся.

Анджей бессильно откинулся на подушки. Все это можно было скорее назвать страданием, чем наслаждением.

«Не позволяй ей остыть, — напряженно думал он. — Иначе все пропало. Боже, как жарко! Как заставить себя к ней прикоснуться? Но надо... Господи, я больше не могу...»

— Завтра поедем к дяде в Колобжег, — сказал он. — Нам нельзя медлить. Лето скоро кончится. Иначе мы с тобой расстанемся на всю зиму. Мы же не сможем жить вместе у меня в общежитии.

Анджей чувствовал ее горячее дыхание. Она смертельно боялась потерять его.

«Хорошо я сыграл! — подумал он. — И, по-моему, очень натурально».

— Ладно, — сказала она, сдаваясь. — Я отвезу тебя к дяде. Но ты должен что-нибудь придумать, потому что мать ни с того ни с сего меня не отпустит. Не хочу, чтобы ты уехал на зиму. Найдешь себе другую и не вернешься.

«Скажу старикам, что мы поехали покупать обручальные кольца», — решил Анджей.

Продолжение на стр. 225

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ТОВАРИЩ

...ПРЕКРАСНА

ОДНАЖДЫ к всемирно известному генетику академику Николаю Петровичу Дубинину пришли историки. Изучая фотолетопись жизни Владимира Ильича Ленина, они обнаружили весьма любопытную фотографию: Владимира Ильича, сидящего в открытом автомобиле, приветствуют жители столицы и среди них — мальчонка-беспризорник... Специальная экспертиза установила: мальчик на снимке и академик Дубинин — одно и то же лицо. И Николай Петрович подтвердил это.

Встретившись с академиком, мы спросили:

— Как вы оказались в Москве в 1919 году?

Николай Петрович рассказал о событиях того далекого времени.

ЕЩЕ ГРЕМЕЛА гражданская война. Над многострадальной Самарской губернией металось пламя боев. Лютовали, разгоняя Советы, белочехи. Отец Коли Дубинина ушел с большевиками — ему, батраку, было давно ясно: нужно драться за власть Советов. Он стал красным командиром, служил на флоте. Мать и шестеро детей ждали от него весточек. Однажды весточка пришла, и была она черной: отец пал смертью храбрых...

В Поволжье свирепствовал голод, кое-где еще действовали белые банды. Попрощавшись с матерью, Николай подался в Москву, к Ленину: верил он, что Ленин ему поможет... Он добрался до столицы в канун первомайского праздника.

Первого мая Николай пришел на Красную площадь: говорили, что будет выступать Владимир Ильич.

Все остальное он сейчас воспринимает как чудесный сон. Члены Советского правительства, и среди них Ильич, стояли на импровизированной трибуне. Мимо шли рабочие колонны. Проехал авто-

...ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖИ ВООБЩЕ И СОЮЗОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ВСЯКИХ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧАСТНОСТИ МОЖНО БЫЛО БЫ ВЫРАЗИТЬ ОДНИМ СЛОВОМ: ЗАДАЧА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ.

В. И. ЛЕНИН

МОЛОДОСТЬ!

мобиль «Центропечати». На нем был установлен «рог изобилия», из которого сыпались брошюры, газеты, журналы... Двигались красные самокатчики. Над площадью гремела песня: «Это есть наш последний и решительный бой...»

Но вот Красная площадь замерла. Ленин обратился к народу с речью. Он говорил о том, что молодое поколение увидит расцвет коммунизма, что дети, участвующие в первом празднике, празднике освобожденного труда, в полной мере воспользуются плодами трудов революционеров и понесенных ими жертв.

— Внуки наши, как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя, — говорил Ленин. — С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

У Николая захватило дыхание: ведь это же о нем, крестьянском пареньке, говорил Ленин. Конечно, он будет строить новое, пусть его только научат, ведь за этим он и приехал в Москву!

А потом Ильич сел в машину и словно специально проехал туда, где в группе москвичей стоял Коля Дубинин. Все вокруг радостно заулыбались, Ильич приветствовал людей на площади, и Коля инстинктивно потянулся навстречу доброму, мудрому человеку... Вот это мгновение и остановила навечно фотопластинка. Так был сделан снимок, который десятилетия спустя напомнил ученому и

Академик Н. П. Дубинин

его беспризорное голодное детство, и тот светлый майский день, когда ему посчастливилось слышать и видеть Ленина...

Поздно вечером Николай вместе с такими же беспризорниками, как и он сам, устроился в переулке неподалеку от Красной площади у котла со смолой. А когда к ним подошел человек в полувоенной форме, беспризорники с криком «Чека!» разлетелись в разные стороны... Николай остался на месте. Он и сам не знал, почему не убежал с дружками, — скорее всего надоело скитаться.

— Зовут меня Чванов, — сказал подошедший. — А тебя как! Дубинин Николай! Из-под Самары!.. Так. Вот и познакомились. Ты, Коля, чекистов не бойся, пусть нас буржуи боятся...

Он скупо, но точно и выразительно начал рассказывать мальчонке о чекистах, которым Ленин поручил заботу о таких вот бездомных детях...

С этой ночи Николай больше не спал под открытым небом. Чванов определил его в детский дом. А на прощанье сказал:

— Советую тебе, Кольша, — учись! Это про таких, как ты, говорил вчера товарищ Ленин. В счастливое время будете жить... Завидую вам. Ну прощай, Коля Дубинин!

Затихала буря гражданской войны. Страна приступала к осуществлению плана ГОЭЛРО, названного Лениным второй программой партии. И когда на III съезде комсомола Ильич сказал, что «задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться», Дубинин знал — это относится и к нему: в октябре двадцатого он был уже комсомольцем.

Нет, не легким был путь в страну знаний в ту годину. Бывало, урок на рабочем факультете, где он учился, прерывал сигнал тревоги. И вот уже детдомовцы превращались в чоновцев — бойцов частей особого назначения. Партия, комсомол посылали их на тот участок, где надо было защищать рабоче-крестьянскую власть.

Не раз побывал Николай в селах с продотрядом. Сам из деревни, он легко находил путь к крестьянским сердцам, рассказывал о своей семье, о голоде в Поволжье, о том, как трудно без хлеба рабочему человеку в городе... Крестьянам нравились его непосредственность, остроумие, убежденность. Но бывало, что кулаки встречали продотряд обрезами. И тогда приходилось брать в руки оружие.

...Представляя себе то далекое героическое время, можно легко создать образ этакого «железного юноши» в кожаной комиссарской тужурке. Нет, Дубинин был иным. Опытного «красного агитатора» знали как «заводилу и выдумщика», бывало, парни с девчатами и старики специально приходили на самодеятельные вечера, когда выступал этот неистощимый на шутки рабфаковец... Впрочем, и в серьезности отказать ему было нельзя. Он знал свое место в борьбе, он много читал, следуя завету Ильича: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».

Однажды Дубинин встретился с книгой Эрнста Геккеля «Мировые загадки», которую в свое время в работе «Материализм и эмпириокритицизм» высоко оценил Ленин. Одна из загадок особенно взволновала его, крестьянского сына. Отчего каждое существо так упорно повторяет себя в потомстве!

От Геккеля Дубинин перешел к книгам Дарвина. Он узнал, что все виды образовались в процессе эволюции, естественного развития. Но и у Дарвина он не нашел ответа, как возникли разные виды: если животное порождает лишь подобное себе, то откуда такое множество в мире растений и животных. Любой признак, возникнув, должен был бы раствориться в последующих поколениях. Дубинин перерыл всю рабфаковскую библиотеку, просмотрел десятки, сотни книг и статей, но — увы! — ответа не было.

Товарищи по детдому давно уже обратили внимание на вдумчивого и упорного юношу. Однажды его вызвали в комитет комсомола:

— Вот что, друг, тебе надо серьезно учиться. Мы получили одну комсомольскую путевку в Московский университет. Решили отдать ее тебе.

Николай даже растерялся от такого предложения и робко спросил:

— Смогу ли я!

— Сможешь. Мы за тебя ручаемся.

С пачкой книг в руках, с комсомольской путевкой в кармане он покинул детдом.

Экзамены в университет Дубинин сдал блестяще. Успешным было и собеседование с профессорами. Но в приеме Дубинину отказали: юноше было тогда только 16 лет.

Николай вскипел: а бить кулаков он не молод! А драться с бандами не молод! Он пришел в свой, красный университет и добьется, чтобы его оставили учиться!

Дубинин пошел в комитет комсомола. В то время — шел 1923 год — комната комитета комсомола в старом здании на Моховой чем-то напоминала боевой штаб. Беспрерывно трещал телефон, входили и выходили парни в гимнастерках и бушлатах, а комсомольский секретарь в кожанке был удивительно похож на комиссара.

— Что, молод! — сказал он, просматривая ведомость Дубинина. — Ну ничего, добьемся — примут. А пока вот тебе направление — пойдешь в общежитие, устроишься и готовься, с сентября учеба.

Университет напоминал Дубинину крепость, которую надо взять. Над входом в здание комсомольцы вывесили лозунг «Даешь науку!». Но когда он вошел в здание — показалось, попал в храм: поражали огромные аудитории, смущали седобородые профессора... Революция многое изменила, никто уже не смел говорить открыто, что вот, мол, пришли в науку «кухаркины дети», но многим преподавателям, проработавшим здесь не один десяток лет, не так-то просто было общаться со вчерашними солдатами, детьми рабочих и крестьян, бывшими беспризорниками... Почему-то особенно сильно смущали Николая статуи великих ученых. «Они наблюдали за нами очень внимательно, ведь мы были новыми людьми в этом храме знаний, без роду, без племени, — вспоминает Николай Петрович Дубинин. — Нас привела сюда ярость свободы, жажда знать и уметь. Хватит ли этого!»

Он учился яростно и самозабвенно. Он читал Дарвина и Менде-

Окончание на стр. 214

РОМАНТИКА В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ

ОДНАЖДЫ выступал на металлическом заводе поэт. Читал стихи. Вдруг вопрос:

— Товарищ поэт, а правда, что вы токарь?

— Правда. Двадцать пять лет у станка.

— Ой, что-то не верится. И руки белые, и костюм модный...

— Через четыре часа у меня смена. Приходите на ЛОМО, в пятьдесят девятый цех, сами увидите...

Пришли. Увидели: стоит человек у станка, а рядом, в тумбочке, вместе с микрометром, резцами и сверлами — стихи.

ВПЕРВЫЕ встретившись с Семеном Трескуновым, я никак не мог отделаться от ощущения, что знаю своего собеседника давным-давно. Впрочем, так оно, наверное, и есть, ведь сколько раз то в газете, то в журнале, а то и в отдельной книжке читал его стихи. А в этих стихах, в общем-то, вся жизнь ленинградского мальчишки, блокадника, детдомовца, ставшего классным токарем. И еще — ставшего поэтом.

Стихи возникли как-то внезапно, когда после «юнкерсов», бомбоубежищ и душного трюма на буксире «Чапаев», который приютил маленьких пассажиров, они оказались на Большой земле. «Почему Большая, — недоумевал Сенька. — Ведь Ленинград в сто раз больше этого села, а может быть, и в тысячу...» Война здесь почти не чувствовалась. Только вот мужчин совсем не было, один хромой дед Игнат. На ярославской земле вовсю тогда работало лето, и веселые беззаботные березы водили вокруг их школы белые хороводы. Сенька убегал к березам и писал там письма в далекий город, где умерли от голода отец и брат. Письма почему-то получались в стихах. Еще он писал частушки, которые заказывал дед Игнат.

За частушки следовал гонорар — кусок ржаного пирога с картошкой. Однажды Сенька прибежал в Игнатову избу:

— Сейчас радио передало... Вот сочинил...

Ребята, Киев с нами!
Мы все горды бойцами.
Фашисты кажут спину
И драпают к Берлину.

Игнат молчал. Потом подошел к столу, на котором лежал ржаной пирог, занес нож...

— Не надо! — крикнул Сенька. — Не надо! Это без гонорара!..

Пришло время, и он написал стихи про то, что нет больше проклятой блокады и можно возвращаться домой. Домой вернулся рабочим человеком, потому что его уже ждали в ремесленном училище при оптико-механическом заводе.

И начались дни, когда смену за сменой простаивал он в цехе на ящике: до станка еще не дорос. И начались вечера, когда промерзший цех, переоборудованный в школьный класс, встречал его алгебраическими уравнениями и химическими формулами, а он, как ни крепился, как ни тер глаза, к последнему часу все равно засыпал. И потом удивлялся и радовался, что так легко провел учительницу, не зная, что никого он не провел, что просто «строгая физичка старалась не смотреть туда, где спал мальчишка, с шеей тоненькой, как спичка...».

И еще он как-то находил время, чтобы писать. Но один маститый литератор, самый первый, которого Семен встретил в жизни, посмотрел стихи и посоветовал:

— Ты сейчас меньше пиши, ты сейчас больше читай.

Семен не обиделся, потому что тоже чувствовал: надо много знать, чтобы сказать людям что-то свое. Он помнил про это всякий раз, когда шел домой после смены, помнил и потом — в армии.

...Глубокие окопы для орудий,
Всю ночь мы их долбили до утра.
Был мерзлый грунт, и каждый шаг был труден,
Тут не возьмешь на громкое «ура!».
Морозный ветер обжигал нам лица,
И руки тяжелели от труда.
Подбадривал нас взводный: «Пригодится», —
И сам же думал: «Хоть бы никогда».

Пришел конец службе, и секретарь комсомольской организации дивизиона лейтенант Трескунов подал рапорт: «Хочу на свой завод, токарем».

Если у вас есть фотоаппарат «Смена» или кинокамера «Лада», то знайте, что они рождались на Ленинградском оптико-механическом объединении, в этом цехе. Здесь выпускают формы для литья под давлением и для пластмасс. Слесарь собирает форму из готовых деталей. Но редко бывает так, чтобы все детали сразу соединились идеально. Поэтому нужны и токарь и фрезеровщик, которые могут мгновенно что-то исправить, что-то подогнать. Трескунов — такой токарь. У станка всегда очередь. Один держит пуансон:

— Сеня, подрежь буртик, с торца две десятки...

Другой протягивает втулку:

— До конца не садится, сделай радиус полтора...

И он подрезает, подтачивает... Каждый миг сулит новую задачу, ведь цех-то экспериментальный. И время спрессовано, потому что все торопятся, всем надо «срочно». Много идет у него и каленых деталей, а это совсем не то, что обрабатывать сырую сталь. Если деталь после закалки — над станком веер огня, и тогда впрямую подтверждается истина, что, мол, «Сеня работает с огоньком».

Хорошо, что дома — телефон. Сколько раз, бывало, в конце дня подойдет мастер:

— Можешь остаться? Слесарь выходит в вечер, будет собирать форму...

А дома ждут. Надо опять звонить: «Нонна, понимаешь...» Она уже по тону чувствует: опять! И обида: пропадают билеты на «Жизнь Сент-Экзюпери». Ему тоже обидно, но, если бы отказался, пошел в театр, все равно радости бы не было, потому что, случалось, отказывался, а потом сидел на ЛИТО или в кино, и на душе было прескверно.

Десять лет назад в числе самых первых ему присвоили звание ударника коммунистического труда, каждый год он его подтверждает. Судя по премиям, план перевыполняет регулярно, но насколько — не имеет представления. Есть у него и ученики — Паша Саенко кое в чем даже обогнал учителя: и станок у него побольше, и детали крупногабаритные. Но Трескунов не завистливый. Это знают все. Вот лихо сочинил очерк для многотиражки о дружке Виталии Ковалеве, который придумал замечательную штуковину: оправку для доводки отверстий. Сам Трескунов в рационализации не силен. Как-то задумался: почему у Ковалева получается, а у меня никак? Может, Ковалеву помогает изобретать то, что он играет в шахматы? Тоже стал играть, но пока так ничего и не придумал.

ВСТАЕТ РАНО, в половине шестого. До завода добираться почти час. И пропадает там допоздна, потому что, кроме станка, дел самых разных — с избытком. Так что для стихов (не шутливых подписей в стенгазету, а именно стихов, настоящих стихов) времени наскрести трудно. Вот в Литинституте было здорово! Когда приезжал в Москву, писал без передышки. Народ у них на заочном собирался интересный: Коля Рубцов из Вологды, таганрожец Гена Сухорученко, Толя Кравченко с Донбасса... Стихи переполняли всех. Однажды будит Трескунова какой-то незнакомый парень: «Послушай... Кони в яблоках, кони в яблоках, только ветер летит за мной... Нормально?» И он тоже, случалось, будил кого-то и тоже требовал, чтобы ответили, получилось или не очень?

Получилось. Это выяснилось при защите диплома, когда Евгений Долматовский, рецензировавший творчество ленинградского токаря, сказал, что у Трескунова есть в стихах то, чему не научишься в литинституте: поэты обычно любят писать о доброте, а Трескунов о доброте не говорит ничего, но зато сами стихи его наполнены добротой к людям. Он много посвятил войне, блокаде, но нигде не повторяет то, что уже было сказано на эту тему другими. Трескунов нашел свою боль, свою судьбу...

Не знаю, что именно, какие такие строчки имел в виду маститый рецензент, говоря о доброте поэта, — мне же прежде всего вспоминаются стихи о девочке, которая приходит к его дочке. Они

играют беззаботно в свои девчоночьи игры, но когда дочка окликает его: «Папа!» — подруга вдруг смолкает. Отца у нее нет...

Тогда я пальто надеваю,
И ветер, бездомный ветер,
Резкий, непостоянный,
Становится на пути.
Мне холодно, но я знаю:
Теперь они снова играют.
У них без меня все поровну
До вечера, до девяти.

Эти строчки не выдуманы. Эти строчки — из его жизни. И герой другой миниатюры, который «всю войну точил и всю войну строгал», — тоже из его жизни, из его цеха. Не было бы этой непростой жизни — не было бы этих негладких стихов. Поэтому человек с дипломом Литературного института ни на секунду не задумался: может, оставить завод, уйти на «чистую» редакторскую работу, не зря же читал разных древних греков (а подобные советы случается слышать по десять раз на день)? Нет, такие сомнения человеку неведомы, потому что он хорошо знает, где начинается его поэзия.

Что же касается «чистой» редакторской работы, для этого у Трескунова есть заводское литературное объединение «Радуга», в котором когда-то он начинал свой поэтический путь и которым вот уже шестой год руководит сам. Не знаю, сделает ли Трескунов своих воспитанников профессиональными поэтами, но стихи резчика Баврина и шлифовщика Шилова уже печатала областная газета, распред Гольтяева и оптик Кудряшов выступали по телевидению, а с творчеством электромонтажника Иванова, мастера Макарова и инженера Ивченко познакомились радиослушатели. Если когда-то вся «Радуга» состояла из пяти-шести энтузиастов, то сейчас, когда собираются на очередном «вторнике», стулья приходится выпрашивать в соседних помещениях. Впрочем, собираются они не только в редакции многотиражки. Они приходят в заводское общежитие, и в заводскую больницу (оказывается, иногда стихи помогают не хуже лекарств), и в Союз писателей...

КОГДА-ТО он признался:

Я не геолог, я и не полярник,
Ни гор, ни рек, ни трудных переходов.
Я песню полюбил станков токарных,
Романтику прославленных заводов.
...Конечно, хорошо — тайга, полеты.
Но я к заводу накрепко привык.
Да, я романтик, но, идя с работы,
От ветра поднимаю воротник.

Внимательно перечитайте две последние строчки. В них — весь Семен: романтик, который отлично знает, что такое житейские будни, и поэтому крепко стоит на земле. Поэтому на заводе верят своему поэту. Верят и ждут новых стихов.

Лев СИДОРОВСКИЙ

ДВЕ ГРАНИ ТАЛАНТА

...По улице бежал крокодил. Он гнался за перетрусившим мальчишкой и злорадно щелкал зубами. Аллигатор был настолько уверен в успехе своего черного замысла, что совсем забыл о теории дифференциальных игр с фиксированным временем. Оголодавший хищник в пылу погони не учел, что именно из-за преимущества в скорости он представляет более инерционную систему. Это и спасло мальчика. Резко затормозив, он свернул в сторону. Крокодил проскочил мимо.

Это одна из классических задач теории игр. Математики, естественно, излагают ее менее эмоционально и, простим их равнодушие, мало заботятся о судьбе мальчика, если вдруг его настигнет пресловутый крокодил. Их интересуют чисто абстрактные ситуации, которые можно выразить рядом формул, точно таких, какие пишет в моем блокноте кандидат физико-математических наук Мария Сагайдак, объясняя суть своей диссертации.

Диссертацию Марии Сагайдак высоко оценили видные советские математики. Среди них официальные оппоненты, «экзаменовавшие» Марию на защите: член-корреспондент Академии наук СССР Н. Моисеев, члены-корреспонденты Академии наук Молдавии С. Радуцан, В. Белоусов, Ю. Перлин.

Впрочем, чему здесь удивляться? Школа, оконченная с золотой медалью; физмат Кишиневского университета («Она помешана на математике», — скажут о Марии ее сокурсники); аспирантура в Киевском институте кибернетики; стажировка в Москве, во всемирно известном институте имени академика Стеклова. И вот закономерный итог: аспирантка Института математики АН Молдавской ССР Мария Сагайдак становится кандидатом физико-математических наук.

И вполне понятно удивление корреспондентов, когда на одной из пресс-конференций, задав обычный в таких случаях вопрос о личных планах, они услышали ответ:

— Скоро буду защищать диссертацию.

— Вы искусствовед?

— Нет, я математик.

— Что, что?

— Математик я, — повторила Мария и назвала тему своей научной работы.

Дело в том, что пресс-конференция проходила не на симпозиуме в стенах научного института. Она завершала один из всесоюзных

смотров киноискусства, где первая премия была присуждена фильму режиссера Эмиля Лотяну «Это мгновение». Главную роль в этом фильме — роль очаровательной испанской девушки Ампаро —

Мария Сагайдак и Евгений Попушой.

исполняла аспирантка Мария Сагайдак. Она играла с блеском, внесла в трудный драматический образ непринужденность, естественность, обаяние, в общем, те качества, которые в полной мере присущи ей в жизни.

Итак, кино и математика. Мария успешно работает над докторской диссертацией, преподает высшую математику студентам старших курсов университета, а специальный приз на Всесоюзном кинофестивале за лучшую женскую роль — отличное доказательство успеха на втором полюсе ее увлечения. Были у Марии и другие кинороли: главные и эпизодические, менее удачные и более. Но везде поражало поэтическое видение мира, осмысленность, цельность и чистота образов.

В кино она попала, можно сказать, случайно...

Но сначала надо рассказать о ее муже — Жене Попушое. Диссертации они защитили в один день. Она в университете, он — в другом конце города — в зале заседаний ученого совета медицинского института.

Так уж получилось, что во время моей командировки в Молдавию Женя был моим постоянным гидом. С ним было интересно везде. На улицах, которые сразу же становились «похожими на

музей», на кафедре мединститута, где Женя работал; у известного поэта, к которому мы зашли в гости, и Женя тут же начал биться над подстрочным переводом его последнего стихотворения.

Лет десять назад Женя был первым секретарем Кишиневского горкома комсомола. И в городе до сих пор вспоминают, какой он был секретарь... Свет в горкоме не гас до глубокой ночи. И — это уже вряд ли совпадение — многие из тогдашних «полуночников» стали известными и в Молдавии и в стране людьми. Сейчас им — кому за тридцать, кому под сорок. Но до сих пор бывшему Жениному комсомольскому активу — знаменитой исполнительнице роли Чио-Чио-Сан Марии Биешу, другой замечательной певице Марии Кодряну, великолепному поэту Григорию Виеру и многим другим вспоминаются те годы, те комсомольские дела и увлечения, душой которых был Женя Попушой.

Была причастна к тем делам и Мария. Но, когда она радовалась первым успехам поэта и кинорежиссера Эмиля Лотяну, не приходило ей в голову, что однажды он в прескверней шем настроении зайдет в их дом, будет рассеянно листать семейный альбом, потом не сможет отвести взгляда от Марии и неожиданно назовет ее незнакомым и странным именем Ампаро.

— Что с тобой? — пожмет плечами Мария. — Какая я Ампаро?

Фильм «Это мгновение» был уже запущен в производство, а главной героини не было.

Эмиль уговаривал Женю. Потом Женя и Эмиль уговаривали Марию. В общем, дебют состоялся.

Почему люди часто не могут замкнуться в рамках одного дела? Одни собирают марки, другие строят любительские телескопы, третьи играют в народном театре. Поиск отдушины? Вряд ли. Ведь есть любимая работа, определенный круг обязанностей, среди которых вполне достаточно творческих.

По-моему, здесь другое. Боязнь, что привязанность к профессии перерастет в привычку. А это уже опасно. Привычка губит творческое начало.

Не из-за чудачества седовласый профессор идет с альпинистами в горы, токарь-универсал, постигший все тайны металла, делает по вечерам скрипки. Такие люди равно интересны и в работе, и в увлечениях. В любом деле, которому они отдают хотя бы маленькую частичку жизни, они выражают себя.

Недавно на экран вышел еще один фильм с участием Марии Сагайдак — «Земля, до востребования». Снова успех. И... отказы от новых предложений сниматься. Почему?

— Это не точно, будто работа в кино и наука не мешают друг другу, — говорит Мария. — Иногда журналисты утверждают, что я в равной мере и здесь, и там ищу себя. Математика для меня главная профессия, главное дело жизни.

И вдруг опять противоречие. Мария рассказывает о том, что обязательно снимется (во время отпуска, конечно) у молодого режиссера, дипломанта ВГИКа и талантливого парня, который никак не видит свой фильм без ее участия.

Значит, будет не только докторская диссертация, но и новые роли в кино. Видимо, мы еще не раз встретимся на экране с обаятельной Марией Сагайдак. С человеком, которому выпало в жизни счастье иметь две грани таланта, столь же замечательные, сколь не похожие друг на друга.

Ю. ЛАПИН

9 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ТАНКИСТА

ЮНОСТЬ ТВОИХ

ГАВРИЛИН ОТДАЛ танковым войскам тридцать лет жизни — то есть, практически, жизнь. В ней, как во всякой человеческой жизни, в достатке было всего — радостей и печалей, удач и пасмурных дней, тревог, неожиданностей, перекочевок из одного отдаленного гарнизона в другой — и это значило, что жизнь каждый раз начиналась как бы сначала. На все это требовалось достаточно мужества и душевной силы. То обстоятельство, что часть, которой он командует нынче, вот уже несколько лет числится неизменно отличной по всем видам подготовки, по качеству своей боевой выучки, свидетельствует, что и мужества, и душевных сил — и, значит, прежней, юношеской беззаветной преданности делу, избранному однажды и навсегда, — у него все эти годы было в достатке.

КОМАНДИРОВ

«Танковые войска — главная ударная сила сухопутных армий. Одно уже это сознание важности твоего места в строю греет душу. Но еще представь себе лавину, сметающую все на своем пути — и способную остановиться перед какой-нибудь худенькой рябиной, которая выбежала наперерез. Я это тысячу раз видел. Мне трудно объяснить, в чем тут дело, но для меня вот в этой малости — вся притягательная сила, заключенная в понятии «танковые войска». И если б можно было переиграть жизнь на начало -- я бы другой дороги не выбирал...»

Он говорит: жизнь была щедрой, не обошла ни радостью, ни печалью и потому сложилась, в общем, счастливо. Что помогало устоять в дни сомнений, которые он тоже знал, как знает

их каждый человек? Крепкое чувство товарищества объединенных одним делом, одной привязанностью людей. Без него немыслима жизнь вообще, а уж армейская и подавно. Бои не выигрывают пусть даже легендарные одиночки. Победа, в конечном счете, результат коллективный. Даже если победное знамя водружает один.

«Если я чего-то еще хочу от жизни сегодня, так только одного: чтобы и для теперешних молодых товарищество осталось на всю жизнь законом законов. Как потребность дышать».

Он говорит: каждый на земле призван исполнить свой долг. Садовник не может уйти на покой, не оставив после себя сад, ученый — открытия, которое осчастливит человечество. Высший долг солдата — обеспечить мир, единственное условие, при котором все это возможно. Ценой жизни, если иначе нельзя. К этому солдат должен быть готовым всегда.

«А потому только условно тревоги и атаки делятся на учебные и боевые. В каждую атаку надо идти так, как если она — последняя в твоей жизни и от нее зависит не только твоя собственная судьба».

Он говорит, скупо отмеряя слова, он расходует их, как патроны, и даже сейчас, когда, отрешившись от многочисленных командирских забот, он мог бы позволить себе расслабиться, Гаврилин все так же привычно сжат, как боевая пружина, и не понять, врожденное это или привычка, выработанная долгими годами командирской работы и ставшая со временем почти чертою характера. А может, он просто мысленно оглядывается сейчас назад и заново проходит весь свой путь от начала, и вся его напряженность мне только мерещится, а дело в другом, — в том, что мы, молодые, сумеем понять только когда одолеем его высоты и расстояния — если одолеем?.. А может, все дело в том, что разговор идет о молодых, делающих сегодня самые первые шаги по дороге, которую он прошел уже почти всю, — ему ведь не все равно, кто примет из его рук накопленный опыт! За себя он спокоен, он сделал все, что мог, в нынешней мощи армии есть доля его труда — по силам ли окажется груз ответственности и славы сегодняшим лейтенантам, таким и не таким, каким он был тридцать лет назад?

Только однажды за весь разговор он не то, чтобы расслабился, а приоткрылся как-то и стал оживленным и даже азартным. Речь у нас незаметно зашла о книгах — и мы выяснили, что хорошо знаем адреса одних и тех же букинистических магазинов в Москве и что в последнее время безнадежно гоняемся за одними и теми же книгами, и еще он сокрушенно вздохнул о том, что вот никак не может достать «Жизнь Арсеньева» и все не нападет на след сабанеевской книжки о жизни и ловле пресноводных рыб, и потом сказал, что, если бы позволило время, разбил бы в части уже этой весной сад, а не шпалеры скучных и пыльных в летнюю пору тополей. И сказал, неторопливо закуривая:

— Солдатом человека делает осознанная необходимость. По натуре же своей человек, насколько я могу судить из собственных наблюдений, все-таки больше садовник. Разумеется, в самом широком смысле этого слова...

СОЛНЦЕ КАРАБКАЛОСЬ вверх по колючей спине леса и поднялось, наконец, — и робким туманом-утренником растаяла легкая хмурь, затянувшая было небо. Пошло, пошло прибывать тепло в чистом сухом сосняке, и давними дождями слабо пахнуло от сизых вязких песков. И офицеры сбросили комбинезоны и, пользуясь передышкой, прилегли погреться, подтрунивая над «командирским загаром», но минуту спустя весело схватились бороться — молодые были ребята, ловки были их юношеские крепкие тела, и, если б на минуту забыть, зачем они здесь, можно было бы гадать о них что угодно. Но разом выкатился из-за песчаной гряды низкий рев мотора, пушечный ствол коротко перечеркнул горизонт, и солнце холодно и тускло сверкнуло на броне. И, мгновенно посерьезневший, пошел к танку тот, чья в этот раз была очередь — уже не узнать было его под тяжелым танковым шлемофоном. И снова щелкнул секундомером замполтех, провожая глазами грохочущее облако взметнувшейся пыли, — командиры рот сдавали очередной зачет по вождению боевых машин. Это было серьезно. Каждый из них почти назубок помнил гаврилинские слова о том, что командир должен отличаться от рядового солдата только величиной чувства ответственности, которая на нем лежит, и каждый понимал, что имел в виду Гаврилин, когда впервые сказал это — жесткий, затянутый полевыми ремнями и выглядевший так, словно им предстояло пойти с этого полигона прямо в самое пекло.

И пока танк громыхал где-то далеко впереди, ждали его возвращения, и вместе со всеми ждал старший лейтенант Николай Егорышев, двадцатишестилетний командир роты, считавшейся у Гаврилина одной из лучших и на этом основании чаще, чем другие, подвергавшейся командирским инспекциям. А Егорышев был парень горячий, из-за этой своей горячности уже обжигавшийся не раз, и как-то однажды решил он объясниться с командиром, потому что придирчивость Гаврилина показалась ему не совсем справедливой. Однако привыкший сначала самостоятельно разгадывать все возникающие «почему», скоро заметил он, что желание объясниться улетучивается в нем с той же стремительностью, с какой оно возникло. Потому что заметил, когда распекал командир соседа: выглядел командир так, словно не он, а его самого грели. И он тогда хорошо понял, что значит величина ответственности.

Теперь, ожидая, лежал Егорышев, закинув за голову руки, молчал; складка, набежавшая к переносью, делала его гораздо старше своих лет. А я подумал, что Гаврилин был, наверное, прав, когда, назвав мне это имя — Егорышев — и понимая, что я жду пояснений, добавил после паузы тем обычным своим тоном, каким диктовал приказы начальнику штаба: не мы судьбу выбираем, она вот таких счастливцев выбирает сама...

После школы Егорышев мог стать кем угодно: природа щедро с ним обошлась. Школьный математик пророчил ему устойчивое будущее — он легко брал математические барьеры, обнаруживая при этом добротные исследовательские наклонности: волю и упорство. Преподавателю литературы виделся в нем будущий толковый словесник. Физкультурник уверял, что Егорышев с его данными не подкачает и в большом спорте. А он стал курсантом военного училища, вызвав легкое недоумение среди

однокашников: в танкисты-то зачем? Шел бы уж тогда в пехоту, на вольном воздухе все-таки...

Что решило выбор? Книги, которых читал он множество? Рассказы отца, танкиста, политработника, прошедшего с боями пол-Европы? Желание «познать незнаемое», ибо до училища танка и близко не видел? Извечная мальчишеская, в крови сидящая тяга ко всему военному, таинственному?

— Должно быть, все вместе. Плюс желание быть самостоятельным. Нужно самостоятельным. Не таким, как бывает, когда видишь, что тебя легко заменить любым. Ну и сам танк — не последнее, конечно, дело. Сила, мощь, таран, ощущение какого-то всемогущества — ты хозяин на земле, бог, тебе все нипочем! А упадешь на землю с брони после многочасового марша по адской жаре — и чувствуешь вдруг, какой же ты без нее маленький и слабый. И — какая она, земля... Знаешь, запах ее даже сквозь броню слышишь...

Он знает о своих солдатах все, и знает такое сокровенное о каждом, и так по-командирски и по-человечески грамотно умеет этим распорядиться — забываешь, что ему двадцать шесть, перед тобой гаврилинского образца командир, прекрасно отдающий себе отчет в том, для чего, почему и зачем он здесь. Но вдруг он напрочь лишается аппетита и сна оттого, что ему показалось, будто на улице кто-то не так посмотрел на его молодую жену, о которой Егорышев предпочитает говорить поменьше, но просто потому только, что живет еще весь во власти первого, самого счастливого часа своей любви. А он «не в себе» — и начинает лихорадить роту, и он спохватывается, и, прекрасно знающий, как должна наступать или обороняться рота в условиях сложной заболоченной пересеченки, вдруг теряется, словно мальчишка, и в голосе его почти что отчаяние:

— Не стать мне даже просто толковым, ей-богу...

...И вот уже мы идем к танку, остывающему после недавнего бега; Егорышев чуть впереди. Глаза его возбужденно блестят.

— Слушай, правду говорю: запах земли даже сквозь броню слышно. И такое чувство от этого — кажется тогда, что я все могу...

Когда он обернулся от рычагов управления, проверяя, все ли в порядке, уже совсем другим, напряженным и даже как бы окаменевшим в скулах было его лицо, и сощуренные глаза смотрели холодно, расчетливо и цепко. Как будто вот сейчас ему предстояло двинуть с этой исходной позиции прямо к переднему краю.

— Что-то ты слишком уж посерьезнел, Коля, — подбросил я ему, стараясь придать голосу побольше безразличия. — Обыкновенный маршрут по кругу, время контрольное — час десять или около того...

Но он не реагирует на подвох.

— Нет, брат, шалишь. Это все должно быть серьезно. Не в игрушки играем. Ну, вперед!

И земля, захлестнутая громом мотора, тяжело уходит вниз и стремительно взлетает перед глазами снова. Стонет под траками развороченный тяжелый песок, и какой-то камешек —

Николай ЕГОРЫШЕВ. Фото лейтенанта Н. Мошкова.

ЕЩЕ НЕ ТАК ДАВНО страницы газет и журналов пестрели фотографиями «снарядов внеземных цивилизаций». Один из секретов подобных снимков был раскрыт совсем недавно.

30-летний Алекс Бирч из Шеффилда выступил в печати с сенсационным саморазоблачением. Лишившись доходов от публикации снимков, изображающих «летающие тарелки», он решил подзаработать на рассказе о том, как делались эти фотографии. Англичане узнали, что их в течение полутора десятков лет ловко водили за нос. Бирч рисовал расплывчатые фигуры блюдец и тарелок на стекле своего окна. Затем из глубины комнаты он фотографировал их либо на фоне голубого неба, либо на фоне легкого облачного покрова. После этого снимки рассылались в газеты и журналы. Их охотно печатали и хорошо оплачивали: на гонорары Бирч смог купить себе лавочку.

В комментариях газеты сообщают две подробности. Одна из них касается затрат военно-воздушными силами многих тысяч тонн горючего на полеты с целью патрулировать возможный район появления новых «тарелок». Вторая более пикантна. Она касается заключений экспертов из Скотланд-Ярда о «подлинности уникальных фотоснимков Алекса Бирча, ибо в них отсутствует элемент фотомонтажа...».

СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД Европы установила датчанка С. Расмуссен. Она тридцать три раза сдавала экзамены на право вождения легкового автомобиля и каждый раз безуспешно. По утверждениям полицейских, Расмуссен так и не научилась отличать аккумулятор от карбюратора, при пово-

ПРОДАЕТСЯ

Вот уже долгое время под угрозой полной гибели находится Колизей — выдающийся памятник древнеримской архитектуры. После того как обвалилась капитель, рухнула часть сводов, осыпались некоторые участки стен.

Первый камень в фундамент амфитеатра, предназначавшегося для цирковых представлений, был заложен в 75 году до н. э. при императоре Веспасиане; строительство здания было закончено через пять лет. Своим названием Колизей (от латинского — «громадный», «колоссальный») обязан действительно громадным размерам. Его ширина 156 метров, длина — 188 и высота — 48,5 метра. На его трибунах могли располагаться 50 тысяч зрителей. Сын Веспассиана Тит ознаменовал открытие Колизея устройством игр, которые продолжались сто дней и стоили жизни сотням гладиаторов и пяти тысячам диких зверей, окрасивших своей кровью песок арены. Колизей был для римлян любимым местом увеселительных зрелищ — там проходили бои гладиаторов, травля зверей, устраивались морские сражения (наумахии). В начале нашей эры все эти

должно быть, рикошетом от трака и после от дерева — щелкает по броне, как пуля.

— Нет, брат! — выговаривает он сквозь сжатые губы. — Это должно быть серьезно. Мы гвардейцы пока что по наследству. А надо, чтоб у нас было моральное право...

А машина уже набрала ход, и уже остро пахнет отработанным горючим и оружейной смазкой, грохочущая стена леса, качаясь, летит назад; и Егорышев сейчас уже не существует сам по себе, он — часть этой неукротимой машины, живая ее душа. И его напряжение с непонятной силой передается и мне,

ротах зажигала сразу все фары, какие только имеются на машине. Кроме того, она с упорством, достойным лучшего применения, убеждала полицейских, что запрет звуковых сигналов на улицах городов — «сплошная чушь». И сигналила поэтому при любой возможности.

Может быть, датчанке повезет в тридцать четвертый раз?..

КОЛИЗЕЙ?..

дикие зрелища были запрещены... В средние века после многочисленных войн Колизей пришел в запущение. Он стал своеобразным «карьером» строительного материала — из Колизея вывозили не только отвалившиеся, но и нарочно выломанные камни. Лишь при папе Пии VII проявлялась какая-то забота о сохранении уцелевших частей здания.

Сейчас Колизей — аттракцион для туристов. О возможности реставрации его средствами итальянского правительства говорить трудно. Спасение всех античных руин «вечного города» обошлось бы в 4,5 миллиарда лир, но в 1973 году власти могут выделить на всю Италию чуть больше половины этой суммы...

В зарубежной печати появились сообщения, что у Колизея нашелся спаситель. Называется имя калифорнийского миллионера Томаса Меррика. Он готов купить гигантское сооружение, реставрировать его и использовать в коммерческих целях.

Будет ли продан Колизей?

Меррик предлагает цену: миллион долларов...

ПОСЛЕ УХОДА на пенсию 65-летний англичанин Макс Фейерклифф обратился к властям за разрешением открыть частный зоопарк. Когда чиновники стали согласовывать с ним возможную плату за вход, англичанин ответил, что никого пускать к себе во двор он и не собирается. Просто он решил остатки дней прожить со зверями, которые напоминают ему его бывших работодателей. Именно для этого он скопил некоторую сумму денег, чтобы приобрести «осла, шакала и еще кое-каких забавных зверюшек...».

ОСЕНЬЮ 1968 ГОДА 24-летний Рахгубар Сингх выехал из Дели на велосипеде, решив совершить кругосветное путешествие. Его поездка продолжалась более четырех лет. За эти годы велосипедист-марафонец проделал путь почти в четверть миллиона километров, побывал в 108 странах. Результат в общем вполне удовлетворительный, и сам Сингх был им доволен.

Огорчило марафонца лишь одно. Когда он вернулся в родной город, оказалось, что о нем давно забыли... Пришлось показывать многочисленные вырезки из газет многих государств, и лишь тогда журналисты принялись взахлеб писать о его своеобразном рекорде.

и я ловлю себя на том, что, кажется, жду, когда он крикнет мне: «Заряжай!» — и пытаюсь быстро припомнить, как это все делается, и боюсь напутать, потому что давно уже это у меня было, да и пушка была не та, что теперь...

Встав на дыбы, танк с торжествующим ревом бьет грудью сухую лесину — и круто уходит влево, вспарывая пески, — и только потом я вижу позади, в облаке медленно тающей пыли: лохматится на ветру голенастая молоденькая береза, дымящийся след танковых гусениц обошел ее стороной...

В. РОГОВ

...ПРЕКРАСНА МОЛОДОСТЬ!

Окончание. Начало на стр. 194

ля, рвался к вершинам науки, чтобы, оттолкнувшись от них, пойти еще выше. Перед ним маячили великие загадки, ответы на которые еще не знала наука.

Судьба свела его с профессором Н. К. Кольцовым. Видный генетик считал, что студенты с первых курсов должны заниматься наукой, называл их своими коллегами. Он-то и поручил Дубинину проверить опыты Г. Меллера, будущего Нобелевского лауреата.

— Это было счастливое время, — вспоминает Дубинин. — Мне работалось легко и вдохновенно. Почувствовав вкус творчества, я стремился найти золотой ключик к двери, спрятанной в стене, которая многим в то время, да и потом, представлялась запертой навсегда. Теперь, спустя много лет, мне иногда кажется, что это совсем не я, а кто-то другой решился посягнуть на самую главную тайну природы — на механизм наследственности. Посягнуть и прийти к выводу, что ген — единица наследственности, в то время считавшаяся неделимой, на самом деле дробима и имеет внутреннее строение, представляющее сложный микромир. Сейчас, оглядываясь назад, я даже удивляюсь: какой надо было обладать уверенностью в себе, в своих силах, чтобы в двадцать с небольшим взяться за работу, которая многим до тебя, кроме синяков и шишек, ничего не приносила. Этим и прекрасна молодость!

И он обращается к тем, кто сегодня вступает в науку:

— Ничего не бойтесь, не страшитесь! Беритесь за самое сложное, и, если в вас есть огонь, если вы любите работать, победа обеспечена!

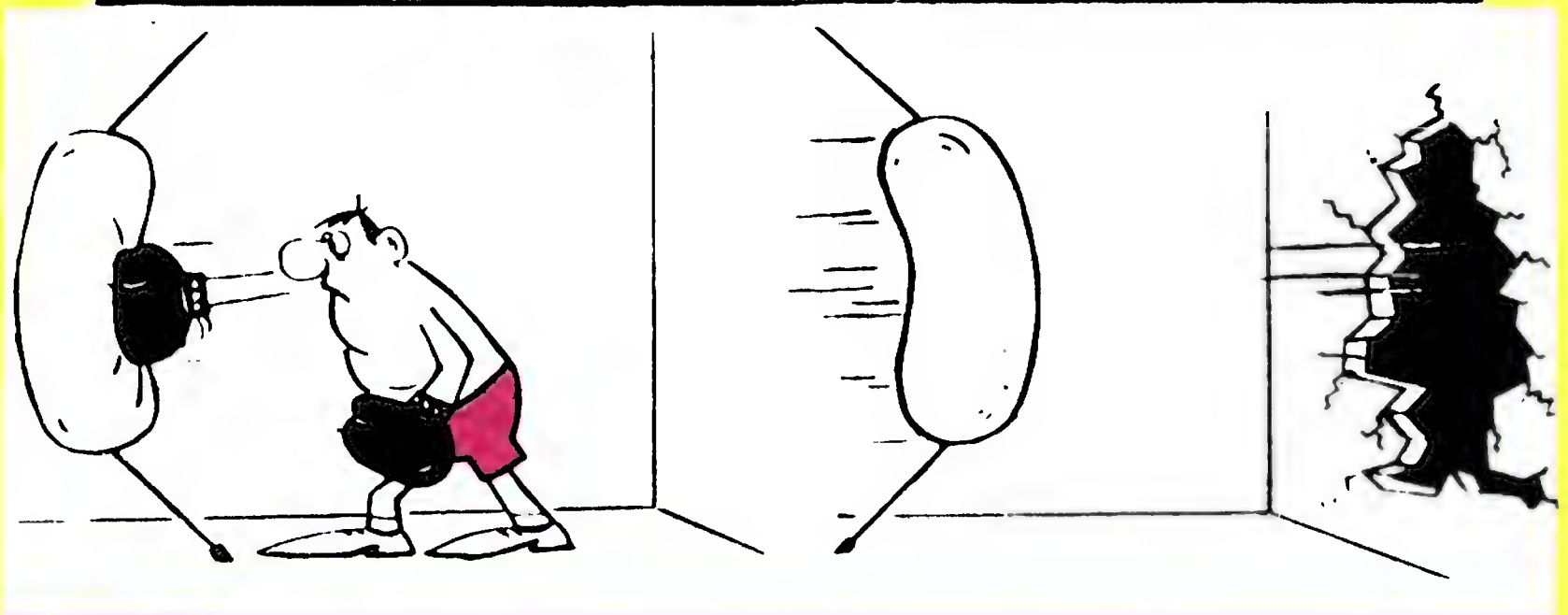
Жизнь пестра и разнообразна. На одном ее полюсе горение и мужество, на другом — тунеядство и трусость. На одном — высокий порыв, на другом — равнодушие, пошлость, мещанство. Перед каждым начинающим жизнь встают эти полюса, и, к какому полюсу пойдет человек, зависит от него самого.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ помогла трудящимся расчистить дорогу к свету и знаниям, широко распахнула двери в науку миллионам юношей и девушек страны.

С комсомольской путевкой Николай Дубинин пришел в университет, всегда помня ленинский завет — учиться, обогащать свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. И с первого университетского дня он неуклонно идет к поставленной однажды цели: вершинам науки... Таков этот человек — академик, директор института, лауреат Ленинской премии, комсомолец трудных, героических, далеких двадцатых...

А. ХАРЬКОВСКИЙ

ЗАРУБЕЖНЫЙ HUMOR



ГЛАДИС МАРИН—

ЕЕ ВСЕГДА можно встретить среди демонстрантов или в рабочем квартале чилийской столицы. О ней тепло отзываются студенты из добровольных производственных отрядов. Ее имя часто упоминается в песнях. Гладис Марин — руководитель прогрессивной молодежи Чили.

Она родилась в небольшой деревушке на юге страны. Мать ее была учительницей начальной школы, отец — крестьянин, бедняк, не имевший, как и большинство крестьян в то время, своей земли. Гладис плохо помнит его: отец ушел искать лучшей доли, когда она была еще малышкой, и не вернулся. Мать с четырьмя дочерьми переехала в деревню под Сантьяго.

Учиться было трудно, семья жила бедно, едва удавалось сводить концы с концами. Правда, когда Гладис стала ходить в среднюю школу, ей помогала так называемая Лига бедных студентов. Но помогала до тех пор, пока хозяин Лиги Алессандрис не узнал о том, что Гладис — член Коммунистического союза молодежи. Лига была реакционной, а сам Алессандрис — глава одной из реакционнейших семей Чили... Те, кому помогала Лига, должны были каждый год приходить со своими дневниками к самому «хозяину». Он брал дневник и просматривал оценки. И тут же решал, можно ли оказывать учащемуся поддержку и дальше. Однажды он спросил Гладис: «Ты коммунистка?» Она ответила: «Да». И хотя в ее дневнике стояли хорошие оценки, с того дня Гладис уже не получала стипендии. И все же ей удалось закончить школу — помогли сестры и друзья.

Как она стала коммунисткой?

— Как-то раз, — вспоминает Гладис, — моя сестра Сильвия, работавшая, как и мать, учительницей, призналась, что она — член коммунистической партии. Она стала часто приводить меня к своим товарищам, и я познакомилась с молодыми людьми, отличными студентами. Я восхищалась ими, когда они выступали на студенческих собраниях. В 1957 году я вступила в коммунистическую партию.

Вскоре Гладис стала активистом чилийского комсомола, а затем — генеральным секретарем Коммунистического союза молодежи. В 25 лет ее избрали депутатом парламента.

Можно удивляться неутомимости Гладис. Конечно, ей трудно. Работа в союзе требует напряжения всех сил, а ведь у нее семья, дети...

— К сожалению, — признается она, — для детей часто не остается времени. С ними удается побыть лишь в конце недели. Но дети уже хорошо понимают, почему у меня нет для них лишнего свободного часа...

Да, работа и борьба. Жизнь во имя будущего Чили.

У чилийской молодежи прекрасная возможность построить в стране новую жизнь. Цели молодежи и всего народа едины: выполнить программу правительства Народного единства. Силы внутренней и внешней реакции стремятся вернуть

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО ЧИЛИ

Всегда среди молодежи...

старые порядки, оппозиция с каждым днем усиливает антиправительственную пропаганду.

Народ Чили, чилийская молодежь, поддерживающая правительство Народного единства, проявляют выдержку, бдительность, организованность. Их общая задача — перестройка экономики на социалистических началах, укрепление независимости страны, ее окончательное освобождение от ига империализма. Поддержка правого дела чилийского народа социалистическими государствами придает ему уверенность в успешном исходе борьбы.

Выступая на одном из обсуждений кинофильма «Павел Корчагин», лауреат Ленинской премии Николай Федорович Погодин добрым словом вспоминал свою молодость, прошедшую в Ростове-на-Дону. Драматург говорил:

— У меня очень плохое зрение. Отчего? Это следы романтики революции...

Частая смена властей в Ростове, аресты, голод, холод и, наконец, сыпняк с катастрофическим осложнением на глаза. Я находился под угрозой полной слепоты.

...Дальше иду по молодости: продразверстка, трибунал, суды над кулаками, укрывающими хлеб. Я корреспондент газеты и секретарь трибунала. И... мы с другом в редакции имеем на двоих одну пару башмаков.

До 1925 года Погодин работал очеркистом ростовской газеты «Трудовой Дон» («Молот»). Он был активным внештатным автором «Правды», и по инициативе Марии Ильиничны Ульяновой Погодина пригласили на постоянную работу разъездным корреспондентом центрального органа партии. Результаты журналистских поездок Погодина по стране широко известны: благодаря им появились пьесы «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг»...

Зная во всех деталях работу Погодина-драматурга, мы, оказывается, совсем плохо представляем себе его раннюю прозу. А ведь молодой журналист писал очерки не только для газет и журналов. В 1926 году акционерное общество «Огонек» выпустило очерковую книжку Н. Погодина «Казаки». Ни один из очерков, составивших ее, с того времени ни разу не переиздавался.

Эти очерки писались летом 1925 года. Герои его книжки — люди, как правило, много испытавшие, прошедшие войны империалистическую и гражданскую. Погодина интересовали прежде всего те казаки, которые окончательно и бесповоротно встали на сторону большевиков и помогали им строить новую жизнь на донских берегах. Но особую симпатию вызывало у Погодина юное, подрастающее поколение молодых хозяев земли. В этом смысле очерк «Трое», предлагаемый нами вниманию читателей, не может не вызвать интереса.

Н. ПОГОДИН

ТРОЕ

УДИТЬ РЫБУ очень хорошо, когда рыба удится. Но мы вот сидим с калмычонком Ванькой пока часа полтора, съели три арбуза и случайно поймали одного рака.

Ваньке неловко передо мной — обещал много рыбы, — он ищет причины плохого лова.

Голос у Ваньки по-калмыцки низкий и грубый, физиономия хитрая, желтая, глаза — черные, блестящие.

И Ванька, глядя в воду, говорит:

— Рыб, понимаешь ты, сиводни биспартийный. На комсомольскай удочка ни идет.

— Я не комсомолец, Ваня.

— Ну и не говори обман. Газетка комсомольскай пишешь...

— Вырос я...

— Борода нима... значит, должен будь тогда молодай человек...

Черными ловкими руками Ванька вытягивает поддонные удочки. Сопит. Сердится. Нанизывает червей снова. Закуривает.

Закат легко и ласково гладит его лицо. Застывшее, оно походит на бронзовое. На зеленом берегу, окрашенный солнцем вечера, Ванька весь походит на красного дьяволенка, какими их рисуют

Красный. Нервный. Гибкий. Яркие губы. Горячие глаза. Он поет:

Дырвин тырсите
Имцык мод гирты
Ингитэ чиратр
Наталин сута...

Песня его лениво ползет над розовой гладью реки.

— О чем поешь, Ваня?

— Про девка поем, который кибитка сидит и ждет своя жених.

А рыба насмешливо склевывает наших червей. А уходящее солнце так нежно пригревает в последний раз. А река такая сонная...

— Ну его, с рыбой!

Ложимся на спины на траву. Смотрим в легкую синь. Говорим. И, не успев наладить нить разговора, судорожно вскакиваем, испуганные дикими криками над нами.

Красная, облупившаяся рожа гогочет до визга.

Это сторож-бакшейник вздумал попугать нас. Манычевский казачонок.

— Ложись, — коротко говорит калмычонок.

Кряхтя, укладывается новый товарищ. Скребет живот под розовой рубахой и ругается:

— У воскресенье — дош, у понедельник — дош, позавчера —

МИР СВЕТЛЫЙ, ЧИСТЫЙ И ЛАСКОВЫЙ

дош, учера — дош, сиводни утром опять бул дош... Да тю на тебя! — И плюется вверх, глядя на небо.

— Как прорвало его, окаянное! Чи там у бога водопровод испортился, чи он там запил?

Ванька отзывается:

— Комсомол, говоришь, безбожники, а сам бог, говоришь, самогонка пьет...

Казачонок серьезно:

— Да рази ш при деду можно в комсу звать? Дурак ты! Я при нем снарачи говорю: безбожники вы...

И вдруг этот курносый, неказистый веселый мальчик говорит жесткие, угрюмые слова:

— Как дед ноги протянет, так я пойду в комсомол. — Добавляет радостно: — Как повымрут старики, ух и прибавится комсомолу!

Ванька знающе и сурово молчит.

Я слушаю. Радостными трелями звенит степной вечер — розовый вечер.

Мечтает вслух казачонок:

— Тьма будет комсомолу... У-у! — аж страшно. Да усе ребята — во! Как железо! Например, война...

Наверно, мысль о войне ему очень понравилась. Он подпрыгнул на спине и поднял руки, все глядя в тихую синь.

— Война... фу, батюшки! Кони будут... по хуторам у казаков, ух же и кони!

— Да, — отозвался Ванька, — молодняк пошел.

— Ка-ак по коням сядут да ка-ак поедут!.. И-их!

За Доном, в камышах, эхо тоже согласилось:

— И-их!

Нежная, прозрачная и легкая, то розовая, то серовато-голубая гамма русского Севера... Холодная рябь от набежавшего на реку Сухону ветра... Охристо-желтые, овеянные сухим и горячим азовским воздухом рыбачьи поселки с иссиня-черными просмоленными лодками на берегу... Синеватая дымка дальневосточных пейзажей: тончайшие по цветовым нюансам, удивительно точные по самому духу подмосковные этюды. Глубоко лиричное, свое собственное отношение к природе, к окружающему миру. Таким предстает творчество Бэлы Оссовской.

Бэла Оссовская, выставка работ которой прошла недавно в залах Института физических проблем имени Вавилова, — художник своеобразного дарования, новое имя в нашей живописи.

Она не случайно пишет акварелью, лишь изредка усиливая темперой ее звучание и плотность: акварель позволяет наиболее полно передать самые легкие нюансы в природе, едва уловимые движения света и цвета.

В ее картинах есть нечто общее, что объединяет их, и это общее — проникновенная любовь к природе. Художник не вооб-

---

— Да как у Аршаву... Я бы сам на коне, на таком, што... и не знаю, прямо! Да шашка острая, прегострая! Перерубаю усех! Прямо, рраз!.. Два!..

В пылу воображаемой рубки он вскочил и так с минуту глядел по сторонам потемневшими глазами.

Почесал чуб. Тихо сказал:

— Да.

И еще тише, как тайну:

— Ты думаешь, я чего-нибудь боюсь?.. Я ничего на свете не боюсь.

Он караулит шестьдесят десятин бакши. Ночью обходит сам участок. Один гоняет хищников со своей палкой.

Ванька вскочил:

— А я, думаешь?

У Ваньки в глазах — черти.

— Режь тело, кричать не буду.

Верю — не крикнет.

Умолкают они. И гаснет забывающаяся заря, гаснет, вспыхивая, вздрагивая.

Мне хочется еще послушать страстные, видно, давние мечты казачонка.

Но они оба тихо и строго думают, заложив за головы руки и глядя на небо.

Кругом — могучие степи, затихший клок мира.

И мы, три крупинки нового поколения людей, поколения, которое будет ходить большими шагами по земле.

С моими ребятами я очень сильно верю в это.

Вступительная заметка и публикация
Ю. НЕМИРОВА.

Б. Оссовская. Усть-Печенга. Река Сухона.

ще любит природу — этого было бы мало. Оссовская любит ее по-своему, и видит по-своему, и, как верно отмечали выступавшие на обсуждении выставки, любит в природе не бурные коллизии, а те особые «тихие состояния» и ту безыскусственность композиций, которые так тонко умели раскрыть великие русские пейзажисты.

Почти всем ее работам присуща еще одна подкупающая черта: она очень скупо расходует художественные средства, как бы ставя перед собой задачу: раскрывая самую сущность вещи, говорить кратко и сдержанно. Нет «многословия», и в то же время есть все, что нужно для создания того настроения, которым проникся художник и которое он подглядел в природе.

Вот смотрится в очень глубокие, но тихие воды светлой реки розовая деревня — не серая или сине-черная на силуэт, какие сегодня очень часто глядят на нас со многих северных этюдов, но именно розовая. Нарядная, похорошевшая, словно невеста. И это розовое ложится на воду и, тихо покачиваясь, переплетается с отражением так же тихо и спокойно плывущих в небе облаков... А вот нежно-перламутровые цепочки облаков, убегающих куда-то вдаль, и вновь вода, словно в зеркале отражающая эпической красоты небо.

Вода и небо в самых различных их отношениях — основной и любимый мотив Бэлы Оссовской. Но мотив этот тонко разно-

Б. Оссовская. Остров Попова. Дальний Восток.

образен. Когда начинаешь сравнивать одну работу с другой, на первый взгляд они кажутся похожими, в действительности же работы совсем разные и по-своему интересные, каждая со своим совершенно особым настроением.

Впрочем, художник не боится сильного контраста, и тогда силуэт леса на фоне светлого неба и воды, темные корпуса лодок начинают звучать как сильный, мощный аккорд. Когда нужно обострить контраст, художник прибегает к приему почти графическому — корпуса кораблей, их мачты, трубы обведены сильной и сочной линией: начинает работать контур.

Многие годы мы спорили о месте и значении пейзажа. Но сейчас, когда вопросы связи человека с природой становятся более чем актуальными, не получает ли наша природа одного из своих сильных и активных защитников в лице художника? Ведь живопись воспитывает самую душу человеческую, прививает человеку любовь к родной земле, раскрывает самое сокровенное в ней, что далеко не всякий может увидеть сам.

Живопись Бэлы Оссовской овеяна какой-то трогательной радостью бытия. Увидев мир светлым, чистым и ласковым, художник непременно хочет донести и до нас это свое настроение. И быть может, именно поэтому уходишь с выставки просветленным и радостным.

Кандидат искусствоведения Ю. СОМОВ

Б. Оссовская. В Казантипе у каждого своя лодка.

Б. Оссовская. Закарпатье.

Первая страница обложки «Товарища»: Комсомолка Ирина Бутько — упаковщица бисквитного цеха львовской кондитерской фабрики «Светоч». Закончив в 1972 году десятилетку, она пришла в цех и вскоре стала любимицей коллектива. Без ее участия не обходится ни один вечер самодеятельности, ни один концерт или конкурс фабричных артистов... Фото А. ЕГОРОВА.

Б. НАВРОЦКАЯ, Р. ДОНЬСКИЙ

ОПЕРАЦИЯ «ХИРУРГ»

Продолжение. Начало на стр. 178

ГЛАВА 19

Капитан Корта вертел в руках очки с тремя белыми стрелками на оправе. Постовой нашел их в мусорном ящике на задворках заводского Дворца культуры. Огромный все-таки город Варшава. На прошлой неделе милиция задержала и доставила в управление несколько человек в таких очках. Эта новость, неизвестно каким образом, распространилась по городу в мгновение ока. Люди стали выбрасывать очки в уличные урны, в мусоропроводы, оставлять в кафе...

Понятно, когда так поступает человек, чтобы избавиться от вещественного доказательства, но выбрасывать очки только потому, что можно потерять лишний час в милиции... Это было выше понимания Корты.

Его охота на владельцев очков с тремя белыми стрелками на оправе вызвала в городе сенсацию. И вот еще один из результатов сенсации у него в руках. Корта запер стол и сунул очки в папку. Эти нашли во дворе дома номер тринадцать по улице Банго.

Корта с некоторой долей сентиментальности оглядел дворик. Время сразу отступило назад. И вот он увидел себя маленьким мальчиком, который тянет за веревочку выструганного отцом коня на колесиках, сделанных из катушек от ниток. Он обвел взглядом этажи. Потрескавшаяся штукатурка, запах еды и мокрого белья, развешенного на балконах.

«Есть еще места, где ничего не изменилось, — подумал он. — Удивительная все-таки штука жизнь...»

Капитан Корта прошел через огонь и воду и вдруг, словно по волшебству, попал в страну детства.

«Только лошадки нет... Но зато имеются очки с тремя стрелками на оправе...»

Он вынул очки из папки и стал разглядывать их с таким же интересом, с каким когда-то глядел на деревянную лошадку. Его отец был столяром, и потому та лошадка получилась самой лучшей во дворе. Мальчишки ему ужасно завидовали.

«Прошло двадцать лет. Город восстал из пепла, — думал Корта. — Сколько событий может вместиться только в одну человеческую жизнь...»

Дворник внимательно посмотрел на капитана маленькими глазками. Он, как и этот дом, олицетворял старую Варшаву, которой уже, по сути дела, не существовало. Сначала дворник никак не мог понять, чего же хочет от него человек с милицейским удостоверением.

— Кто в вашем доме носит такие очки? — мягко спросил капитан.

Дворник перевел взгляд с капитана на очки. Наконец Корта получил ответ:

— А есть тут у нас один. Бенек из сорок седьмой квартиры, — дворник протянул руку: — Давайте я отнесу. Зачем вам тащиться на четвертый этаж?

Он искренне удивился, когда капитан решительно, но медленно спрятал очки в карман. Пожал плечами и, что-то бормоча, удалился в сторожку. Корта еще раз увидел его подслеповатые глаза в окошке маленькой пристройки и заколебался: может, и вправду лучше отдать эти очки милиционеру, и пускай тот пробежится на четвертый этаж?.. Но нет! В глубине души капитан так и остался сыном простого столяра Казимежа Корты со Скалиской, который так охотно вырезал детишкам деревянных лошадок. Вот и сейчас он решил забыть о своей должности и сам пошел на четвертый этаж.

Бенек сидел, развалясь на стуле, а его мать стирала. В облаках пара трудно было разговаривать. Резкий влажный воздух щипал горло.

— Зачем вы выбросили очки? — спросил Корта ни с того ни с сего.

Бенек подскочил.

— Мои очки? Мои! Что хочу, то и делаю.

Корта сразу увидел, что у парня совесть нечиста и что он не испытывает никакого страха перед милицией.

— Но они почти новые.

— Вы прекрасно знаете, капитан, почему я их выбросил, — сказал Бенек развязно. — Жаль, что плохо запрятал.

Парень, не вынимая рук из карманов, обошел Корту кругом.

— Странно, что вы сами потащились на четвертый этаж. Такие, как вы, сидят в кабинетах.

Корта усмехнулся. Бенек был сообразительнее, чем казался на первый взгляд.

«Ты не можешь знать, — подумал Корта, — что эти очки — конек. Я очень много на них поставил. Они будут когда-нибудь тем самым ключиком, который откроет все тайные замки этого дела. Я в этом не сомневаюсь. У некоторых предметов в следственном деле имеется своя судьба. Есть такие тривиальные предметы, как пистолеты, кастеты, ножи, паспорта и прочее, которые как явные улики только однажды исполняют свою роль. Такие же предметы, как эти очки, появляются на сцене в самые неожиданные моменты и часто решительно меняют весь ход событий».

Корта улыбнулся:

— Как видите, иногда и капитан милиции может заинтересоваться простыми очками.

— Я не хочу, чтобы вы меня тянули в управление, — дерзко сказал Бенек.

— Ясно, — кивнул Корта. — А где же говорят об этих очках? Кто?

Парень засмеялся:

— Да везде! В очереди за мясом, в кафе на Маршалковской... Теперь вам никого не удастся сцапать в таких очках. В Варшаве нет фраеров.

Корта вручил очки владельцу. Бенек скривился, подождал, пока шаги капитана затихнут на лестнице, и бросил очки в раскаленную печь.

Очки затрещали, скорежились, и запах горелой пластмассы разнесся по комнате.

ГЛАВА 20

Дядя из Колобжега оказался твердым орешком, хотя и не отличался особой щепетильностью. Он все же предпочитал не вступать в противоречие с законом. Это был очень осторожный человек. Анджей сразу понял, что дядя больше всего на свете боится нарваться на неприятности и всячески старается избежать риска. Правда, иногда дяде удавалось кое-что урвать, но он делал это редко и действовал только наверняка. Он держался подальше от подозрительных дел и никогда не рассуждал о политике. Дядя был посредником в передаче валюты и золота. Спекуляция была для него таким же побочным заработком, как для других сверхурочная работа. С ворованным он дела не имел. Моряки и спекулянты, с которыми он обстряпывал свой осторожный бизнес, переправкой за границу не занимались.

«Снова я попал не по адресу, — огорченно подумал Анджей. — Но что-нибудь я из него должен выжать, хотя бы какую-то информацию. Через него я попытаюсь добраться до нужных мне людей».

Дядя в отличие от родителей Агнешки держался с женихом холодно. Он был неразговорчив, и пришлось попотеть, чтобы выжать из него интересующие Анджея сведения.

«Ясное дело, — думал Анджей, наблюдая за дядей, который курил трубку и делал вид, что целиком поглощен этим занятием. — Запудрить мозги можно честному человеку, а такой сам кого хочешь проведет».

— Как вы думаете, совсем нет никаких шансов попасть на корабль? — громко спросил Анджей.

Дядя задумчиво смотрел на тлеющий огонек трубки.

— Да, пожалуй, нет. Это ведь не пятидесятые годы. Морская пограничная служба сейчас не зевает. Такое дело нужно серьезно организовать, а на это уйдет не один день. Ко всему надо подходить профессионально. Это во-первых. Во-вторых, сейчас стало очень трудно договориться с иностранными моряками. Когда-то они перевозили политических, ихние власти давали таким политическое убежище, а сейчас субчиков целым скопом возвращают обратно. Большой риск. И никакого навару.

— Ну, это зависит от того, кто сколько сможет заплатить...

— Зависит, — сказал дядя, попыхивая трубкой. Лицо его ни-

чего не выражало. — Ясно, — неопределенно улыбнулся он, — но с такими я дел не имею и иметь не хочу, да и вам не советую.

Дядя, постукивая трубкой о подошву, стал выбивать пепел. Он внимательно поглядел на Анджея и добавил:

— Я не знаю, для кого вы хлопочете... но хочу предупредить вас, предостеречь. Игра не стоит свеч.

Он повернулся спиной к Анджею, показывая этим, что разговор окончен.

— А через Щецинский залив можно перебраться на лодке? — настаивал Анджей.

Некоторое время спина дяди оставалась неподвижной. Наконец он медленно обернулся.

— Это через заградительную-то систему? — спросил вместо ответа. — Вы знаете, что она тянется на несколько километров? Там такие прожектора, что ночью светлее, чем днем. Когда и куда плыть? Посоветуйте лучше вашему человеку выбить всю эту дурь из головы. Ни на какой лодке не уйдешь от патрульного катера. Мы уже не раз такое видели. Говорю вам, это не пятидесятые годы. Никто ему не поможет. Надо быть полным идиотом, чтобы неизвестно за кого подставлять себя под удар.

— Я бы не просил неизвестно за кого, — сказал Анджей с достоинством. — Агнешка может подтвердить.

— Э, баба! — махнул рукой дядя. — Они чего только не наговорят, когда влюбятся. А вы ей нравитесь. Надо же, ей ведь и не снилось, что подцепит образованного. Но с интеллигентами бывают ох какие хлопоты, — многозначительно добавил он.

Анджей вышел из дома и сразу направился к спекулянту, с которым познакомился у дяди в первый день приезда.

— Мне нужны патроны, — начал он без лишних слов.

— Для «пушки»? — криво усмехнулся спекулянт.

— Для ТТ.

— Я не балуюсь такими вещами. Это вредно... для здоровья, — прозвучал холодный ответ.

— Знаю, — так же спокойно ответил Лехонь. — Но одному моему другу необходимо вернуть патроны. Он, понимаете ли, их расстрелял. Так, без дела. И теперь у него неприятности.

— Неприятности, говорите? Жалко, жалко... — И умолк, как бы полностью потеряв интерес к разговору.

Анджей напряженно смотрел на него в ожидании ответа.

— Вы как, женитесь на нашей Агнешке или только так? — спросил тот с деланным равнодушием. — Потому что, сами знаете, теперь ведь как. Парень покрутится, покрутится с девушкой, а потом... неприятности.

— Да нет, что вы! — Анджей невольно улыбнулся. — Мы скоро поженимся.

— Была у меня когда-то такая игрушка, — как бы продолжая начатую тему, произнес спекулянт. — Может, и завалялись где патроны.

Он ушел в дом и вернулся с двумя патронами, завернутыми в промасленную тряпочку.

— Нашлись! — довольно рассмеялся он. — Было больше, только, видать, мой мальчонка до них добрался. Знает сопляк

все мои загашники. Он достает из них порох. Ракеты делают, сорванцы!

Анджей вытер платком патроны.

«Все-таки лучше, чем ничего. Один из двух для меня...»

— Сколько?

— Зависит от того, какую ценность они представляют для вас. Насколько я понимаю, тут ведь дело не в деньгах. Два патрона стоят или ничего, или очень много. В жизни всякое бывает.

Анджей сделал вид, что эта философия его мало касается, и положил на стол тысячу злотых.

«Времени в обрез, — размышлял на улице Лехонь. — Я не могу позволить себе тянуть резину с переговорами насчет корабля».

Чутье подсказывало ему, что через день, а может, через час у него земля загорится под ногами. Тогда будет вообще поздно думать о чем бы то ни было.

«Тогда уж я ничего не смогу сделать, — подумал он. — Нужно рискнуть. Хотя этот умник и говорит, что через залив пройти невозможно, а я пройду. Уверен, что пройду! Тем более что сейчас хорошая погода и море спокойно. Может, лучше исчезнуть? — размышлял он. — С Агнешкой хлопот не оберешься».

Анджей еще не решил, украсть ли ему рыбацкую лодку или купить байдарку. Кража лодки могла навести на след милицию, а байдарка может легко перевернуться и затонуть.

«В заливе, наверное, даже в хорошую погоду высокая волна, — думал он, — но по дороге в Швецию можно встретить какой-нибудь чужой корабль. Там проходит торговый путь. Надо только договориться с капитаном. Но как это сделать? На моем плохом французском вряд ли меня поймут. Вряд ли мне удастся растолковать, чего я хочу. Надо брать Агнешку. Она говорит по-немецки, как по-польски. Там я быстро от нее избавлюсь. Об этом даже и волноваться нечего. Первым делом надо достать байдарку. Потом перебраться через залив. Остальное зависит от везения. Тут трудно все предугадать. В моей ситуации может случиться любая неожиданность».

— Агнешка, — сказал Анджей, когда они, наконец, остались одни, — твой дядя говорит, что на корабль попасть очень трудно, а на лодке вполне можно перебраться через залив. — Анджей говорил это и не спускал глаз с ее лица. Она ему поверила, значит, ничего не будет спрашивать у дяди. Он был уверен в этом.

— До Швеции на лодке не доедешь, — сказала она. — Это далеко.

— В море пересядем на какой-нибудь корабль.

Она глядела на него ясными, спокойными глазами. Он знал, что она уже давно перестала самостоятельно мыслить. У нее потерян инстинкт самосохранения, свойственный каждому живому существу...

«Но не влюбленной женщине, — подумал он легкомысленно. — Надо будет избавиться на сутки от нее, чтобы как следует подготовиться и все продумать. Но она не должна здесь оставаться со своим слишком умным дядюшкой. Надо будет отправить ее в Выжиск».

— Через два дня мы могли бы отправиться.

— Так быстро? — удивилась Агнешка. Он почувствовал в ее голосе страх.

— Ты хотела сказать: так поздно! — рассмеялся он. — Я бы завтра попробовал. Но мне надо еще заскочить в Познань, понимаешь? Забрать деньги, драгоценности, которые остались от матери. Будет трудно сразу устроиться, за границей не всегда найдешь работу. Надо же что-то иметь на первое время.

— Я поеду с тобой, — сказала она с готовностью.

— Ты только измучаешься дорогой, — сказал Анджей и бережно взял ее под локоть. — Туда надо ехать с пересадкой, спать сидя. А ты этого не можешь. Помнишь нашу встречу в Гдыне? Зал ожидания? Ты выглядела как мокрая курица. Даже твои красивые глазки и те потускнели.

Ей хотелось выглядеть красивой. Она была счастлива, что Анджей заботится о ней и помнит, как они познакомились.

— Тогда я останусь у дяди, — сказала она мягко. — Здесь тебя подожду. Только поспеши, я не хочу оставаться одна.

«Ого, — подумал Анджей, — это еще что за фокусы?!»

Он сделал вид, что возмущен.

— Как! Ты не хочешь попрощаться ни с родителями, ни с мальчиком?! Ты ведь, может, никогда их больше не увидишь. Кто знает, вернешься ли ты когда-нибудь к ним? Отвези мальчику какую-нибудь большую красивую игрушку. Я оставлю тебе денег. Пусть он хоть сестру запомнит... Мать ты ему или нет? — спросил он резко.

Агнешка смешалась и опустила глаза под его холодным укоряющим взглядом.

— Я поеду, — шепнула она. — Ты прав. Я не подумала о том, что это уже навсегда. Человек не может сразу привыкнуть к такому. Столько событий за эти дни. — Потом она добавила с достоинством: — Ты ведь знаешь, что я люблю своего ребенка, но ему лучше считать моих родителей своими. Намного лучше. Стыда меньше. И в школе его не будут обзывать и дразнить. Я куплю ему педальный автомобиль, пусть катается.

«Ну вот, одно дело сделано, — подумал Анджей. — Боже мой, а сколько еще предстоит! Мало того, что необходимо бежать и я не могу терять ни минуты, а тут еще надо изображать влюбленного, заботливого, да еще воспитывать взрослую женщину...»

Он сел в варшавский ночной поезд с тем, чтобы выйти на Западном вокзале.

ГЛАВА 21

Анджей раскопал три ямки и принялся было за четвертую, но подумал, что надо что-нибудь оставить и на черный день.

«Неизвестно, захочется ли мне сюда возвращаться, хотя, с другой стороны, можно приехать через несколько лет на «мерседесе» по шведскому паспорту, и черта с два они мне что-нибудь сделают. А может быть, мне еще и не очень понравится за границей или я проиграю все деньги до последней кроны. Я ведь люблю красиво пожить».

Он отложил лопату и старательно засыпал ямки руками. Анджей был доволен собой. Утром он купил себе коричневую

рубашку, бежевую куртку и такого же цвета брюки. Инстинктивно он все время менял одежду.

Выкопанные драгоценности сложил в папку. Это было целое состояние. Прежде чем прийти сюда, он долго наблюдал за домом Зденека. В доме никого не было. Зденек, наверное, на летней практике. Несмотря на это, Анджей вошел в сад с опаской. Он учитывал возможность неожиданной встречи, и, если бы она все-таки произошла, Анджей сделал бы вид, что пришел в гости.

Если Зигмунд и Кузнечик до сих пор не дали показаний в милиции, то маловероятно, что они разговаривали об этом со Зденеком. Наоборот, они скорее всего должны избегать разговоров на такую тему. На всякий случай Анджей несколько раз позвонил в дверь. Собака встретила его очень ласково, видимо, давно скучала без людей.

В одной руке у него был сверток. В новый костюм Анджей переоделся прямо в магазине, в примерочной, а старые вещи попросил запаковать. Сначала хотел их оставить прямо в магазине, но потом сообразил, что по дороге в Варшаву его кто-нибудь мог видеть в этом костюме. Сверток мог бы навести милицию на след. Он решил, что, если удастся вернуться в Колобжег, оставит брюки и свитер у дяди.

«Старик подумает, что по рассеянности, — размышлял Анджей по дороге к вокзалу. — Спрячет вещи в шкаф и будет ждать моего возвращения».

Подойдя к станции, он вдруг изменил свое решение. Обошел здание и вышел на шоссе. Проголосовал первому встречному грузовику и за двадцать злотых добрался до Варшавы. В Варшаве сразу же, не тратя ни минуты драгоценного времени, сел на дневной поезд к побережью.

Он приехал в Колобжег ночью. Агнешки еще не было. Анджей опередил ее на несколько часов. Дела сложились гораздо удачнее, чем он надеялся.

Агнешка появилась рано утром. Анджей сразу же потащил ее в универмаг. Он не давал ей опомниться, не оставлял ни минуты времени для того, чтобы она могла подумать. Велел ей купить складную байдарку с веслами. Сам же пошел покупать фотоаппарат. Агнешке строго-настрого запретил приближаться к нему в магазине.

— Надо быть очень осторожными, — сказал он девушке и объяснил, что такая конспирация необходима для удачного осуществления задуманного побега.

Агнешка была ошеломлена. Она никогда в жизни не держала в руках столько тысяч злотых сразу. Сделав покупку, старательно отчиталась перед ним. Эта честность приятно удивила Анджея и настроила на благодушный лад. Агнешка ничего не пыталась урвать для себя. Приближался момент решающего испытания. Напоследок себе и Агнешке он купил темные очки.

— Понимаешь, — сказал Анджей шепотом, — мы должны изображать туристов, чтобы ни у кого не вызвать подозрений.

Наконец-то он мог позволить себе говорить почти искренне. Теперь она стала его сообщницей. Ему уже не надо скрывать, что он боится милиции. Его поведение должно теперь казаться ей естественным. И поэтому он почувствовал удивительное облегчение.

«Надо купить еще один костюм на смену, — подумал он. — На всякий случай. Да и Агнешке тоже бы пригодились брючки. Правда, это увеличивает багаж... Надо купить рюкзак».

Он велел Агнешке отнести байдарку к дяде, а сам остался ждать ее в сквере. Агнешка выбрала в магазине дамской одежды брюки, кофточку и штормовку на подкладке. Она была счастлива. У нее никогда не было столько дорогих обновок. Анджей купил себе дешевые брюки и рубашку, которые не займут много места в рюкзаке.

Он послал девушку на вокзал за билетами в Щецин. Не дожидаясь, когда дядя вернется с работы, они оставили записку, сообщая, что едут в Гдыню познакомить Анджея с остальными родственниками.

ГЛАВА 22

Правую сторону лица свело судорогой. Он пытался напряжением воли преодолеть этот нервный тик. Лицо покрылось мертвенной бледностью, на лбу выступил холодный пот. Каждое мгновение он был близок к обмороку. Не слышал, что говорит ему сидящий напротив поручик, а лишь глядел на раскрывающийся и закрывающийся, как у рыбы за аквариумным стеклом, рот. Постепенно он стал приходить в себя.

«Еще минута, и произойдет катастрофа. Надо взять себя в руки...» Поезд подходил к станции.

«Вставай, — мысленно приказал он себе. — Немедленно встань!» С трудом приподнялся. Ноги не слушались. Держась за верхнюю полку, подошел к окну и резким рывком опустил раму. Наполовину высунувшись навстречу свежему ветру, с жадностью глотал воздух. Легкий летний ветер растрепал волосы. Сзади на него тяжело навалилась Агнешка, тоже пытаясь выглянуть в окно. Он раздраженно отодвинулся, уступая ей место.

«Если бы не станция, — думал он, — то могло бы случиться все, что угодно. Счастье изменяет тебе в третий раз. А это плохой признак».

Анджей снова бессильно опустился на нижнюю полку. Агнешка что-то бубнила ему на ухо о еде. Всю дорогу она только и делала, что ела сама и кормила его. Он вдруг возненавидел ее заботу, еду. Даже запах одеколона, который купил себе, раздражал его. Агнешка не выпускала из рук флакон с одеколоном. Резкий приторный запах был слышен даже в коридоре. Анджея раздражало все окружающее. В купе он чувствовал себя, как в клетке.

«Он подослан, — думал Анджей, — не может быть, чтобы этот поручик оказался здесь случайно. Если так, тогда конец. А если все же он здесь случайно?.. Тогда опять непредвиденные трудности. Как бы то ни было, а в Щецине нельзя медлить. Идиотка! Черт дернул ее за язык трепаться, что мы едем в Щецин».

Поручик тоже ехал в Щецин.

— Вы в командировку? — улыбнулся Анджей милиционеру.

— Нет, — ответил тот, — возвращаюсь из отпуска. Был у родных.

Мозг Анджея лихорадочно работал. «Если он был в отпуске, то не мог получить сообщение, — подумалось ему с облегчением, — но как только выйдет на работу, сейчас же его получит. Мы приезжаем в Щецин около четырех. Значит, на работе он появится не раньше завтрашнего утра. Следовательно, у меня остается десять-двенадцать часов. Дни сейчас стоят длинные, и нужно успеть все сделать до темноты, а ночью покинуть город».

Он совершенно успокоился. Поручик уставился на его руки, и Анджей опять занервничал.

«Экий дьявол! — подумал он подозрительно. — Почему он стал говорить со мной об ограблении, которое произошло несколько недель назад? Неужели это такая сенсация? За прошедшее время наверняка совершено не одно преступление. А может быть, он считает ограбление ювелирного магазина исключительной «работой»?..»

Анджей даже почувствовал некоторое самодовольство.

«Дурак ты, дурак, — укорил он себя, — сидишь тут, раздувшись от гордости, как какой-нибудь карманник, которому удалось дело всей его жизни. Ты ведь все-таки три года в университете учился».

Он-то знал, что именно эти годы и научили его точному расчету и ясности мышления.

«Да, я применил университетские знания вовсе не в той области», — издевательски подумал о себе.

На перроне в Щецине постарался сразу же избавиться от общества поручика.

— Здесь такая толкучка, давай подождем, пока схлынет эта толпа, — шепнул он Агнешке на ухо, придерживая ее за локоть.

Когда перрон опустел, Анджей послал Агнешку сдать чемоданы в камеру хранения. Рюкзак оставил при себе, а ей повесил на шею фотоаппарат. Ярко светило солнце, день был в разгаре.

«Мы выглядим как заправские туристы», — подумал он и похвалил себя за то, что купил рюкзак.

— Сначала пошли на Одру, — быстро сказал он, — нельзя терять время.

Она ни о чем его не спрашивала, находясь во власти радостного возбуждения и предстоящего приключения.

Самые смелые мечты деревенской девушки из Выжиска не шли ни в какое сравнение с реальной действительностью, в которой она теперь жила.

ГЛАВА 23

Агнешка и Анджей вышли на открытый берег реки и со смехом сбежали по крутому склону к воде. Близился закат, но воздух еще был по-полуденному зноен. Над травой весело порхали бабочки. Агнешка бросилась в траву и стала резвиться, как маленький глупый щенок. Анджея раздражала ее беззаботность, но он взял себя в руки и подавил желание накричать на нее. К тому же поведение Агнешки было прекрасным алиби, окажись здесь случайные наблюдатели. Анджей лишний раз

убедился, как ему сильно повезло, когда он встретил эту девушку. Казалось, она совсем забыла, зачем они приехали в Щецин. Бегала за бабочками, просила научить ее фотографировать. Пульс отмерял в нем бегущие минуты, словно он, Анджей, сам вдруг превратился в часовой механизм. Он все же заставил себя прочесть ей краткую лекцию по фотографии. Мысль о покупке фотоаппарата оказалась даже очень неплоха... Анджей вытащил фотоаппарат и выдвинул объектив.

— Смотри в это окошко, а тут нажимай, — сказал он девушке и приставил ее палец к спусковому механизму.

Фотоаппарат не был заряжен. Анджей вдруг понял комичность происходящего и рассмеялся: как это похоже на ее любовь! Бегающая, возбужденная Агнешка непрерывно щелкала затвором фотоаппарата и перекручивала несуществующую пленку.

«Отдыхающая влюбленная пара — вот кто мы, — подумал он. — Мы пришли сюда фотографироваться на фоне реки».

Он наклонился, сорвал несколько травинок, нашел на берегу две палочки. Снял туфли, закатал брюки и вошел в воду. Палочки воткнул в прибрежный песок метрах в двадцати друг от друга. Затем пустил травинку по течению Одры. По секундной стрелке часов определил время, за которое травинка преодолела отмеченное расстояние. Проделав несколько раз этот простой опыт, присел у воды на корточки и стал вычислять. Подошла Агнешка, остановилась за его спиной.

— Не мешай, — буркнул Анджей. — Я высчитываю скорость течения. Надо знать, на сколько километров нужно отплыть от Щецина вверх по течению и сколько времени мы истратим, чтобы снова добраться до залива, понимаешь? Мы должны оказаться в заливе под вечер, в полной темноте. Отойди! Пойди лучше еще что-нибудь сфотографируй, не то я могу ошибиться. От этих расчетов зависит наша жизнь.

Она не двигалась. Наверное, он зря так сильно напугал ее...

«Черт побери! — выругался Анджей про себя. — Как раздражает эта глупая баба».

Он оторвался от записей и посмотрел на девушку. В глазах Агнешки светилось такое безграничное восхищение, что от злости его не осталось и следа.

— Ну иди, иди, — с облегчением рассмеялся он. — Ведь я же отвечаю за тебя, правда?

Анджей давно заметил, что его мужественные фразы всегда попадают в цель. Он понимал, что всякая женщина стремится найти надежную опору в жизни, и играл на этом.

Встал, закрыл блокнот. Агнешке не хотелось уходить отсюда.

— Тут так красиво, — протянула она с сожалением, — и еще совсем светло.

— Ночью мы должны быть далеко отсюда, — сказал Анджей мягко. — Ты пойдешь в камеру хранения и возьмешь байдарку, а я куплю продукты на дорогу. Через час встретимся у замка. Я буду ждать тебя около вала. Найдешь? — и он взглянул на часы.

Анджей купил консервы, несколько бутылок лимонада, хлеб на два дня и бутылку водки. Он опасался, что нагруженный покупками мужчина всем бросается в глаза, но навстречу часто попадались люди с рюкзаками, так же как и он нагруженные

покупками. Анджей остановился возле недавно реставрированного Щецинского замка и загляделся на реку. Портовые краны. Корабли, стоящие на рейде. Несмотря на то что мысли были заняты приготовлениями к побегу, он невольно восхитился открывшимся ему видом.

— А вот и я! — раздался голос Агнешки. — Как здесь красиво! Ну и тяжеленная же эта лодка. Еле донесла.

Пока Агнешка «голосовала» на шоссе, Анджей притаился в кювете. Девушка остановила грузовик. Только тогда подошел Анджей и сел в кабину. Агнешку он посадил в кузов. Когда садились, незаметно взглянул на счетчик километража. На пятьдесят девятом километре попросил водителя остановить машину.

— Желаю хорошо провести каникулы! — крикнул на прощание водитель.

Лехонь помахал ему вслед рукой. Он удовлетворенно отметил, что у грузовика варшавский номер. Уже совсем смеркалось, когда Анджей нашел, наконец, место для лагеря. Он велел Агнешке переодеться в брюки и теплую штормовку, а сам надел свитер.

«Мне нельзя спать, а ей надо выспаться перед тяжелой дорогой, чтобы не мучила потом своим нытьем».

Он постелил Агнешке на траве свою куртку.

— Как жалко, такая дорогая куртка! — запричитала Агнешка.

— Не разговаривай, ложись, — приказал Анджей. — Во-первых, тебе надо отдохнуть, а во-вторых, на земле спать сыро.

Она послушно легла, положила голову на его колени. Анджей сидел неподвижно, дремал и частенько поглядывал на часы. Ждал рассвета. В четыре часа утра спустил байдарку на воду и стал загружать ее. Багаж состоял из провианта, папки с драгоценностями, туго набитого рюкзака. На берегу остался пустой чемодан.

«Что делать с чемоданом? — размышлял Анджей. — В байдарку его не всунешь!»

— Подержи лодку! — приказал он девушке, а сам вышел на берег и забросил чемодан в мокрые от росы кусты. — Готово! — крикнул он Агнешке и влез в байдарку.

Течение понесло их в сторону моря.

ГЛАВА 21

— Испарился! — сказал Габлер. — Растаял! Мы все основательно прочесали. Проехали по всем озерам вдоль и поперек.

— А вы загорели, поручик, — вздохнул Корта.

— Да, мне пришлось попотеть на веслах, — улыбнулся Габлер. — Деньки выдались жаркие, в этом году лето так лето! Вдобавок я еще жарился на этих проклятых моторках, как окунь на сковородке. Между делом поймали одного воришку, просто анекдот! Таскал блесну, крючки. Не профессионал, но с полгода посидит.

— Условно, — добродушно заметил капитан. — Что, любитель-рыболов?

— Где там! Продавал краденое туристам. Какие-то специальные крючки, которые можно купить только в валютных или комиссионных магазинах. Рыба идет на них косяком. Отечественные крючки ей меньше нравятся.

Корта рассмеялся:

— Нет, нет у нас такого блеска, поручик! Что там рыба, даже люди на заграничный этот блеск клюют. Мне кажется, что наш Хирург собирается рвануть через морскую границу.

— Это было бы хорошо. Там-то мы его точно сцапаем. Море — прекрасная ловушка для подобных типов.

— Да, — согласился Корта, но в голосе его слышалось сомнение.

— Какой-то он скользкий, — продолжал поручик, — этот тип. Столько хлопот из-за одного сопляка.

В кабинет вошел милиционер.

— Донесение сержанта Кирилко из Щецина, товарищ капитан, — доложил он.

— Давайте!.. Ну что я вам говорил! Рыбка клюнула на крючок. Ну теперь одно из двух: или он у нас в руках, или дело пойдет в архив, — заключил Корта и протянул телефонограмму своему помощнику.

«Поручик Тадеуш Лех, работник областного управления милиции в Щецине, возвращался из отпуска на поезде Колобжег — Щецин в 13 часов 25 минут, — прочел Габлер. — В поезде увидел человека, по описанию очень похожего на ограбившего ювелирный магазин преступника. К этому выводу он пришел на следующий день, просматривая поступившие за время отпуска документы. Приблизительный возраст преступника 20—23 года, брюнет, рост выше среднего, удлиненный овал лица, прямой нос, серо-зеленые глаза, большой, резко очерченный рот, интеллигентная манера говорить. Ехал с девушкой в том же купе, что и поручик Лех. Одет был в бежевые брюки, коричневую рубашку и бежевую куртку. В руках коричневая папка. Описание девушки: блондинка, рост средний, не полная, глаза голубые, лицо овальное, кожа белая с румянцем, нос слегка вздернут, густые красивые, очень светлые волосы. Приблизительный возраст 20 лет. Одета в летнее розовое платье с белым поясом, белые туфли, белая сумка. Поручик Тадеуш Лех разговаривал в дороге с этим человеком и обратил внимание на его руки с длинными пальцами, гибкими и подвижными. Молодые люди везли с собой черный чемодан и рюкзак. Предполагаемый преступник и девушка вышли на вокзале в Щецине в 15 часов 30 минут. На перроне поручик Лех потерял их из виду».

— Наверное, пытался уйти через Гдыню, — сказал Корта. — Там ему не удалось. Этот же маневр хочет повторить в Щецине. Будет искать знакомства с моряками. Думаю, там мы его и возьмем.

Капитан позвонил в Щецин и предупредил, что немедленно вылетает. С аэродрома Корта связался с главным управлением и поручил Габлеру наблюдать за Влохами. Ему не давала покоя поездка Хирурга во Влохи.

Поручик Лех ругал себя на чем свет стоит. Корта понял, в чем тут дело. Тот боялся, что его обвинят в отсутствии бдительности.

— Ведь преступник был у меня в руках, и я дал ему возможность уйти, — сокрушался поручик.

— Далеко не уйдет, — заметил капитан Корта спокойно. — На вокзале в Гдыне он тоже был почти у нас в руках. Мы же еще точно не знаем, он ли это. Играем в прятки с тенью.

Поручик был очень молод и наверняка мечтал именно о таком серьезном, настоящем деле. Сама судьба представила ему возможность отличиться, а он упустил этот шанс...

Корте нравился молодой следователь. На открытом лице поручика читались все его мысли и чувства.

— Такая уж у нас работа, поручик. Бывает, раз по десять расставляешь сети на одного и того же человека, а он в последний момент уходит... Расскажите-ка лучше, о чем вы разговаривали в поезде с этим типом.

— Об ограблении ювелирного магазина в Варшаве, — сказал тот, покраснев.

— Ну и ну, — усмехнулся Корта. — У парня, видать, крепкие нервы.

— Какие там нервы! — горячо возразил поручик. — Хлипкий интеллигентик! Вы бы видели, как у него задергался глаз, когда я завел этот разговор. А девушка, видно, совсем не в курсе, что это за птица. Я почти уверен. Он для нее, ну, прямо свет в окошке. Она кормила его всю дорогу. Так тряслась над ним, просто в рот глядела. Мне, конечно, сразу надо бы обратить внимание на его реакцию, но понимаете, я ведь не на службе, еду в поезде после отпуска...

«Да, он прав, — подумал Корта. — Когда возвращаешься из отпуска и видишь на столе акты, кипы стенограмм, сообщения то все это кажется неразрешимым ребусом. Тебе просто не повезло, поручик...»

— Поступили сообщения из города? — спросил он через минуту.

— Никто не видел такого человека с девушкой. Никто во всем Щецине. Может быть, они разделились? На всякий случай мы ведем наблюдение за иностранными кораблями.

«По всей видимости, преступник попытается уйти через порт, — подумал Корта. — Его заставит поспешить встреча в поезде с Лехом».

— Наблюдайте за рекой, — сказал капитан неожиданно. — Ведите поиски в районе реки. В радиусе ста километров от Щецина.

— Почему реки? — недоумевающе спросил Лех.

— Они наверняка будут отсиживаться в кустах на берегу Одры, — убежденно пояснил Корта. — В отель, конечно, не пойдут, в кемпинг тоже. Не рискнут появиться даже у знакомых в городе. Проще всего укрыться на берегу реки.

— Да, но так же просто укрыться и в лесу, рядом с какой-нибудь деревней.

— Он не может медлить, ему надо скорее пробиваться к морю. А это возможно только по реке или вдоль берега реки...

ЧАСТЬ III Одиночество

ГЛАВА 1

Совсем стемнело, когда они оказались в устье реки на границе Щецинского залива. Отсюда им предстояло пробраться в открытое море.

«Точно рассчитал, — мысленно похвалил себя Анджей. — Глупая дядина болтовня! Я же сказал, что переплыву!.. Главное — иметь голову на плечах...»

На воду опустился вечерний туман и окутал саваном байдарку. Анджей почувствовал себя увереннее, хотя понимал, что еще не все испытания пройдены.

«Если пойдет так и дальше, то я, пожалуй, проскочу», — думал он.

Сверился с картой. Начинался самый опасный отрезок пути. Агнешка помогала грести. Сейчас они находились под башней, на которой вращались прожектора. Лехонь стиснул плечо девушки. Она поняла его и осторожно опустила весло. В тишине, окружавшей их, ему слышалось лишь биение собственного сердца. Он греб медленно, старался бесшумно опускать весла в воду. Байдарка находилась на таком близком расстоянии от берега, что Агнешке казалось, будто стоит протянуть руку — и достанешь до прибрежной травы. Через некоторое время они выплыли в морской залив. Темнота и густой туман скрывали все вокруг. Анджей не различал даже силуэта девушки, сидевшей впереди него.

Агнешка услышала, как весло с тихим стуком ударилось о борт байдарки, закачавшейся на морских волнах. Замерла в испуге, опасаясь перевернуть лодку. Анджей снял куртку. Его охватило отчаяние, он понял, что дядя был прав, а он преувеличил свои возможности.

«Одному богу известно, как мы туда доберемся. Это выше человеческих сил. Но я попробую. Буду держаться до конца. У меня нет иного выхода. Возвращение равносильно смерти. Ну ничего, ничего! У меня есть еще две пули. Одна для меня, другая — для нее. Живой я ее не выпущу».

Он улыбнулся про себя, осторожно залез в карман куртки и вынул бутылку водки.

«Без этого ничего не получится, — подумал Анджей. — На трезвую голову не выдержать такого напряжения. Мне предстоит всю ночь красться мимо этих башен с прожекторами».

Неожиданно он услышал смех и мужские голоса. Это произвело на него впечатление разорвавшейся бомбы. Только через минуту он сообразил, что пограничники разговаривают не очень громко, но в окружающей тишине все звуки усиливаются. Анджей замер с бутылкой у рта, не успев сделать глотка. Два пограничника шли вдоль берега.

— У Казика в воскресенье помолвка, — сказал мужской голос на берегу.

Силуэты приближались к тому месту, где на волнах покачивалась байдарка.

«Ну вот и конец», — подумал Лехонь, переложил бутылку с водкой в левую руку, а правой сжал холодную рукоятку пистолета.

Агнешка сидела неподвижно, словно каменное изваяние.

«Хорошо, что я посадил ее впереди, — подумал Анджей, — она не может следить за моими действиями».

— ...Мать невесты не хочет выдавать дочку замуж без венчания в костеле, — сказал тот же голос, — и Казика заставляют венчаться...

— Подумаешь, ну и что тут такого? — ответил второй голос. — Обедня девку не испортит. — Оба засмеялись. — Не волнуйся, Казик не такой парень, чтобы покупать кота в мешке.

Анджею казалось, что тени движутся очень медленно. Наконец пограничники скрылись за поворотом, но еще долго раздавались их голоса, живо обсуждавшие интимные стороны жизни невесты.

«Странная вещь, — подумал Лехонь, — стоит мужчинам заговорить о женщинах, и они ничего не замечают вокруг».

Он отпустил рукоятку пистолета и почувствовал, как свело пальцы судорогой. Потом выпил из горлышка бутылки всю водку.

— Что ты делаешь?! — испуганно прошептала Агнешка. Она повернулась к нему, едва отошли пограничники. — Надо уходить отсюда.

Анджей промолчал, зная, что, если начнется истерика, он просто свернет ей шею.

«Нужно не поддаваться панике и медленно плыть вдоль самого берега, — спокойно подумал Лехонь. — Иначе получишь пулю. Даже когда начнет светать, только вдоль берега... Времени должно хватить. Я все высчитал».

Он бесшумно заработал веслом. Водка огненным теплом разливалась по жилам. Снова появилась уверенность в себе, в своих силах. Звуки из внешнего мира доносились до него, словно сквозь вату. Все внимание Анджей сосредоточил на веслах, на байдарке и на береге. Агнешке приказал сидеть спокойно.

Едва на берегу появлялся патруль, Анджей переставал грести и замирал. Это было невероятно, но никому не могло прийти в голову, что кто-то отважится плыть в нескольких метрах от сторожевых постов, вышек и пеших патрулей. Кто же мог предположить, что человек рискнет идти в Швецию на раскладной байдарке? На что мог надеяться такой отчаянный? На удачу?.. Но у Лехоня и в самом деле не было иного выхода. Он крался на байдарке вдоль берега, не раздумывая, не колеблясь.

Выплыли незамеченными в морской залив, миновали Свиноустье. Анджей понимал, что выиграл только первый раунд. Как он и рассчитывал, воды залива еще были погружены в предутреннюю мглу. Наутро байдарка оказалась вне территориальных вод.

ГЛАВА 2

Вошел высокий капрал с резкими чертами лица.

— Мы получили известие с «Ингеборга», — сказал он. — Полчаса назад корабль вышел в море. Один моряк не вернулся

из увольнительной. Это шведский танкер, — добавил капрал в пояснение информации.

«Возможно, Хирургу предстояло заменить этого моряка? — подумал Корта. — Где этот моряк? Найдется... Живой или мертвый».

Милиция уже допросила нескольких местных проституток. Разыскиваемый моряк провел с одной из них ночь. К ней пришли вдвоем — швед и какой-то поляк.

«Хирург ищет контактов с иностранцами, — думал Корта. — Похоже, что это он».

Капитан не отходил от телефона. В одиннадцать часов милиция накрыла шведа у той же девицы. Их привели в управление. Девица была насмерть перепугана и тряслась от страха. Небольшого роста, брюнетка, очень сбивчиво и нескладно отвечающая на вопросы.

— Он пришел ко мне час назад, — говорила брюнетка, — и я не знала, что «Ингеборг» вышел в море без него.

— Он пришел один? — спросил капитан.

— Да, совершенно один, — промямлила девица.

— А куда девался поляк?

— Не знаю, — замахала она руками, — того забрала Казя Майк.

Швед утверждал, что расстался со своим спутником ночью. Вместе пили в баре, а потом пошли к знакомой поляка, попросили привести какую-нибудь подружку. Знакомая пригласила Казю Майк. Вчетвером выпили немного рома, потанцевали, и около полуночи поляк с Казей ушли. Швед услышал шум на лестнице, вроде скандала. Потом все стихло.

Швед неплохо говорил по-немецки. Он нисколько не огорчился своим теперешним положением. Сказал, что ему нравится в Польше, а домой вернется на первом же попутном шведском корабле.

— Вы знаете, как зовут поляка? — спросил Корта.

Швед пожал плечами.

— Разве вы спрашиваете имя и фамилию у каждого, с кем случайно выпиваете в баре? Он ко мне сам привязался. Говорил, что приехал сюда в отпуск. Я к тому времени здорово набрался. Девочка может подтвердить. В таком состоянии все кошки серы. Я бы даже и сейчас его не узнал, покажи вы его мне.

— Он предлагал вам какой-нибудь бизнес?

Швед быстро взглянул на Корту.

— Никакого, — ответил он четко, чтобы ни у кого не оставалось сомнений.

Казя Майк подтвердила показания шведа и своей приятельницы. Она провела ночь с туристом из Варшавы.

— Куда он пошел утром?

Казя пожала плечами.

— Он мне не рассказывал, куда идет и зачем. Звали его Тадек, а кто он — мне не интересно.

— Вы ведь работаете в комиссионном магазине, — резко сказал поручик Лех, — а лезете во всякие темные дела.

— А вам-то что?! — заверещала девица. — С кем хочу, с тем и сплю. Может, он мне понравился.

— Ну ладно, ладно! — утихомирил ее поручик. — А потом этот парень куда пошел?

— Не знаю. Правда, не знаю.

— А что за скандал был у вас на лестнице?

Девица смутилась.

— Никакого скандала, — твердо сказала она. — У меня очень ревнивый жених.

— И что же, он просто взял и ушел? — спросил Лех с издевкой. — Оставил вас?

— Оставил, оставил! — вконец рассердилась девица. — Да что он мне?! Содержит он меня, что ли? Я у себя в комиссионке в десять раз больше зарабатываю. Пусть только попробует пикнуть. Я его быстренько отошью. На свете парней хватает.

Корта еще раз проанализировал это происшествие. Подвел итоги: «турист», как и человек с вокзала в Гдыне, как и попутчик поручика Леха, мог оказаться Хирургом. Во всяком случае, это высокий молодой брюнет с серо-зелеными глазами. В Гдыне он, видимо, был один, а потом поездом добрался до Щецина. Описание сопровождающей его девушки совпадает в обоих случаях.

«Турист» был один. Влюбленная девушка вряд ли отпустит от себя парня. Тем более, по рассказу Леха, очень сильно влюбленная. Ему было бы трудно и рискованно удрать от такой девушки. Да и зачем? Стоп! Я сейчас пошел только по линии эмоциональной. Хирург должен найти человека, который поможет ему попасть на иностранное судно. В таком случае ему надо выпить с этим человеком и, конечно же, в мужском обществе, а потом, быть может, пойти к женщинам. Влюбленная девушка ему мешает. Следовательно, от нее необходимо избавиться. Если «турист» и Хирург одно и то же лицо, то ему надо было куда-то сплавить девушку. У них могли быть здесь родные или друзья, у которых он пристроил ее. Отели находятся под наблюдением. Все рестораны — тоже. Если и существует такое место, то это или у кого-то в доме, или на берегу Одры. Маловероятно... Залив патрулируется, и девушку очень быстро обнаружили бы. На улице он не мог появляться с девушкой, потому что наверняка догадывался, что их ищут вместе. Хитрый малый! «Туриста» найти необходимо. Арестовать жениха Кази Майк?.. Но нет никаких оснований для этого. Парень работает на электростанции. Его мать утверждает, что в ту ночь, когда «турист» был у Кази Майк, он ночевал дома».

Капитан стиснул зубы. Его вдруг впервые охватила ненависть к этому неуловимому Хирургу.

С момента ограбления ювелирного магазина вплоть до приезда в Щецин Корту не покидало ощущение того, что Хирург предугадывает все его действия и, как мираж, ускользает от него.

Перевела с польского И. Смирнитская

Окончание следует

Игорь ЛЯПИН

НАСЛЕДНИКИ ФРОНТОВИКОВ

Вот встретились —
и, как родные,
Сидим обнявшись.
Он да я.
Хоть люди мы и молодые,
Но очень давние друзья.
И дружбы этой
нужно стоить,
И подвести
нельзя ни в чем
Того,
с кем есть уже что вспомнить
И есть
что помнить
Горячо,
До боли,
до самозабвенья.
Мы в мир вошли
на той заре
Кровоточащей,
И с рожденья
Нас все касалось на земле.
И что ни год —
острей касалось.
И слава
и беда страны.
И никогда нам
не казалось,
Что мы судьбой обделены.

Те годы —
наша сокровенность.
В них юность
трепетно жила,
Хоть к нам
за детством
сразу зрелость
Вполне уверенно пришла.
И нынче,
только память трону,
Передо мной
опять встает
Работавший на оборону
Металлургический завод...
Здесь от печей
не много света,
И фонари
всегда темны,
Но утверждается
Победа
Тебе завещанной страны.
И грузный цех
трубопрокатный
Значенья полон был для нас
Не только
твердою зарплатой,
Хотя и ею...
Сколько раз
Уже в цехах
других заводов,
Где чуть не свет дневной кругом,
Где сталь идет —
для звездолетов,
Мы вспомним
именно о нем.
Его гудки,
как позывные,
Придут из огненных годов.
Ведь наши
книжки трудовые
Постарше
наших паспортов.

* * *

Неправда, друг, что в человечестве
Сегодня меньше человечности,
Что люди нынче стали отчужденнее.
А думы отчего у нас тяжелые?
И отчего подруги наши милые
Так мало верят в ночи наши мирные,
Когда над колыбельками склоняются
И то ли плачут, то ли улыбаются?..
Ну а у нас натерты спины скатками,
И у бровей раздумья — складками.
Мы на перронах коротко прощаемся,
Мы по-мужски с друзьями обнимаемся,
И остаемся дружбе этой верными,
И с именами самыми заветными
Становимся и тверже, и отважнее,
И каждый в жизни утверждает важное.

Нам этот мир и строить и устраивать,
Нам предстоит любовь свою отстаивать,
Стоять угрюмо перед обелисками,
Политыми слезами материнскими.
И судьбы продолжать неповторимые,
И, глядя сыновьям в глаза пытливые,
Увидеть в них с волнением отеческим —
Все так же будет, все по-человечески.

АФРИКА

Гастон БАРТ-УИЛЬЯМС
(Сьерра-Леоне)

БАРАБАНЫ

Над огненно-рыжим простором саванны,
в громадах ущелий, пустынь и гранитных
груд —
бьют барабаны!
Бьют барабаны, бьют барабаны, бьют!
О чем барабаны поют,
что они возвещают?
Что руки, крепкие смуглые руки,
стучащие в гулкую кожу,
сбросили цепи насилья и муки,
рабство навек уничтожив.
А там, где еще подневолен труд,
где в глубине плантаций и руд
мы золото грузим в чужие карманы, —
там тоже верно и неустанно
над рабством готовится суд.
Бьют барабаны, бьют барабаны, бьют!
О чем они оповещают?
Что ветер свободы хотя и крепчает,
но мало только разрушить уют,
воздвигнутый на наших костях.
И чтобы свободы посев не зачах
в пустых обетах, в громких речах,
нам надо стены нового дома

строить — пусть старый разломан,
пусть наш подъем немыслимо крут —
нет места в новом доме обману.
Бьют барабаны, бьют барабаны,
бьют!

Дэвид РУБАДИРИ
(Уганда)

ВОЛНЫ С ЗАПАДА

Волны, бегущие с Запада,
до костей промывают Африку,
стучат по ребрам моим,
и ребра мои звенят,
словно звенья цепей на галерах,
словно песня невольничья
ребра мои звенят,
иссеченные волнами с Запада...

Волны, бегущие с Запада,
разрывают сердце Африки
и сжигают мозг мой, как некогда
сжигали нас на кострах.
Волны, бегущие с Запада,
размывают душу Африки,
впиваются в плоть ее.

Гастон Барт-Уильямс родился в Сьерра-Леоне в 1938 году. Пишет стихи и прозу. Он неоднократно выступал со своими стихами по радио Канады, Швеции, Норвегии и других европейских стран, на митингах против войны США во Вьетнаме. У Барт-Уильямса вышло несколько сборников стихотворений в Англии, Франции и в ГДР. Лауреат всеафриканской литературной премии «За культурное освобождение».

Дэвид Рубадири родился в Малави (тогда Ньясаленд) в 1933 году. Получил образование в Кембриджском университете. В 1959 году был приговорен к тюремному заключению за участие в освободительной борьбе. После освобождения работал в ООН, занимал различные дипломатические посты. В последние годы целиком посвятил

Становятся волны кровавыми.
И кровью исходит Африка.
Волны, бегущие с Запада,
кровью омыли Африку.

* * *

Чистый смех африканских детей
зазвенел в полумраке вечернем.
Опадает туман на деревню,
повисая, как плащ, меж ветвей.
Тишина и покой над деревней,
и у хижин дымятся костры.
Я иду сквозь туманную свежесть,
отдохнув, как земля, от жары.
Сколько видано мной потрясений,
сколько в мире прошел я дорог,
сколько раз я в сраженья бросался,
сколько раз своих сил не берег,
столько пережил!
Что же в итоге?
Нет, довольно мне жить на дороге.
В старой школе, в деревне моей,
где сегодня под вечер иду я,
возвращает мне радость простую
чистый смех африканских детей.

себя литературной и преподавательской деятельности. Жизнь первого африканского поколения, родившегося после освобождения, — основная тема стихов Рубадири.

Деннис Брутус — один из самых активных борцов против расового угнетения в Южной Африке. Преподаватель права, спортсмен, несколько раз увенчанный чемпионскими венками, он работал в университете Иоганнесбурга в ЮАР, когда в 1961 году его бросили в тюрьму за антирасистскую деятельность. В тюрьме он написал свои первые книги стихов, полные гнева и боли за судьбу угнетенного негритянского населения ЮАР. Брутусу удалось бежать в Англию, где сейчас он возглавляет Всеафриканский комитет против участия ЮАР в Олимпийских играх.

Деннис БРУТУС
(ЮАР)

* *

В нас ненавистью вскормлена любовь.
Мы дышим, и едим, и пьем украдкой,
и на своей земле живем с оглядкой,
нам горек вкус и хлеба и вина.

Но более всего — покой болотный
нам ненавистен. Сытостью животной
не будет наша плоть осквернена.
От ненависти плавится она.

Раздавленная, корчится страна,
где мы живем. И нашей плотью страстной
сегодня стало отвращенье к рабству.

В нас ненавистью вскормлена любовь.

* * *

И все ж мы выжили.
И нежность пронесли в себе нетленной.
Ножи прожекторов скребут
по нашим беззащитным силуэтам.
Над головами нашими висят
бессчетные фашистские запреты,
ежеминутно раздавить грозя.
В ночные двери сапоги стучат.
И все ж мы выжили.
И нежность нерушима
среди разлук, лишений и утрат.
В ночах, как змеи, патрулей машины
шуршат, и в жалах спрятался свинец.
И весь наш край —
вот что всего больнее —
исполосован ужасом вконец.
А мы еще слабы и не умеем
свой гнев переносить в дела.
И все же нежность в нас не умерла.

* * *

Приходит ночь.
Любимая, усни.
Над гаванью — холодные огни.
Гремит бессонный док в ночных погрузках.
Как тараканы, в переулках узких
шныряют патрули, тревожа сон
хибар, скрипящих ржавой жестью,
где люди чужды тараканьей мести...
И гневом звон пронизан колокольный,
и гневом дышат камни скал и почва.
Но ты усни, страна моя, спокойно.
Любовь моя, усни хоть этой ночью!

Перевел Станислав Золотцев

ДОЧЬ МОЯ ЗОЯ

Из разных уголков нашей страны люди разных профессий и возрастов пишут мне о своей учебе и работе, о своих заботах, о детях и часто просят рассказать что-нибудь еще о моей дочери.

О Зое написано много. Поэтому читателям «Молодой гвардии» я хочу рассказать лишь то, что они о ней не знают.

Зоя и Шура воспитывались так же, как и миллионы молодых людей нашей страны. Были они пионерами, потом — комсомольцами. Играли в Чапаева, взахлеб читали «Как закалялась сталь» и «Тихий Дон», встречали после героического полета Чкалова и отважных полярников. Романтическая влюбленность в жизнь была свойственна всему тому поколению.

Увлечениям Зои и Шуры тоже не было конца. Особенно выдумкой отличалась Зоя. Она могла часами ходить по городу, отыскивая в магазинах литературу о лотосах. А причиной тому были два маленьких круглых листочка, плававших в банке, невесть где добытых.

Не помню уж, после какой книги собирались они с Шурой организовать экспедицию в Сибирь за костями доисторических животных и после какого фильма хотели поднимать с морского дна затопленные в гражданскую войну корабли. Говорили, что на этих кораблях сохранились бесценные материалы и что корабельный колокол можно будет очистить от ракушек, и он снова зазвенит...

В те годы война была далека от них. Огромные стройки, открытия, экспедиции, общая жизнерадостность — все это казалось вечным, непреходящим. Война детям представлялась чем-то необыкновенно захватывающим, как сплошной подвиг, как одна большая победа. Но скоро им пришлось узнать, что нелегок путь к большой победе. Зоя начала этот путь в сорок первом, Александр заканчивал его в сорок пятом.

Миллионы советских людей прошли этот путь, в котором, по словам М. И. Калинина, человек за один или несколько месяцев переживает то, что в мирное время не переживается и за десять лет, а может быть, не переживается за полжизни.

Но это потом наши дети мужали в короткие сроки, а до того они продолжали увлекаться различными вещами. Не скажу, чтобы я всегда поощряла их увлечения. Жили мы без отца, жили трудно, много приходилось заниматься хозяйственными делами, а главное, ребятам нужно было хорошо учиться. К этому я относилась строго. Зато по вечерам Зоя и Шура склонялись над самодельными картами озера Светлояр, воды которого в отдаленные времена скрыли таинственный град Китеж...

Шура хорошо рисовал, у него несомненно были способности. Жаль, что сохранились только три его работы, написанные маслом. Рисовал он много, на самые разнообразные сюжеты, любил пейзажи и жанровые картинки, но помышлял и о большом историческом полотне. Помню, Зоя как-то подшутила над ним, перевернула рисунок и со смехом заявила, что ничего не изменилось: облака стали сугробами, а сугробы — облаками. Шура расстроился, но не надолго — он вообще быстро отходил, потому что по природе своей был добродушен. Хотя тоже не упускал случая подтрунить над сестрой.

Однажды, вернувшись домой с лыжами, он сказал, что катался по газонам. Зоя возразила, что газонов зимой не существует. «Значит, тогда и садов зимой не бывает? Куда же они деваются? — притворно удивился Шура, с удовольствием отмечая, что поставил ее в тупик.

В школе Зоя говорила, что хочет стать журналисткой, но втайне мечтала о писательском труде. Может быть, Зоиной мечте способствовали короткие встречи с Аркадием Гайдаром. Зоя бережно хранила подаренную ей Аркадием Петровичем книгу, знала ее чуть ли не наизусть. Она и сама пробовала писать, но всегда оставалась недовольной и рвала написанное.

Отчетливо сохранилась в моей памяти осень 1941 года.

Мы испытывали большие материальные затруднения, в Москве плохо было с продуктами. Мы ходили на опытное поле Тимирязевской академии, собирали оставшиеся капустные листья, варили щи. Зоя была задумчива, долго не отрываясь смотрела в сторону березовой рощи. День был сырой, пасмурный, зябкий, на деревьях клочьями висела золотая листва, а стволы ярко белели. «Мама, — сказала Зоя, — теперь я знаю, почему березу всегда любили в народе: она белая и в заплатках». На это я возразила, сказав, что не только береза, но и другие деревья любимы народом, хотя бы рябина. Зоя улыбнулась: «Рябина — совсем другое, рябина веселая, потому что листья у нее, как рябь на реке. Потому и называется рябиной». Не знаю, сама она это придумала или слышала от кого. Потом мы говорили о том, что дуб — это сила и мужество, и еще о чем-то.

Москва в те дни жила напряженной жизнью: на окраинах баррикады, металлические «ежи», по улицам непрерывное движение: грузовики, пехота, танки. Витрины магазинов выложены мешками с песком, на балконах пулеметы, в садах зенитки... В Подмосковье горожане возводили укрепления, школьники помогали убирать картофель.

Вернувшись из колхоза с уборки, Зоя очень изменилась, стала

сосредоточенней, молчаливей. По вечерам она пыталась читать, но тут же бросала книгу и все думала, думала.

Вскоре по комсомольской путевке Зоя ушла в партизанский отряд. Много было ребят, которые от пионерских костров ушли к партизанским. Они шли, чтобы взрывать составы с вражеской техникой, разрушать мосты, жечь склады с боеприпасами, они шли, чтобы мстить. Конечно, первые партизаны с бутылками горючего и кое-каким вооружением не всегда могли нанести большой урон фашистам, но их заслуга в том, что они были первыми и в тяжелейших условиях противопоставили фашистам силу своего богатырского духа. «Знайте, товарищи-земляки, каждый из нас готов отдать за свою Отчизну все свои силы, свою кровь. Мы готовы зубами перегрызть врагу горло. Мы совсем близко от вас. Мы с вами, наши родные советские люди!» — писали они в листовках.

Фашисты вынуждены были признать, что занятые ими области отнюдь не покорены и что навстречу им поднимаются огромные валы народного гнева.

Война — это большое человеческое горе. И вся тяжесть этого большого горя ложилась прежде всего на плечи матерей. За похоронками они видели своих детей, закоченевших в сугробах, на пыльных курганах и у березовых рощ... Они видели их и в белых рубашках, впервые переступающих порог школы, или на полу с любимыми игрушками.

У Зои тоже были незамысловатая лошадка на колесиках и однорукая кукла. Я и сейчас очень ясно вижу ее младенческую улыбку... Мне довелось увидеть дочь, когда она лежала, исколотая штыками, с обрывком веревки на шее. Лицо ее было спокойно. Даже очень спокойно... Нет, нельзя передать словами то, что я увидела на ее лице.

Заканчивая эти отрывочные записки, мне хочется вернуться к тому, с чего я начала, — к бесконечной Зоиной влюбленности в жизнь. Это дало ей силы стойко перенести пытки и достойно встретить смертный час. А ведь во многом она была еще ребенком, неумелой и робкой девочкой. И если она шутливо грозила Саше кулаком, то какой это был нескладный кулачок!

Припоминаются мне отдельные дорогие подробности: осень, мы идем по лужам, настоянным на кленовых листьях, Зоя срывает гроздь рябины, а дома, на столе, выкладывает из красных ягод Большую и Малую Медведицы.

В последнюю ночь по двери бежали искорки инея — в комнате было холодно, чадила лампа. Шура спал, а мы не могли заснуть. Наутро Зоя уходила... Она поцеловала меня и вскочила на подножку трамвая... Она и теперь все еще уходит от меня, и так будет всегда: суровое, ветреное утро, трамвай, свисающий с плеча вещевой мешок...

Если я выхожу ночью на балкон, то всегда смотрю в небо, хотя, конечно, не знаю, в какой его части находится Зоина звезда.

И вот теперь, когда отмечается ее пятидесятилетие, мощный теплоход «Зоя Космодемьянская» начинает бороздить морские просторы. Его увидят и те страны, в которых еще идет борьба за свободу, та борьба, за которую она отдала свою молодую жизнь.

Пусть всегда ее образ окрыляет нашу славную молодежь жизнелюбием, преданностью Родине, делу нашей родной Коммунистической партии.

ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА. ГОД ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ

Анатолий КАНЕВСКИЙ

РОМАНТИКА С НУЛЯ

Двадцатиметровая окислительная колонна в сорок полновесных тонн лежала перед самым въездом в цех, и Косинову казалось, что всем она мешает и мозолит глаза. Три колонны уже стояли на своих местах, как гигантские молочные бутылки в гнездах проволочного контейнера, а когда очередь дошла до последней, заболел бригадир Василий Крам. Ну так что ж? Значит, вся жизнь остановилась? Ведь, если разобраться по существу, то не бригадир, а он, мастер Косинов, должен руководить подъемом.

Косинов ходил вокруг этой немой глыбы стали и злился на свое бессилие, а вернее сказать, трусость. В раздражении он даже пнул колонну. Она глухо проворчала «у-ух», и это «у-ух» пролетело двадцать метров, вернулось назад и смолкло. Если рассуждать по-пашкиному, выходило, что он ее хозяин, значит должен с ней что-то делать. Да-а, уж кто-кто, а Пашка — его сосед по комнате — не терзался бы на этот счет сомнениями. Как он раздраконил его после неудачи с опрессовкой паропроводов!

Косинов тогда пришел в общежитие совершенно подавленный. Пашка лежа читал книгу, задрав на спинку кровати босые ноги.

— Ты чего такой сумной? — покосившись на Олега, спросил он.

— Сегодня чуть аварию не сделал, — с убийственным спокойствием ответил Олег. — Пустил пар в тоннеле по свободной трубе.

— Так это ты? Как же, слышали.

— Все, — сказал Олег, — мастера из меня не получилось. Вот закрою наряды и уеду.

— Ну-ну, — Пашка порывисто загнул страницу и, хлопнув книгой, поднялся. — Ну и зануда ты! Хемингуэя вот читай, — свирепо сказал он и провел пятерней по своим жестким, будто проволочки троса, во-

лосам. — Такие мужики у него — сила! А ты носишься со своими болячками, как с медалями. Пожалей, мол, посочувствуй!

Пашка вскочил и стал ходить по комнате, возбужденно рассуждая и размахивая руками.

— Да я с самого начала знал: не будешь ты мастером — больно соплив. Институт кончил, а куда годишься на поверку? Я вот вчера работал рядом. Смотрел, как ты тихой овечкой ходишь вокруг своих работяг. Ты же хозяин! — убеждал он. — Ты же на работе всему голова! Авария! Да ты в своей жизни видел аварии? То-то. Ты думаешь, этот твой Венька Новиков не знал, что так выйдет? Будь здоров! Он сейчас, поди, всем рассказывает, как умакнул мастера. Он ведь эти трубы еще в начале лета прокладывал и знает, что к чему. А прикинулся исполнительным. Показал ты ему — он и сделал.

Олег недоверчиво покосился на Пашку, а тот, умостившись на кровати и обняв руками колени, сыпал и сыпал соль на его раны.

— Разве ты не знаешь, что новичкам везде устраивают испытания? Думаешь, я таким не был? Будь здоров! Еще в Братске начинал подручным у сварщика. Ох, и боялся я тогда высоты. Мы арматуру варили. Вот как-то раз мне мой сварной и говорит: «Ты фазу здесь не видел?» А сам оглядывается, ищет. Ясное дело, и я стал глазеть по сторонам. «Вот не везет, — говорит, — фаза потерялась. А ну, лезь к Левке. Во-он он! Может, у него лишняя есть». Ну я и полез. Куда денешься? Лезу, а в глазах от страха темно. Наконец докарабкался. «Дядя Лева, — говорю, — у тебя фазы лишней нету? Семен свою потерял». Он зыркнул на меня да как заорет: «Иди ты, байстрюк, к такой-то бабушке». Ну, сам понимаешь, звону на всю неделю хватило. Вот так, — закончил Пашка. — Хочешь чувствовать себя в собственных штанах, не давай никому кусаться. Понял? Ма-ай-стэр!

После этого разговора Олег почувствовал себя уверенней. Впрочем, до настоящей уверенности было еще далеко... Когда ехал сюда, в Невинномысск, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, мысленно прикидывал, что будет делать, когда станет мастером монтажного участка. Его товарищи разъехались по заводам. Там все более или менее определенно и знакомо по практике. А здесь, на стройке... Когда он впервые увидел пустой железобетонный каркас и горы развороченной земли, то подумал, что произошло недоразумение. Ничего такого, где он мог бы пригодиться, тут не было. Но начальник стройучастка Сахно, крупный человек с неприветливым лицом, и рта не дал ему раскрыть, повел его на площадку, где представил рабочим трех монтажных бригад, после чего сказал:

— Командуй. И давай без нянек. Я, знаешь ли, не успеваю везде. — Он похлопал Олега по плечу и добавил: — Не робей. Все мы когда-то были молодыми.

«Что значит — командуй, — думал ошеломленный Косинов, глядя, как спокойно и деловито работают монтажники. — Они и без меня знают, что им делать».

Худощавый, светлоголовый, в потертых узких джинсах, чуждый всему, что делалось вокруг, стоял он на том самом месте, где оставил его Сахно, и ругал себя, что не решился сразу отказаться от этой работы. Ведь он механик, а инженеру его профиля здесь делать нечего.

...И вот перед ним элементарная инженерная задача — устано-

вить колонну. Чего он трусит? Ведь видел же, как Василий Крам ставил те три. И кажется, наизусть запомнил. Для Крама это обычная работа, он любит возиться с такими неуклюжими штучками. У Крама опыт. Он на глазок прикинет, как и чем ее цеплять, и пожалуйста: «Вира помалу». Ну так что ж, что опыт: есть опыт, а есть и расчет. И Косинову вдруг подумалось: как ненадежны мосты между теорией и практикой! Что может он? Рассчитать тросы и прогиб вон того прогончика, который придется использовать как опору для колонны. А какие штучки может выкинуть она? Она вполне может загреметь. Ей, в сущности, начхать на все интегралы Мора. Но... у Крама колонны почему-то не падали и никогда падать не будут, потому что он не боится их. Значит, договорились: падать она не имеет права. Ну так, слабо? Перейди эту черту — и перестанешь чувствовать себя студентом на практике. Все пойдет по-другому.

Он шел по цеху и оглядывался на колонну, чернеющую в огромном светлом проеме.

За воротами комбината Косинов увидел прораба Арепина, который возился со своим стареньким «Москвичом».

— Помощь не требуется? — спросил Косинов.

Арепин, тучный пожилой мужчина с нездоровым румянцем и толстым, в синих прожилках, носом, с трудом разогнулся и буркнул:

— А черт ее знает, что ей требуется.

Его прокуренный бас вызывал особенное уважение у Косинова. Опытный «волк», за плечами которого не один десяток лет на монтаже, казался Косинову живым воплощением сурового монтажного дела, образцом прораба монтажников. «Москвич» завелся, и Арепин предложил:

— Садись, подвезу.

Косинов втиснулся в кабину. Арепин закурил и стал выруливать на бетонку.

— Ну как, мастер, не сладко приходится? — шутливо спросил он.

— Не сладко, Василий Гаврилович, — признался Косинов.

— Вот-вот, — щурясь от дыма, насмешливо подхватил Арепин. — Бывает, жалеешь, что попал сюда?

— Да нет, дело не в том, — досадливо ответил Олег. Ему вдруг захотелось все рассказать этому бывалому человеку. — Просто, понимаете, злость берет. Вот лежит у меня перед цехом окислительная колонна. Ставить ее надо, а Крам заболел. Вот я и думаю, что с ней делать.

Арепин кивнул понимающе.

— Да если бы он не заболел, то все равно ведь это моя обязанность руководить подъемом колонн.

— Вот что, мил человек, я тебе скажу. Такелаж — это, брат, святая святых монтажа. Кто прошел через него, тот настоящим монтажником себя может считать. Это не то, что насосики там да котелки устанавливать. Но так уж у нас повелось, что не прораб и не мастер, а бригадир сам обычно кумекает, как поднимать тяжеловесы, и сам всем командует. И никто ничего без Крама не сделает.

— Вот-вот, так как же я могу руководить людьми, которые знают больше моего? — спросил Косинов. — Мне надо идти в бригаду, а Краму — на мое место.

— Так-то оно так, — Арепин помолчал, объезжая грузовик. — Я тебя не отговариваю, Николаич. Только ты как следует рассчитай все. Смотри, чтоб конфуза не вышло. Сахно и так на тебя волком смотрит после опрессовки. — Арепин улыбнулся. — Это для тебя будет как боевое крещение. Только запомни совет: пока готовишься, слушай всех, но как уж начнешь подъем, ничьих советов не слушай.

Дул порывистый ветер. По степи, обгоняя друг друга, неслись шары перекати-поля. Но в это серое утро Косинов шел на работу в приподнятом настроении. Дорога на комбинат — сплошная грязь. Тяжелые комья прилипали к сапогам, но Косинов обгонял одного за другим идущих вереницей людей. Сейчас его беспокоило только одно: чтобы Крам — не дай бог! — не вышел на работу.

В цех Косинов пришел первым. Он остановился около колонны и погладил ее шершавый бок.

Вскоре появился Тимофеев — высокий, поджарый, с густыми бровями рабочий.

— Как, Виктор, поставим сегодня эту железяку?

— Что, Василь вышел?

— Нет. Не вышел. А мы сами. Разве не справимся? — Косинову вдруг захотелось зажечь Тимофеева, убедить, словно от этого убеждения зависел исход дела. А может быть, и впрямь зависел. Это ведь разница: командуешь в одиночку или имеешь единомышленников.

— Сложная работа, Николаич, и опасная. Стоит ли рисковать? Подождем Василя. Я ведь, кажись, ставил эти три вместе с ним, а все ж к каждой у него был свой подход.

— Нельзя больше ждать, Виктор. Да и риска здесь нет. Есть расчет. Я все продумал.

Но Виктор угрюмо молчал.

Подошли остальные монтажники.

— Сегодня будем ставить последнюю колонну, — сообщил им Косинов.

Но слова его, казалось, не произвели на монтажников никакого впечатления. Не чувствуют они, что ли, всей серьезности предстоящего?

Помедлив немного, он снова повторил:

— Так вот, будем монтировать колонну.

— Ну будем, Николаич. Три поставили, и эта никуда от нас не денется.

— Да погодите, ребята. Три поставили. Правильно. А что было, когда ставили вторую? Яценко!

— Да ничего особенного. Балку вывернули штуцером.

— И это было по вашей вине. Надо слушать и четко выполнять команды. Ясно? А когда последнюю ставили, Малюгин?

— Ну ломик упустил. Так он же никого не задел.

— Раз на раз не приходится. Надо работать аккуратно и внимательно. Договорились?

— Да чего там, Олег Николаевич! Ясное дело, — от имени всех заверил Сенька-малолетка.

Напротив, за проемом, работали изолировщицы. Электрики внизу разматывали вдоль траншеи катушку с кабелем. Колдовали

над своими стеклянными циферблатами киповцы. Кругом сновал деловой народ. Начался обычный день на строительстве.

Если встать на мостике, на самом верху «этажерки», то отсюда едва будут видны маленькие фигурки монтажников, опутывающих тросами колонну. И разве со стороны поймешь, для кого это обычный рабочий день, а для кого день, когда надо перейти свой Рубикон?

Когда все было подготовлено к подъему, Косинов подал знак сигнальщику, тот лебедчику, и колонна дрогнула, оторвалась одним концом от земли и стала медленно подниматься, пока не встала вертикально. Еще миг, и многотонная громадина повиснет на тонких тросах.

— Стоп! — скомандовал Косинов, колонна замерла, все еще опираясь одним концом о землю.

Косинов взбежал на второй этаж, где у ручных лебедок стояли Яценко и Февралев — недавно демобилизованные солдаты. Яценко типичный флегматик. Надо с ним быть повнимательней. На третьем этаже, где намертво была укреплена грузовая лебедка, он еще раз проверил крепления. Тимофеев стоял у лебедки напряженный, серьезный, держа руку на пускателе. Косинов глянул в проем. Тупое рыло оголовка уставилось на него зияющими дырами штуцеров. И Олегу вдруг стало страшно. Вдруг колонна сорвется и полетит вниз. Он на секунду закрыл глаза. Потом решительно крикнул Тимофееву:

— Вира!

Получилось по-петушиному — по-мальчишески и надтреснуто. Стальные тросы стали натягиваться. Казалось, вот-вот они лопнут. Он застыл в напряженной позе с растопыренными руками, будто сам собирался оторвать тяжесть от земли.

Колонна вдруг повернулась и повисла в проеме. Косинову почудилось, что наступила звенящая тишина, хотя все вокруг гремело, тарахтело и кричало. Тишину прервала надсадная ругань Сеньки-малолетки. Он гнал из зоны подъема трубопроводчиков.

— Вира! — голос Косинова окреп, и колонна медленно поползла вверх. Она плыла перед глазами, словно кабина лифта в съемке «рапид». Она сопротивлялась, она всей своей тяжестью стремилась оборвать тонкие нити тросов и рухнуть обратно на землю.

Но вот она лежит на перекрытии, и под этой махиной надежная опора. Перекур... А самое трудное еще впереди. Самое трудное всегда впереди. Косинов стал наблюдать за ребятами. Сквозь струйки дыма Тимофеев пристально смотрит на колонну, что-то прикидывает. Малюгин курит бесстрастно. Он старый монтажник, но его специальность — трубопровод. Сенька-малолетка отчаянно затягивается, словно будет сейчас бросаться под танк. Яценко некурящий. Он лежит на доске и смотрит в небо. Глаза мечтательные, синие.

Бросив окурок и раздавив его ногой, Тимофеев заговорщицки подмигнул Косинову:

— Ну теперь добьем, Николаич.

Косинов почувствовал себя счастливым. Виктор поверил в свои силы, а значит, поверил и в него.

— Кажись, вас кличут, — Тимофеев перегнулся через перила и посмотрел в проем.

Внизу стоял Сахно и махал рукой. Косинов спустился к нему.

— Ты что, такелажником у нас работаешь или мастером? — свирепо закричал Сахно.

— Не понимаю.

— Я тебе запрещаю монтировать колонну, пока не вышел Крам.

— Позвольте узнать, почему? — тихо спросил Косинов.

— Опыта у тебя нет в таких делах, вот почему: людей угробишь. А отвечать начальник будет?

— В таком случае я прошу объяснить мне, кто я здесь и в чем мои обязанности?

Вопрос застал Сахно врасплох.

— Как в чем?.. Ты должен организовывать работу, обеспечивать, так сказать... Наше дело достать материалы, нужные производству, процентовку пробить у заказчика, наряды людям закрыть. Ты рисуешь наряды — ты хозяин. Понял? Приди в бригаду и скажи: «Ребята, чтоб колонна сегодня стояла». И они сами без тебя справятся, когда бригадир есть. Народ у нас талантливый, все может. А если будешь им колонны поднимать, какой же ты мастер. Они тебе на шею сядут, и авторитет твой тю-тю. Только его и видели. Мне нужны хозяева на участке, а не такелажники. Понятно?

— Я вам не снабженец! — закричал Косинов. Он уже был уверен, что подъем пройдет удачно, и то, что сказал начальник, обидело его. — Я инженер! Поймите — инженер! Я мастер, и я отвечаю за подъем, есть Крам или нет его. И вы не имеете права запрещать мне руководить подъемом колонны!

— Вот как ты заговорил. Ну, смотри. Если что случится, помни: я знать ничего не знаю. Меня здесь не было.

— Хорошо, Григорий Иванович. Вас здесь не было.

И вот колонна снова на весу. Ее теперь нужно осторожно пронести между стальными конструкциями каркаса. Так осторожно, как несут младенца в густой толпе. Но колонна совсем не похожа на младенца. Ее огромное туловище так и норовит задеть конструкции. Сейчас каждый из тросов был словно его, Косинова, нервом, и он всем телом ощущал, где нужно подтянуть чуть-чуть, где чуточку отпустить. Кричать команды было бессмысленно. Разве грохот строящегося цеха перекричишь? Хотя Василий Иванович Крам и на это способен. Монтажники управляли оттяжками почти со всех этажей, и Косинова они не смогли бы услышать. Но каждый из них через какую-либо щель видел его руки. И Косинов «дирижировал», и эти магические пассы направляли колонну, а тросы несли ее по кривой и запутанной трассе.

Когда стальная махина, пройдя все четыре этажа, повисла в проеме, Косинов крикнул Виктору последнее: «Майна чуть-чуть». Колонна мягко и прочно встала на место.

Косинов посмотрел вниз и поискал глазами Сахно. Но его уже не было. «Ну и черт с ним», — досадливо подумал Олег. Зато он увидел, как за проемом, налегая на перила, стояли и глазели на них изолировщицы. Энергичный еще минуту назад, он вдруг почувствовал такую опустошенность и усталость, что опустился на выступ перекрытия и блаженно закурил. Спешить было некуда. Он всем телом ощутил, до чего же приятен отдых, и с восхищением посмотрел на укрощенную громадину. Как-то не верилось, что они, всего несколько человек, поставили ее на место, и теперь она никому не будет мозолить глаза. «Милая слониха, —

подумал он, — вот ты стоишь, и ничего не случилось. Спасибо тебе...»

В это время Сахно докладывал в Ростов по телефону:

— Вопрос с повестки дня снят. Колонну поставил.

Компрессорная была брошена строителями в конце прошлого лета. В зияющие проемы окон наметало сугробы снега, которые при оттепелях таяли и, захватывая с собой строительный мусор, стекали в маслоподвал. Фундаменты, прикрытые рогожами, были едва заметны под толстым слоем битого кирпича и грязи.

— Пора приниматься за нее, — сказал Арепин Сахно.

— Кого только поставить сюда? — задумался тот. — Здесь ведь тонкий монтаж, а денег — рупь-два и обчелся. Да и ставить некого, все у нас трубачи да такелажники. Может, в Ростов звякнуть, пусть пришлют специалистов.

— Э-э! — махнул рукой Арепин. — Специалисты и у нас найдутся.

— А если ее Косинову сунуть? Как он в октябре колонну щелкнул, а? Кричит «вира», руками машет, ну что твой Отелло в балете, — Сахно рассмеялся.

— Да-а, лихо это у него получилось, — улыбнулся Арепин. — Он приходил ко мне советоваться. Знаешь, ведь человеку нужен случай, чтоб поверить в себя. Я не стал его отговаривать. Вижу — горит парень.

— Как бы не погорел раньше времени, — заметил Сахно.

— Нет, котелок у него варит. Толк из него получится. Будет добрый монтажник. Я грешным делом после той опрессовки — помнишь? — решил, что тюха он и размазня. Совсем птенцом был. А после колонны сразу оперился.

— Раз ты берешь его под защиту, сунем компрессорную ему. Пусть вкалывает.

Сахно вызвал в контору Косинова.

— Ну вот, — сказал он, — ты, Олег Николаевич, показал себя, и я со спокойной душой могу поручить тебе сложную работу. Инженерную, — подчеркнул он. — Отделение турбокомпрессоров. Срок — два месяца на первый агрегат. Хозяйство сложное, требует грамотного подхода. Но комсомол, я думаю, не подкачает, а? Возьми бригаду Новикова. Ребята молодые, с огоньком. И комсорг там что надо. Ну как, берешься?

— Конечно, — ответил Косинов.

— Только давай договоримся сразу. Я этого объекта не знаю. И в твои дела не вмешиваюсь. Что надо, проси, приходи сам на планерку, ставь вопросы, требуй. Только учти: сроки — не резина.

— Понял, Григорий Иванович.

— Вопросы есть?

— Нет.

— Тоже правильно.

Вопросы, конечно, были, но Олег решил пока все хорошенько обдумать.

Утром Косинов разыскал прораба строителей Зубова.

— Будем принимать от вас компрессорную.

— Это проще пареной репы, — ответил Зубов. — Подпишем

мы с тобой актики. Первый сдал, второй принял, и дело в шляпе.

— Нет, так не пойдет, — ехидно улыбнулся Косинов. — Принимать буду по всем правилам.

— Э-э, тогда подождешь с месячишко, сейчас мне компрессорной заниматься не с руки. Исполнительную схему на фундаменты я тебе дам, а что другое — придется погодить.

— Имей в виду, воевать будем.

— Мне, Олег, и нужно, чтобы меня заставили там работать. Сам я ни-ни. Там уже все съедено.

В тот же день Косинов впервые явился на планерку. Проводил ее начальник строительного управления Кобуладзе. Олег сел в сторонке, осмотрелся. В дымном мареве разглядел знакомые лица прорабов и начальников монтажных участков. В начале стола сбоку от Кобуладзе сидел Сахно, что-то записывая в блокнот. Оперативка называлась почему-то пятиминуткой, однако длилась уже часа полтора, и Косинов начал нервничать, боясь, что ему не удастся поговорить о своем деле. Когда планерка кончилась и все шумно задвигались и заговорили, Кобуладзе поднял руку.

— Минуточку! У кого есть вопросы? — спросил он. — Только давайте самые срочные.

— Разрешите, — вскочил Косинов, по студенческой привычке вскинув вверх руку. — В апреле пуск первой воздуходувки. Я прошу вас распорядиться, чтоб строители немедленно закончили работы и сдали компрессорную.

— Какой горячий, — улыбнулся Кобуладзе. — Ладно. Разберемся в рабочем порядке. На следующей неделе, — заглянул он в календарь.

— Как на следующей неделе? — возмутился Косинов. — У нас всего два месяца в распоряжении, а работы много и работа сложная.

— Он пугает, — засмеялся Кобуладзе, — а я не боюсь. Больше нет вопросов? Все, товарищи.

Олег в растерянности посмотрел на Сахно, ища поддержки, но тот, казалось, и не слышал, о чем говорил Косинов.

Кабинет Кобуладзе опустел, а начальник управления взялся за телефонную трубку. Олег подошел к нему и встал рядом.

— Мне компрессорная нужна не на следующей неделе, а сейчас, — твердо сказал он.

— Слушай, дорогой, — вскипел Кобуладзе, швыряя трубку, — ты думаешь, у меня других дел нет, да? Только твоя компрессорная? Иди пожалуйста, да.

«Что ж это такое? — с обидой думал Косинов, направляясь к компрессорной. — Вот бюрократ. Это же общее дело — не только мое».

— А-а, вот ты где! — выскочил из-за корпуса Зубов. — Держи схему. Акт я тебе позже принесу. Ну как? Был на оперативке?

Косинов раздраженно махнул рукой и прошел дальше.

— Я тебе говорил, — вдогонку крикнул Зубов. — Не с руки сейчас возиться с тремя окошками да штукатуркой. Все люди на главном корпусе.

Вконец расстроенный Косинов спустился по двум пролетам металлической лесенки. Здесь, в цехе окисления, Новиков монтировал трубы.

— Что компрессорная? — спросил Веня Новиков.

— Пока плохо. Строители от работ увиливают.

— Увиливают? — подошел Слава. — Что же, надавим на них по нашей линии. Я же как-никак член «Комсомольского прожектора». Просветим — сразу резервы найдут.

— «Светить — и никаких гвоздей», — поддержал Веня.

— Давайте составим текст. Я его отдам художнику, он быстренько разрисует.

— Ну что ж, — недоверчиво сказал Косинов, — если поможет.

Он достал блокнот и стал писать: «Товарищ Кобуладзе, пожалуйста, дайте монтажникам фронт работ на компрессорной».

— Это же «Прожектор», Олег Николаевич, а не письмо в академию. Давайте так. «Товарищ Кобуладзе! Вы сорвали монтажникам работу в компрессорной на один день!»

— Почему на один? — сказал Веня. — На два. Ведь каждый день — это две смены. И еще сделай там окошко, чтоб эту цифру можно было заменять.

На следующей планерке Косинов снова сидел на своем месте и старался по выражению лица Кобуладзе узнать, какое впечатление на него произвел листок «Комсомольского прожектора».

Сегодня на планерку пришел директор комбината Вансович. И Косинову показалось, что планерка идет не так, как вчера, все вопросы решаются быстро.

В конце планерки Косинов поднялся.

— Я опять о компрессорной...

— Вы посмотрите на этого молодого нахала! Да? — взорвался Кобуладзе. — Только вчера заговорил о компрессорной, а сегодня уже «Прожектор» вывесил, понимаешь.

— В чем дело? — вмешался Вансович. — О чем спор?

— В апреле срок пуска турбокомпрессора, — почувствовав поддержку, обратился Олег к Вансовичу, — а состояние зала такое, что мы и машины не можем открыть.

— Зураб Платонович, разве сроки существуют только для него? — указал Вансович на Косинова. — График-то мы вместе с тобой подписывали.

— Что там надо сделать? — обратился Кобуладзе к прорабу стройучастка Зубову.

— Так известно, Зураб Платонович, — вставить рамы, застеклить, оштукатурить, сантехнику наладить.

— В общем, начать работать, — подытожил Вансович.

— Слушай, дорогой. — Кобуладзе, как буравами, сверлил взглядом начальника стройучастка, — деньги забрал, да? Компрессорная готова, понимаешь, да? Очки втираешь, дорогой. Чтоб к субботе все было сделано.

Сырое после дождя, но ослепительно светлое утро. Солнце светило через окна компрессорной, и метлахские плитки полов сияли бликами. В зале была почти гигиеническая чистота. Косинов следил за ней ревностно. Рабочий день начинался с протирки полов, ребята привыкли к этому и сами шумели на того, кто входил в компрессорную, не вытерев ноги. А в углу, где стояла швабра, сварщик Толя Вантеев повесил табличку: «Швабра имени товарища Косинова».

Вантеев пришел на участок с флота и внешне сильно отличался от других монтажников каким-то особенным моряцким щеголь-

ством. Спецовка сидела на нем на редкость ладно и красиво, из-под куртки сияла надраенная бляха флотского ремня и виднелась «морская душа» — тельняшка.

— Когда, наконец, выдадут нам белые халаты? — каждое утро горестно восклицал он. — Это ж срам приходить в такой робе в нашу компрессорную. Если я посажу на компрессор инфекцию, я снимаю с себя всякую ответственность.

— Вещай из подвала, — сказал ему Веня, занятый центровкой агрегата, — там у тебя еще десятка два стыков не заварены.

Толик обиженно сунул под мышку щиток и исчез в подвале.

Детали разобранного компрессора аккуратно лежали на полу, на дощечках, протертые, очищенные и укрытые тряпками. Все шло по плану, и Косинов больше всего гордился этим. В других его бригадах были то спады, то подъемы, а здесь все шло по плану, четко, размеренно, и Косинову нравилось, что это он навел здесь такой порядок.

Ребята из «трубачей» стали механиками, и им явно нравилась эта тонкая, очень тонкая по сравнению с предыдущей, работа. Они чувствовали себя прямо-таки интеллигентами среди других монтажников.

Из проема лестницы, ведущей прямо из зала в подвал, вдруг показалась голова Вантеева.

— Я по общественному делу, — заявил он. — Славка! Придумал свежий выпуск агитплаката. Дай-ка бумагу.

Он обмакнул палочку, обмотанную ветошью, в чернила и вывел:

«Веня! Выше темпы ваши!
Или мало ел ты каши?»

— Понял, Веня? Работать надо, — сказал он, ухмыляясь, пришлепнул плакат на стенку и снова скрылся в подвале.

Все стены зала были вкривь и вкось облеплены подобными воззваниями. Так выражался как бы подспудный протест против почти хирургического порядка в компрессорной. Работа от этого не страдала, а скорее наоборот — спорилась.

В начале апреля в бригаду приехал знаменитый у монтажников наладчик — дед Калашник. Считалось, что нет на земле такого механизма, который он не сумел бы отладить и запустить. Дед Калашник, может быть, и не дед, но сухонький мужчина с лицом, заросшим сивыми волосами, и монтажники его только так и звали: дед. Он был хорохористый, неуживчивый и крикливый. Но, обнюхав машину, потыкав в разные ее части щупом, проверив записи, Калашник посмотрел на затаившего дыхание Косинова.

— В обчем, — сказал он, — машину ты собрал, парень, добре.

Веня подмигнул Косинову, тот Славке, Славка изо всех сил ударил по плечу Альбертика, тот натянул Шурику кепку на глаза, и, поскольку никого поблизости не оказалось, Шурик зычно свистнул.

Из подвала показалась голова Вантеева.

— О'кэй, Толик! — крикнул Шурик. — Вдарь по плакату, Толик.

Толик вылез в зал, снял с головы щиток и подошел к Калашнику.

— Дедусь, а дедусь, — вежливо сказал он, — ты еще раз повтори, что у тебя нет претензий. Лично для меня.

И через несколько минут вся бригада собралась перед очередным номером агитплаката.

Теперь на планерках работа в компрессорной оценивалась в первую очередь. Косинов докладывал коротко:

— Компрессорная будет готова в срок.

Киповцы ставили на агрегат свои приборы, отчего он принял совсем уже завершенный и нарядный вид. Электрики пускали двигатель вхолостую и, приникнув ухом к корпусу мотора, напряженно слушали, стараясь уловить вибрацию.

Приехал шеф-монтер, толстенький и рыжеватый инженер с завода. С недовольным выражением лица он потребовал паспорт, куда заносились результаты сборки, и стал не торопясь листать его, время от времени подходя к машине и сверяя записи. Дед Калашник задиристо и зло поглядывал на него.

— Послезавтра по графику пуск, — сказал шеф-монтеру Косинов. — Прошу вас, дайте разрешение качать масло.

— Послезавтра или через неделю — это покажет проверка, — ответил шеф.

— Знающему человеку для проверки довольно и часа, — едко вставил Калашник, — а вы уже полдня возитесь, тараканов шукаете.

Шеф-монтер не удостоил его ответом и продолжал осмотр.

— Слухай, Николаич, — отвел дед Косинова в сторонку, — мне моя рабочая гордость не дозволяет ходить за этим пупсиком. Дай команду качать масло!

— Подождем еще немного.

Ребята сидели на лавочке у окна и уныло наблюдали за действиями шеф-монтера. Косинов поглядывал на часы и нервничал. Уходит время. А до дня пуска должно непрерывно циркулировать масло. Потом его нужно слить, залить свежее и снова качать. График был главной частью стратегии Косинова. А шеф-монтер, посвистывая, все промерял и проверял различные параметры.

— Николаич, нехай себе миряе, а мы начнем качать потыхесеньку.

Олег подошел к шефу.

— Я даю команду начинать прокачку. Это вам не помешает.

— А я вам запрещаю.

— Придется с этим примириться. Ничего не поделаешь.

— Вы берете на себя большую ответственность.

— Ладно, — махнул рукой Олег, — беру.

Он кивнул Калашнику, и тот сразу преобразился.

— Венька! — пронзительно закричал он. — По местам! Начинаем качать.

Внизу заурчал насос, и в смотровом окне заплескалось масло.

— Теперь, — удовлетворенно сказал Калашник, — нехай миряе хоть до морковкиного говения. Оставляй, Николаич, дежурных — и айда отдыхать.

В день пуска к трем часам в компрессорную пришли руководители стройки. Вансович по-хозяйски расположился за столиком Косинова и спросил у шефа:

— Будем пускать компрессор?

Тот замялся, пожал плечами.

— Масло грязное, еще надо качать.

— Сколько?

— Часов пять — не меньше.

Масло взяли в лабораторию на проверку, и вскоре оттуда сооб-

щили, что результат удовлетворительный. Вансович подозвал шефа и сказал ему об этом.

— Вы говорите, масло удовлетворительное, а по-моему — грязное. За машину отвечаю я и прошу мне не указывать.

Сахно сориентировался, отвел в сторону Косинова и Калашника, спросил:

— Пустите машину?

— А як же, — с готовностью ответил Калашник. — Да пошлите этого кандибобера подальше. Вин же боится ее. Це ж и дитю видно.

Сахно подбежал к Вансовичу.

— Мы сами пустим машину, Семен Борисович.

Вансович поднялся.

— Внимание, — громко сказал он, — приступаем к пуску первого агрегата. Всех посторонних прошу освободить огороженную зону. Тех, кто с нами не согласен, — добавил он, имея в виду шеф-монтера, — тоже прошу уйти.

— Имейте в виду, я снимаю с себя ответственность, — заявил шеф-монтер.

— Да у вас ее и не было, — отрезал Вансович, — так что снимать нечего. Командуйте, Олег Николаевич.

Запел, набирая обороты, двигатель. Звук сначала был тонкий и нежный, но реостат постепенно приближал максимальные обороты, звук становился сильнее, и вскоре пространство заполнилось уже не меняющимся мощным гулом.

Все бросились поздравлять Олега. Подошел к нему и Кобуладзе, порывисто потрепал по плечу и гортанно выкрикнул: «Совсем, понимаешь, человеком стал!»

С этого пуска Олег почувствовал свою полную причастность к монтажу. И когда проходил мимо окислительной колонны, с тихой гордостью отмечал про себя: «Моя». И когда шел мимо компрессорной, тоже думал: «Моя». Он как-то сразу обрел равновесие, почувствовал свою силу. Это был уже целеустремленный, энергичный руководитель, остро чувствующий требования момента, умеющий оперативно перераспределить силы своего участка и предвидеть задачи завтрашнего дня.

А. ОВЧАРЕНКО

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

(ОТВЕТ МИСТЕРУ МАКСУ ХЭЙУОРДУ)

В прошлом году в консервативном английском органе «Сёрвей» появилась обширная статья буржуазного «советолога» Макса Хэйуорда — преподавателя литературы в Оксфордском университете. Ссылаясь на работы советских ученых, посвященные проблемам развития социалистического реализма, на творческие споры в нашей науке, М. Хэйуорд пытается представить эти споры как свидетельство «упадка социалистического реализма». Ниже печатается ответ на эту статью советского ученого, доктора филологических наук А. И. Овчаренко.

Внимательно прочел Вашу, мистер Хэйуорд, обширную статью, напечатанную под сенсационным заголовком «Упадок социалистического реализма». Прочел и решил Вам ответить. Не уверен, что сможете понять меня. И все-таки берусь за перо, чтобы исправить с помощью фактов то, что оказалось искаженным в Вашей статье, а также раскрыть действительную причину и существо споров о социалистическом реализме, происходящих в советской науке.

Один из величайших ученых XX столетия, академик И. П. Павлов, считал первым условием подлинно научного подхода к любому вопросу исчерпывающее знание всех фактов, объективное исследование их и бесстрашное обобщение, даже если результаты противо-

---

Статья четвертая. Статьи первую, вторую и третью см.: «Молодая гвардия», 1970, № 2; 1971, № 3; 1972, № 11.

речат всем нашим желаниям. Рассмотрим под этим углом зрения исходные положения Вашей статьи.

Оставим в стороне повторяемые Вами штампы «советологии», вроде того, что принцип партийности якобы несовместим с объективным показом жизни и поэтому вряд ли правомерно отнесение к социалистическому реализму таких произведений, как «Барсуки» Л. Леонова или «Тихий Дон» М. Шолохова; что будто бы этот метод исключает острый критицизм; что социалистический реализм является скорее моральным, нежели эстетическим принципом и т. п. По поводу всего этого мне уже приходилось писать *.

Перейдем сразу к существу статьи, начав с тезиса, сформулированного на странице 73 журнала «Сёрвей» (1972, т. 18, № 1). В 1932 году, пишете Вы, «после секретных приготовлений, связанных с созданием Союза писателей, как гром с ясного неба, появилась доктрина социалистического реализма (этот термин впервые появился в печати в анонимной передовой статье в «Литературной газете» в мае 1932 года; передовая была написана В. Кирпотиным). В последующие годы доктрина получила дальнейшее оформление в ряде выступлений на высшем уровне, в 1934 году в речи Жданова на I съезде писателей и затем в 1947 году в его докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград...». Мне, мистер Хэйуорд, будет очень жаль читателя, который отнесется с доверием к этим словам. Почему? Да потому, что в каждой фразе здесь что ни слово, то неточность, если употреблять выражения, исходя из стремления любой ценой сохранить корректность.

Может быть, Вы не располагали возможностью перелистать комплекты советских газет и журналов хотя бы за 1930, 1931 и начало 1932 года, не смогли внимательно прочитать многочисленные статьи, в которых писатели, художники, общественные деятели все чаще подвергали критике существовавшие в то время формы руководства художественным процессом, осуществлявшегося РАПП и идентичными ей организациями, все решительнее осуждали раздробленность, групповщину и порождавшиеся ими «вождизм», администрирование и т. п. Эти выступления подводили к мысли о необходимости либо коренным образом изменить стиль работы существующих творческих организаций, либо найти какие-то новые, более действенные, более соответствующие сложившейся ситуации формы самой организации. Такие мысли упорно повторял и развивал в своих статьях Горький (см. «О трате энергии», «О литературе»), одновременно осуждая элементы групповщины и кружковщины в среде литераторов, все более объединяемых, по его мнению, единством общей цели, что должно диктовать «сознание единства общей линии». «Кружковщину, дробление на группы, взаимную грызню и шараханья, — писал он 30 сентября 1930 года одному из своих корреспондентов, — я считаю бедствием на фронте литературы».

Из многих десятков фактов привожу первые попавшиеся. При-

* Не буду также касаться Ваших экскурсов в современную советскую литературу, которые, как убедительно уже было доказано советскими учеными, очень далеки от науки. (См.: Я. Эльсберг, Дезинформация «по-джентльменски», или Лицемерные воздыхания Макса Хэйуорда. «Литературная газета», 1972, 4 октября, № 40; Н. Владимиров, Хэйуорд на бис по Би-Би-Си. «Литературная газета». 1972, 15 ноября, № 46.

бавьте к ним бесчисленные письма литераторов, адресованные в редакции газет, журналов, наконец, в ЦК ВКП(б), в которых прямо утверждалось, что РАПП изжила себя. Авторитетнейший советский писатель А. Серафимович отмечал, что руководство РАПП, в прошлом сделавшее немало полезного для советской литературы, в последние годы все глубже погрязает в серьезных ошибках. Он же вместе с Горьким решительно выступил против попыток «ортодоксов из РАПП» помешать Шолохову напечатать третий том «Тихого Дона». В. Ставский, сокрушаясь, что раппов-ская групповщина тормозит развитие пролетарской литературы, закончил свое письмо в ЦК ВКП(б) словом «Помогите!». Ф. Панферов, сообщая, что крупнейшие писатели спасаются от РАПП бегством, заключал: «Одно уже это показывает на ту ненормальность, которая имеется в РАПП. Это показывает, что РАПП не способствует плодотворной творческой работе писателя».

Повторяю, мистер Хэйуорд, быть может, Вам не доводилось работать с первоисточниками, копаться в архивах, скрупулезно собирать, систематизировать и обобщать факты. Но ведь в данном случае от Вас этого и не требовалось. Достаточно было обратиться к широко известным в нашей науке статье А. Романовского «Партийное руководство литературой в период подготовки к Первому съезду советских писателей» (сб. «О политике партии в области литературы и искусства». М., 1958) и к его же книге «Знаменательная веха. Из истории становления советской литературы» (М., 1970), к исследованиям В. Иванова, в частности к его монографии «Идейно-эстетические принципы советской литературы» (М., 1971), чтобы найти все эти факты и множество им подобных. Не потому ли Вы не обратились к названным работам, что тогда Вам пришлось бы сформулировать начало Вашего основного тезиса иначе, примерно так: «После длительного публичного обсуждения ситуации на литературном фронте, идя навстречу пожеланиям большинства деятелей советской культуры, учитывая коренные изменения в литературной среде, диктовавшие необходимость новых организационных форм, которые бы способствовали сплочению советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства, ЦК ВКП(б) принял постановление о ликвидации РАПП и объединении всех советских писателей, стремящихся своим творчеством активно содействовать строительству социализма, в едином Союзе советских писателей». Так разбивается сочиненный Вами миф о «секретных приготовлениях».

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» принято 23 апреля 1932 года. Вслед за тем самими писателями был создан Оргкомитет ССП. В него входили виднейшие писатели, критики, редакторы газет и журналов (среди них Вс. Иванов, Л. Леонов, Ф. Панферов, А. Серафимович, Н. Тихонов, А. Фадеев, К. Федин). Почетным председателем являлся М. Горький. На них и возлагалось осуществление всех мероприятий по созданию Союза советских писателей. Сначала Оргкомитет возглавлялся пользовавшимся в то время большим уважением писателей редактором «Известий» И. Гронским, а затем — непосредственно самим М. Горьким (после его переезда из Сорренто в Москву). Ответственным секретарем работал В. Кирпотин, которого в августе 1933 года сменил на этом посту П. Юдин.

Среди важнейших вопросов, которыми Оргкомитет занялся в первую очередь, не случайно оказался вопрос об определении

теоретической основы советской литературы, вдохновляющейся идеалами и революционным опытом социалистического движения во всем мире. Почему именно этот вопрос? Потому что он выдвинулся на первое место во всех литературных спорах задолго до ликвидации РАПП. Собственно, он ставился со времени возникновения советской литературы, ставился каждый раз, когда та или иная литературная группировка пыталась сформулировать платформу, на которой стремилась объединить своих единомышленников, открыв перед ними перспективу развития литературы нового типа. Эта проблема волновала не только лидеров тех или иных литературных группировок. Она волновала большинство писателей. Еще в 1919 году вопрос: какой театр лучше всего отвечает духу времени? — Горький назвал трудным. Великий писатель склонялся тогда к мысли, что и театр, и искусство в целом должны быть героико-романтическими. Напротив, в первой книге «Пролетарского сборника», вышедшей в Москве в 1918 году, его редакторы провозглашали в качестве генеральной линии нового искусства и литературы пролетарский реализм. Знаменитый артист МХАТа В. И. Качалов вспоминал, что однажды ему довелось слышать спор Горького с Лениным. «Вот спорю с Владимиром Ильичем, — сказал Горький Качалову, — по поводу новой театральной публики. Что новая театральная публика не хуже старых театралов, что она внимательнее — в этом спора нет. Но что ей нужно? Я говорю, что ей нужна только героика. А вот Владимир Ильич утверждает, что нужна и лирика, нужен Чехов, нужна житейская правда».

Хотя спор могла разрешить только сама жизнь, он в дальнейшем не затихал, а обострялся. В издававшемся в 1918—1922 годах Моссоветом при активном участии руководящих деятелей Наркомпроса журнале «Творчество» долго не существовало единства при решении именно этого вопроса. В конце концов журнал склонился к мысли, так сформулированной в заключении одной из редакционных статей: «Преображенный реализм — вот форма нового синтетического и монументального искусства». Однако на страницах других газет и журналов встречались и прямо противоположные заявления. Не говоря уж о некоторых теоретиках из лагеря футуристов, стремившихся превратить термин «реализм» в бранное слово, о конце реализма, якобы исчерпавшего все свои возможности, не однажды говорил А. Белый. Вместе с тем, к немалому удивлению сторонников футуризма, В. Маяковский, которого они считали своим лидером, в 1923 году заявил о необходимости вести «борьбу с декадентством, с эстетическим мистицизмом, с самодовлеющим формализмом, с безразличным натурализмом за утверждение тенденциозного реализма, основанного на использовании технических приемов всех революционных художественных школ». В. Брюсову успехи нового искусства виделись на путях «неореализма» (этот термин он вынес в заголовок одной из своих работ 1922 года), Ф. Гладкову — «пролетарского реализма», А. Толстому — «монументального реализма».

Вступление советского искусства, советской литературы на реалистический путь энергично приветствовал А. Луначарский, оговариваясь каждый раз, что имеет в виду реализм, отнюдь не повторяющий своего предшественника из XIX века, хотя и оглядывающийся на него. Критик условно называл его социальным, подразумевая, что этот реализм вдохновляется идеей строительства

нового мира, идеей социализма. В таком же понимании он соглашался принять определение «героический реализм», данное в 1922 году в одной декларации советских художников.

Снова повторяю, что и Маяковский, и Гладков, и Толстой, и Луначарский, и многие другие, предваряя понятие «реализм» тем или иным эпитетом, стремились подчеркнуть, что речь идет о новом художественном явлении, о том, что, например, хотел выразить и В. Ставский, когда занес в свою записную книжку: «Наш реализм социалистичен по содержанию» (1926 г.).

К концу 1920-х годов проблема художественного метода приобрела такую остроту, что не было почти ни одной конференции писателей, где бы она не дебатировалась. Положение усложнилось до предела, когда руководители РАПП, в их числе Л. Авербах, С. Родов, выдвинули лозунг «диалектико-материалистического творческого метода в искусстве», а затем начали систематическую разработку его на пленумах и конференциях писателей. Нельзя утверждать, что все сказанное лидерами и теоретиками РАПП в связи с этим было ошибочным. А. Фадеев имел серьезные основания позднее заметить: «Я поразился, как близко к истине мы добирались! И как жалко, что все это было искажено у нас недостатком знаний, догматизмом и групповой борьбой». Путаница в принципиальном решении проблемы художественного метода все же оказалась сильнее, чем позитивные элементы (тем более что одновременно лидеры РАПП забрасывали писателей лозунгами: «За непосредственные впечатления в искусстве», «За живого человека», «За срывание всех и всяческих масок», «За одемьянивание советской литературы», «За Магнитострой в литературе» и т. п.). И, что важнее всего, эта путаница мешала конкретному творчеству писателей настолько, что даже такой опытный писатель, как Ф. Гладков, в начале 1930 года заявил: «Теперь, как никогда, правильная установка в вопросах творческого метода нам нужна до зарезу». О том же писал Горький в статьях «Цели нашего журнала», «Беседы о ремесле», стремясь дать позитивное решение проблемы, например, вот в этих словах: «Дело наших литераторов — трудное, сложное дело. Оно не сводится только к критике старой действительности, к обличению заразительности ее пороков. Их задача — изучать, оформлять, изображать и тем самым утверждать новую действительность. Нужно учиться видеть, как в чадном тлении старой гнили вспыхивают, разгораются огоньки будущего». И вот в этих: «Лично мне кажется, что «реализм» справился бы со своей нелегкой задачей, если б он, рассматривая личность в процессе «становления» по пути от древнего мещанского и животного индивидуализма к социализму, изображал бы человека не только таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он должен быть — и будет — завтра».

Первая из этих цитат взята из статьи, увидевшей свет в январе, а вторая — из статьи, опубликованной в июле 1931 года. Надеюсь, мистер Хэйуорд, Вы согласитесь: не требуется обладать особой проницательностью, чтобы обнаружить тождественность выраженных здесь положений тому, что через несколько месяцев ляжет в основу теории социалистического реализма.

Спрашивается после всего сказанного: мог ли Оргкомитет ССП не поставить эту проблему в центр своего внимания и не попытаться хотя бы наметить ее решение? Напомню, как объяснял А. Фадеев причину, побудившую включить именно вопрос о твор-

ческом методе в повестку дня первого расширенного пленума Оргкомитета ССП с участием писателей из всех национальных республик. «А почему мы ставим вопрос о методе? — спрашивал он и отвечал: — Совсем не потому, что нашим идеалом мы считаем какой-то идеальный, чистенький метод. Это понятие возникло у нас потому, что необходимо сделать нашу литературу наиболее революционной, убедительной, правдивой литературой, подлинным революционным искусством... Нам нужна литература настоящая, правдивая, художественно утверждающая мысль. В этом и состоит социалистический реализм».

Именно поэтому, мистер Хэйуорд, Оргкомитет и все, кто помогал ему в работе, сразу же занялись проблемой метода. У нас уже давно опубликованы свидетельства И. Гронского, В. Кирпотина и других о том, что еще в ходе формирования Оргкомитета шел обмен мнениями между писателями и членами специальной комиссии ЦК ВКП(б) по этому вопросу. Упомянутая комиссия была создана для рассмотрения заявлений, поступивших в ЦК ВКП(б) от руководителей РАПП в конце апреля 1932 года. Одним из коренных вопросов, которые ставились бывшими лидерами РАПП в их последних документах, являлся вопрос о творческом методе советской литературы. Члены комиссии, прежде чем пойти на решающие заседания, советовались с людьми, имевшими в то время непосредственное отношение к вопросам творчества, и, само собой разумеется, с председателем Оргкомитета И. Гронским, сумевшим еще раньше сплотить вокруг «Известий» широкий круг выдающихся писателей. Как бы обобщая их мнения и размышления, И. Гронский в беседе в ЦК ВКП(б), состоявшейся в середине мая 1932 года, отвечая на прямой вопрос И. Сталина, предложил определить основной творческий метод искусства нового мира как коммунистический реализм. В ходе обсуждения этого предложения в ЦК ВКП(б), по воспоминаниям И. Гронского, «ему тактично разъяснили, что такое название еще не имеет под собой реальной почвы и не отвечает историческим условиям развития советского искусства». Но на основе предложения И. Гронского было найдено определение «социалистический реализм». Поэтому именно председателем Оргкомитета идея социалистического реализма была выдвинута в качестве позитивной основы для дискуссии на состоявшейся вслед за тем встрече членов ЦК ВКП(б) с бывшими руководителями РАПП, а также представителями ВОАПП и МОРП. Председательствовал на этой встрече-дискуссии П. П. Постышев. Несколько раз брали слово В. Киршон, А. Афиногенов. В споре активно участвовали И. Сталин, А. Стецкий, И. Гронский. Многочасовая дискуссия закончилась тем, что участники ее согласились с определением основного творческого метода советской литературы. 20 мая 1932 года И. Гронский выступил на собрании актива литературных кружков Москвы и, опять-таки не ссылаясь ни на какие инстанции, от своего имени, а вернее от имени Оргкомитета, поставил на обсуждение писателей вопрос о творческом методе в следующей форме. «До последнего времени, — сказал он, — очень много писалось деклараций, много разговаривали о методах, но разговаривали схоластически, абстрактно. Было очень много группочек, но мало творческого соревнования. А надо больше заниматься литературой, творчеством. Вопрос о методике надо ставить не абстрактно, не подходить к этому делу так, что писатель должен сначала пройти курсы по диалек-

тическому материализму, а потом уже писать. Основное требование, которое мы предъявляем к писателям, — пишите правду, правдиво отображайте действительность, которая сама диалектична. Поэтому основным методом советской литературы является метод социалистического реализма».

Это, мистер Хэйуорд, было первое упоминание в печати понятия «социалистический реализм». Затем последовала названная Вами передовая статья. Ее написал В. Кирпотин на основе информации, полученной в Оргкомитете. Обращая на это внимание, И. Гронский в одном из своих писем ко мне подчеркнул: «Заметьте, что, формулируя метод социалистического реализма, я ни на кого не ссылался, ибо формулировка его никому не принадлежит в отдельности. Она была найдена в результате коллективных поисков и усилий...»

Коллективной в полном смысле этого слова была и теоретическая разработка основ социалистического реализма. Хотя уже в ходе упомянутой встречи-дискуссии констатировалось, что социалистический реализм как творческий метод художественной литературы фактически возник давно, еще до Октябрьской революции, например в творчестве Горького, руководители этой встречи-дискуссии единодушно и настойчиво указывали, что решение проблемы по существу, развитие социалистического реализма как теоретической основы литературы и искусства нового мира может и должно быть осуществлено самими писателями, художниками, литературоведами, эстетиками, философами.

Председатель Оргкомитета, вынося на обсуждение проблему метода, сделал это в форме, способствовавшей развертыванию широкой дискуссии. И она развернулась сначала на страницах газет и журналов, затем на пленумах Оргкомитета ССП с широким привлечением писателей, критиков, литературоведов, философов. Больше того, как вспоминал В. Кирпотин: «Споры и обсуждения шли там, где собирались литераторы и где вставал вопрос об искусстве, о его настоящем и его будущем. Особенно большое значение приобрели беседы с Горьким, проходившие по самым разным поводам и при участии самых разных представителей писательской общественности». Замечу, что на страницах наших центральных газет наряду со спорами о социалистическом реализме остро дебатировался вопрос о «красном романтизме», было немало несходств в понимании таких категорий, как «направление», «метод», «стиль». Первоначально они, эти категории, не дифференцировались, иногда вместо них пользовались популярным в те годы понятием «лозунг».

Опять-таки, мистер Хэйуорд, мною приводятся далеко не все факты, относящиеся к затронутому Вами вопросу. Собирать их Вам, очевидно, было несподручно. Между тем почти все они давно собраны, систематизированы и обобщены в статьях А. Метченко «Историзм и догма» («Новый мир», 1956, № 12) и «Формирование теории социалистического реализма» (сб. «Советское литературоведение за 50 лет», Изд-во МГУ, 1967) и в его же книге «Кровное, завоеванное. Из истории советской литературы» (М., 1971), в принадлежащих В. Кирпотину мемуарных фрагментах «Накануне Первого съезда» («Вопросы литературы», 1967, № 5) и «Алексей Максимович Горький в Оргкомитете» («Дружба народов», 1968, № 2), в книгах В. Воробьева «А. М. Горький о социалистическом реализме» (Львов, 1959), С. Петрова «Возникно-

вение и формирование социалистического реализма» (М., 1970), в упоминавшейся уже книге А. Романовского, во «Введении в эстетику» Ю. Борева (М., 1955), наконец, в моей книге «Социалистический реализм и современный литературный процесс» (Москва, 1968). Некоторые из этих работ упоминаются Вами. Стало быть, заподозрить Вас в незнании приведенных фактов нельзя. Выходит, Вы сознательно игнорировали их. Почему? Не потому ли, что, приведи Вы их в статье, читателям стала бы очевидной произвольность утверждения, что «доктрина социалистического реализма возникла как гром с ясного неба». Напротив, факты подвели бы их к совершенно иному выводу.

Тем самым оказался бы несостоятельным весь лейтмотив Вашей статьи, будто социалистический реализм навязан советской и мировой революционной литературе Сталиным и Ждановым (в Вашей статье я пять раз подчеркнул слова «навязано извне», при «существовании жестокого контроля», «навязано силой»), будто с самого начала это был свод незыблемых правил и канонов, оставлявший за пределами «принимаемой» литературы множество писателей. Отнюдь не собираюсь утверждать, что абсолютно все сказанное названными политическими деятелями о социалистическом реализме отличалось безупречностью. Но не могу не обратить Ваше внимание на тот факт, что в сколько-нибудь широкой аудитории И. Сталин выразил свое мнение о социалистическом реализме только после многомесячного обсуждения вопроса в печати, а именно в конце октября 1932 года на встрече с писателями в доме Горького. То была неофициальная беседа. Никаких записей не велось. По воспоминаниям ее участников И. Сталин, отвечая на вопрос одного из писателей, сформулировал свой взгляд очень осторожно: «Художник в первую очередь должен правдиво показать жизнь, а если он правдиво будет показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистическое искусство. Это и будет социалистический реализм».

Вполне естественно, что начавший свою работу через три дня после указанной встречи первый пленум Оргкомитета (в работе которого принимало участие 350 человек!), как показывает стенографический отчет, не был связан каким-либо заранее предопределенным решением. В редакционной статье «К итогам пленума» писалось: «Основным и кардинальным из всех теоретических вопросов является, конечно, вопрос о социалистическом реализме. Этот лозунг не обозначает, конечно, что все писатели обязаны писать каким-то одним методом. Он лишь вытекает из тенденций и процессов литературной действительности, из анализа конкретной советской литературы, тенденции которой нужно теоретически осмыслить. Основное, что заключается в этом лозунге, — требование от художника правды... Такая постановка вопроса никоим образом не противоречит закономерности существования в советской литературе красной романтики, которая выражает взволнованность писателя изображаемой им действительностью, заглядывание в будущее этой действительности, мечту о будущем. Лозунг социалистического реализма является требованием от писателя правды жизни. Революционная романтика этой правде не противоречит, являясь одним из методов ее отражения».

Неудивительно поэтому, что, несмотря на плодотворные результаты, достигнутые первым пленумом Оргкомитета в теоретическом

обобщении опыта советской литературы, споры о сущности социалистического реализма не прекратились, а пошли вширь и вглубь. При этом писатели не боялись высказывать и недоумения и несогласия. Например, А. Толстой, ратовавший за монументальный реализм, вдруг спросил, а не схоластическое ли понятие метода вообще. Сомнения терзали И. Сельвинского, полагавшего, что, правомерное в отношении прозы, понятие социалистического реализма вряд ли соотносимо с поэзией.

Ответы на эти и многие другие сомнения советские писатели искали коллективно на втором пленуме Оргкомитета ССП, состоявшемся в феврале 1933 года. С обширным докладом выступил А. Луначарский. Дискуссия, разгоревшаяся на пленуме, помогла многим мастерам новой литературы найти правильное решение волновавшей их проблемы. А. Толстой сказал: «Социалистический реализм — это разумный, ясно видящий свою новую цель наследник великой культуры. Отправляясь от высших образцов реализма, он развивает их, чтобы написать историю нового человека в новой среде».

Чтобы показать, какой глубиной и многосторонностью отличалась дальнейшая дискуссия, я должен, по крайней мере, изложить содержание выступлений основных ее участников. Но этого сделать здесь нельзя уже по одному тому, что в последующие полтора года, до 1 августа 1934 года, только на русском языке появилось почти 400 статей.

Позволю себе, мистер Хэйуорд, остановиться на решающем этапе этой интересной дискуссии — на этапе, связанном с I Всесоюзным съездом советских писателей.

Вы снова твердите, что и здесь писателям продолжали «навязывать силой» социалистический реализм. Но известно, что, поднимаясь на трибуну первого, как и последующих съездов, наши писатели сами выбирали темы своих выступлений. Их никто в этом отношении не регламентировал и не контролировал: не хочешь говорить о чем-либо — не говори. И вот что, мистер Хэйуорд, должно быть для Вас совершенно неожиданным: самые выдающиеся из советских писателей заявили на съезде, что видят свою цель в том, чтобы запечатлеть строительство нового мира, воссоздать в неповторимых художественных формах образы борцов за социализм, отразить величайшую эпоху в ее революционном становлении. Сделать это, по их мнению, можно только при условии, если смотришь на мир с высочайшего идеологического плоскогорья, сам являешься активным участником социалистического строительства, прочно стоишь на позициях народности, партийности, социалистического реализма.

«Социалистический реализм, — говорит автор всемирно известного «Цемента», — по существу своему есть образное понятие революционного развития нашей действительности, т. е. действительности в ее напряженной борьбе, в создании новых социалистических ценностей, в познании человека наших дней как строителя, как героя».

«Писатель социализма, — принимает эстафету автор «Бронепоезда 14-69», — есть человек, который должен знать науку искусства, т. е., изучив технику своего ремесла, должен научиться изобретать, открывать каждый раз, при каждом новом явлении, видеть это явление в свете большевистской науки, настоящей науки, науки настоящего и будущего... Партийность, товарищи, про-

низывающая нас, обязывает работать по-новому, быть людьми науки, людьми, которые должны изобретать».

«Разберемся, товарищи, — предлагает Л. Соболев, обращаясь к делегатам съезда, — в том, что нам, писателям, дала революция и партия, эту революцию организовавшая. Разберемся по порядку.

Уменью видеть учит нас философия пролетариата, созданная величайшими умами человечества — Марксом, Энгельсом и Лениным. Это оружие дала нам партия.

Уменью чувствовать учит нас вся наша действительность — непрерывная цепь побед, организованных опять-таки нашей партией.

Наконец, уменью верно *изображать* учит нас метод социалистического реализма, т. е. метод, пользуясь которым, мы можем дать правдивое изображение действительности с партийных большевистских позиций. Этому методу опять-таки обучает нас партия».

В сущности, I съезд советских писателей обобщил на основе тщательного изучения опыта многонациональной советской литературы, опыта всей революционной литературы мира результаты длительной напряженной работы самих писателей, художников, литературных критиков, эстетиков, философов по теоретическому осмыслению основ всех национальных литератур нашей страны после Октября. Это обобщение велось с учетом главных процессов, характерных для развития революционной литературы во всем мире, более того, с учетом всего художественного развития человечества. Чтобы убедиться в этом, достаточно, мистер Хэйуорд, прочесть стенограмму I съезда, в которой не на десятках, а на сотнях страниц запечатлелись результаты поистине титанического труда.

И обратите внимание, мистер Хэйуорд: не только выдающиеся советские писатели, критики, эстетики, философы, общественные деятели, но и видные представители почти всех зарубежных литератур соглашались с тем, что социалистический идеал и вдохновляемое им движение привлекают к себе все новые миллионы людей во всем мире, становятся их надеждой, указывая трудящимся всех стран и в конечном счете всему человечеству единственный реальный путь к подлинному счастью.

И это закономерно. Признанием того, что всей логикой исторического развития социализм и новая реальность, социализм и истинная человечность властно и неодолимо соединяются, — самим признанием этого факта предопределялась главная магистраль, направление, линия развития мирового искусства. Тем важнее подчеркнуть, что съезд ничего не предписывал искусству, не навязывал ему каких-либо норм или догм. Участники съезда лишь прогнозировали дальнейшие пути на основе конкретных тенденций, уже выявившихся в мировом искусстве в период с конца XIX века до I съезда советских писателей. Обобщение опыта художественного развития в этот период позволило им утверждать, что все больше писателей связывают свою судьбу и свое творчество с социализмом, воспринимают мир в свете социалистической перспективы, то есть в его революционном становлении, что социалистическая точка зрения на мир позволяет мастерам культуры увидеть жизнь человека во всей ее действительной и многогранной сущности, отвергнув идеализм, мистику, все мифы, иллюзии, с помощью которых удерживается рабство

на земле. Лаконично это убеждение сформулировал А. Фадеев: «...Социалистический реализм, утверждая новую, социалистическую действительность, новых героев, в то же время является наиболее критическим из всех реализмов». Но главное внимание социалистический реализм сосредоточивает на изображении и утверждении новой реальности, прежде всего социалистической действительности, нового, социалистического человека. При всем своем доверии к действительности, вернее, в силу этого неколебимого доверия к ней, искусство социалистического реализма, проникнутое могучей перспективой, искусство, в котором сущее соразмеряется с будущим, изображается с учетом реальных перспектив его развития, — это искусство прозревает будущее. «Нельзя, — говорил Л. Леонов, — жить в эту эпоху, не видя огромной, во многом еще не законченной дороги вперед, выводящей нас за пределы видимых привычных горизонтов. Наше искусство поэтому должно в еще большей степени содержать эти элементы мечтательства, вооруженного уже не лирой, а безоговорочной верой в свою победу и точным, безупречным знанием».

Активное, действенное, целеустремленное отношение художника-социалиста к миру, говорилось на съезде, приводит к тому, что возможности нового реализма раздвигаются необычайно. Отсюда звучавшая во многих выступлениях как лейтмотив мысль: «В социалистическом реализме как методе может быть допущено принципиально бесконечное множество стилей, жанров, форм, приемов и пр.». Она, эта мысль, зафиксирована и в уставе ССП.

При всей определенности позиции, которую советские писатели заняли на I съезде в вопросе о социалистическом реализме, мистер Хэйуорд, все они были далеки от какого-либо догматизма, от дурной нормативности. В частности, они не сводили всю социалистическую литературу к социалистическому реализму, не уравнивали социалистический реализм с советской литературой на всех этапах ее развития. Они сохраняли как несомненные достижения литературы нового мира и те, по Вашим словам, «очень хорошие книги», которые нельзя отнести к социалистическому реализму, но которые были рождены нашей революцией, согреты ее теплом. Этим и было продиктовано определение социалистического реализма как основного метода литературы нового мира.

Непримиримо осудил съезд элементы догматизма и схематизации в вопросах чисто теоретических. «В заключение мне хочется сказать, — заканчивал свое выступление на съезде А. Фадеев, — чтобы наша критика, намечая пути нашего дальнейшего развития, не стремилась устанавливать догмы; пусть она больше опирается на собственную нашу практику и на живую жизнь. Критика должна направлять развитие литературы таким образом, чтобы стимулировать у писателя стремление к расширению тематики, к поискам новых форм».

Как видим, мистер Хэйуорд, и в этом вопросе факты против Вас. Партия, по Вашему утверждению, навязала писателям жесткий свод канонов социалистического реализма. В стенограмме же съезда мы постоянно встречаемся с прямыми свидетельствами, что наша партия, оказав писателям помощь в определении главного направления их творчества, вместе с тем упорно подчеркивала, что в решении творческих вопросов полностью полагается на них самих.

Такова действительная история рождения самой выдающейся

эстетической теории XX столетия, о которой, мистер Хэйуорд, Вы опрометчиво сказали, что она возникла неожиданно и которую сегодня так поспешно хороните. Все Ваши доказательства «упадка социалистического реализма» зиждутся не на анализе действительной картины современного литературного процесса, а на спекулятивных построениях и домыслах. В самом деле, чем аргументируется утверждение о крахе, как выражаетесь Вы, доктрины социалистического реализма? Тем, что, как Вам кажется, среди советских ученых наблюдается «необыкновенная напряженность в теории социалистического реализма». Доказательства? В современных работах советских ученых, отвечаете Вы, теория социалистического реализма подчас выглядит иначе, нежели в исследованиях двадцатилетней и тридцатилетней давности. Заметив, что за это время советская литература не стояла на месте, а развивалась, проявляя, особенно в 50-е и 60-е годы, тенденцию к дифференциации, Вы принуждены полупризнать, что наша теория также изменялась сообразно переменам в реальной жизни и художественном движении. Однако далее эту здоровую тенденцию Вы пытаетесь обратить и против нашей теории, и против социалистической литературы. Вы истолковываете ее как попытку советских теоретиков разломить социалистический реализм изнутри.

Вы пишете: «Дискуссии последних лет между хранителями доктрины социалистического реализма, то есть теми литературоведами-идеологами, которые регулярно печатают теоретические статьи о литературе в «Коммунисте», «Вопросах литературы» и «толстых» журналах, — А. Метченко, В. Ивановым, Б. Сучковым, Ю. Барабашем, В. Озеровым, Г. Ломидзе, Л. Новиченко, А. Овчаренко и другими, — безошибочно свидетельствуют о существовании широкой бреши между теорией и практикой... Одна из полемик такого рода происходила на страницах «Нового мира» в 1970—1971 годах. Некоторые из участников дискуссии являются авторами книг, содержание которых говорит об их расхождениях. Однако эта полемика не имела принципиального значения, так как все ее участники были солидарны в защите доктрины социалистического реализма от тех многочисленных ученых и писателей, которые уже не утруждают себя выражением преданности социалистическому реализму. Большинство из них, разумеется, настроено более или менее консервативно, и нюансы их расхождений едва ли заслуживают рассмотрения, но один из них, А. Овчаренко, в книге «Социалистический реализм и современный литературный процесс» (1968) и в статье в «Новом мире» (майский номер 1971 года) выступил за осторожное обновление. Трудно сказать, насколько авторитетно это выступление...»

Эту выписку из Вашей статьи, мистер Хэйуорд, я сделал для того, чтобы дать возможность широкому кругу советских читателей судить по существу, о чем идет речь, а также, признаюсь, для того, чтобы вместе с ними посмеяться над этой страницей. Знаете, нам всегда становится смешно, когда мы знакомимся с выдумками о нас «советологов». Кажется, это самое дремучее племя в мире буржуазных сочинителей. Ну как не засмеяться, читая о том, будто кто-то из нас пишет по специальной указке, выражает не свое собственное мнение, а мнение кого-то, стоящего над ним, и тому подобные небылицы. «Трудно сказать», — глубокомысленно оговариваетесь Вы. А вот мне совсем не трудно ответить Вам, что и в книгах своих, и в статьях я выражаю свое

собственное мнение как результат изучения мною (опять-таки мною, а не кем-то третьим!) современного литературного процесса. Впрочем, скажу по секрету: как коммунист, я радуюсь, если результаты моих исследований подтверждают политику моей партии в вопросах литературы, но вместе с тем ни я, ни мои коллеги, уверен, не претендуют на то, чтобы предлагаемое кем-либо одним из нас решение того или иного творческого вопроса официально признавалось единственно возможным, универсальным, незыблемым на все времена. Так что рассматривайте после этого разъяснения Вашу статью как спор с мнением рядового советского ученого — не более того.

И вот еще что: не назвав ни одного из «тех многочисленных ученых и писателей, которые уже не утруждают себя выражением преданности социалистическому реализму», Вы должны согласиться, что, мягко говоря, выдали свое желание за действительность. Точно так же, не назвав ни одного конкретного сторонника Роже Гароди и Эрнста Фишера в советском литературоведении, Вы тем самым косвенно признали, что их теории не принимаются нами в принципе. Не принимаются не только потому, что основываются, как Вы правильно заметили, на «идеологическом плюрализме», но и потому, что в конечном счете возвращают к троцкистской теории невозможности социалистического искусства, социалистической культуры до победы пролетариата в мировом масштабе. С нескрываемым огорчением вынуждены Вы сказать, что в нашей науке нет ученых, отвергающих единство идейно-теоретической основы советской литературы. Я тоже не скрою своего чувства: Ваше огорчение радует нас.

Вы называете имена почти всех видных советских ученых, пишущих о социалистическом реализме. Их квалификация в статье дает основание заподозрить, что Вы, мистер Хэйуорд, очень невнимательно читали их работы, если вообще читали. Выше уже было показано, как опрометчиво Вы прошли мимо содержащегося в трудах советских ученых материала, знакомство с которым не позволяет излагать историю формирования социалистического реализма так, как изложена она в Вашей статье. Другое доказательство — то, что прежде всего в связи с моей книгой Вы говорите о тенденциях к обновлению. Между тем советские ученые всегда подчеркивали и подчеркивают, что социалистический реализм не догма, и в меру своих сил стремились и стремятся творчески разрабатывать его, опираясь на все новые достижения писателей, ибо социалистический реализм, как справедливо определил его видный польский литературовед, это «метод, открытый всем новым экспериментам постольку, поскольку они формируют социалистическую концепцию действительности». Вы это имеете в виду, говоря об обновлении? В таком случае мы защищаем непрерывное обновление и нашей литературы, и ее теории. Во имя этого советские ученые очищают литературную теорию от догм, схематических построений, схоластических конструкций, проникающих в нее так же, как в любую науку.

Одна из таких догм возникла в результате упрощенного понимания того, что на языке эстетики именуют единством формы и содержания в искусстве. Отдельные критики, смешивая форму с художественными приемами, попытались наложить вето на отдельные литературные стили, не считаясь даже с несомненным эстетическим эффектом, извлекаемым из них выдающимися ма-

стерами социалистического искусства. Советские ученые и ученые из других социалистических стран исследовали под этим углом зрения творчество Горького, Маяковского, Шолохова, Брехта, Арагона, Хикмета и отвергли указанную догму. Опираясь на это, я позволил себе напомнить слова Луначарского и Горького о праве нашего искусства и на фантастическую гиперболу, и на карикатуру, и на всевозможные деформации, если они служат более глубокому и всестороннему раскрытию сущности реального мира. Вы перепечатываете слова Луначарского, Горького, снисходительно соглашаясь, что такой подход «имеет определенное значение для изучения литературы прошлого», и тут же квалифицируете все это как... уступку тем, кто пытается отбросить социалистический реализм, уступку, уточняете Вы, «во второстепенном вопросе во имя сохранения лелеемой сути социалистического реализма».

Вторая догма, от которой нас тоже предостерегал еще I съезд писателей и которая все-таки проникла в науку, заключалась в прямолинейном понимании перехода от одного этапа литературного развития к другому как в Советском Союзе, так и в странах, находящихся пока на разных ступенях исторического движения. Конкретный анализ отдельных писательских судеб позволил советским ученым и ученым из других социалистических стран показать, какими порой неожиданными, сложными, трудными путями приходят они на позиции социалистического реализма. Это заслуживало теоретического обобщения и... немедленно вызвало у Вас подозрение, попытку противопоставить в этом вопросе мои взгляды взглядам А. Метченко.

Как везде, мистер Хэйуорд, Вы, излагая мою позицию, кое-что упростили, кое-что огрубили, кое-что пропустили. И я бы не останавливался на этой части Вашей статьи, если бы она не завершалась словами: «Иначе говоря, социалистический реализм должен завоевать внимание литераторов и победить в борьбе с другими течениями в современной литературной практике». На этот раз Вы, мистер Хэйуорд, позволили себе быть чуть точнее: именно это я и хотел сказать, имея в виду развитие всей мировой литературы. И я рад, что сквозь частокол Ваших слов все же прорывается, хотя и с ужасающими потерями, наша правда. Например, вот в этом месте статьи: «Концепция А. Овчаренко подразумевает, что социалистический реализм нельзя навязать силой. Сохранение социалистическим реализмом его позиции и последующее распространение по всему миру должно явиться результатом его глубокого превосходства над другими методами, превосходства, которого нельзя достигнуть административными мерами».

И еще от одной догмы предостерегали нас с трибуны I съезда писателей. В основе ее лежит стремление отнести к социалистическому реализму все, что создавалось и создается в советской литературе на любых этапах ее развития. Обратной стороной этой тенденции были игнорирование, замалчивание, эстетическая недооценка того, что нельзя безоговорочно отнести к социалистическому реализму. Нет нужды повторять здесь общеизвестные причины укоренения этой догмы в определенных исторических условиях развития нашей науки. Советские ученые не только освободили от нее эстетику, но и помогли литературе восстановить честное имя многих писателей, в том числе и тех, что приняли Советскую власть, но не пришли или не успели прийти на позиции социа-

листического реализма. Так же как и другие ученые, я попытался в меру своих скромных сил сделать из этого некоторые теоретические выводы. Тем удивительнее, что Вы пытаетесь и это обратить против социалистического реализма, аргументируя свое утверждение тем, что в данном случае теория социалистического реализма... приводится в соответствие с действительным литературным процессом. «По мнению А. Овчаренко, теперь должно стать возможным и, безусловно, стало возможным говорить о произведениях Ахматовой, Пастернака, Булгакова, Цветаевой, Платонова и других почти в их естественных категориях как о части советской литературы, как бы чужды они ни были социалистическому реализму...»

Вот, в сущности, и все те «веские аргументы», с помощью которых Вы далее пытаетесь доказать, будто и сегодняшняя советская литература не может быть теоретически охвачена и осмыслена в категориях социалистического реализма. При этом Вы особенно упираете на новую у нас мысль, что и в современной советской литературе не все можно отнести к социалистическому реализму. И на другую мысль, которую я сформулирую сейчас так: социалистическим реалистом не рождаются, движение писателя на эти эстетические позиции и в наше время связано с преодолением множества объективных и субъективных обстоятельств, до социалистического реализма можно доработаться только в результате повседневного, никогда не прерывающегося труда в идейном и художественном аспектах, непрерывного углубления и расширения связей с жизнью, непрерывного потому, что социалистический реализм — рост, движение, подъем, без чего не гарантированы «срывы», «уходы» и прямые возвращения вспять. Это именно та мысль, которую я стремился развивать во всех своих теоретических работах. Вы же пытаетесь опереться на нее, чтобы сказать в заключение: «Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что предложенные изменения в теории вызваны не изменением взглядов советских теоретиков, а трезвым осознанием горькой истины — что в своей «классической» форме доктрина социалистического реализма явно не отвечает реальному состоянию советской литературы».

Поскольку, мистер Хэйуорд, «предложенные изменения» в рассматриваемой статье Вы связываете и с моим именем, не сочтите за нескромность, если я на минуту воспользуюсь предоставленной редчайшей возможностью и действительно скажу нечто основополагающее.

Ни одна научная теория не получит права называться классической, если потеряет способность постоянно обновляться, развиваться, двигаться вперед, подниматься выше. К теории же социалистического реализма это относится в особенности, так как она находится в неразрывном соотношении с самым динамичным, бесконечно развивающимся вглубь и вширь искусством. Стало быть, она не может не развиваться непрерывно. И, если хотите, удивляться надо не тому, что в эту теорию постоянно вносятся коррективы, а тому, с какой фундаментальностью, точностью и прозорливостью были определены ее основы, в сущности, на начальном этапе становления. Чтобы наглядно продемонстрировать это читателям журнала «Сёрвей», я и попытался на первых страницах ответа осветить действительную историю рождения теории социалистического реализма.

Теперь, мистер Хэйуорд, сравните все, что Вы истолковали в Вашей статье как признаки распада теории социалистического реализма, с тем, что с самого начала определялось у нас как сущность социалистического реализма, и Ваше построение рухнет само собой. Позвольте себе этот научный эксперимент, и Вы признаете, что подлинный смысл всего, что Вы по недостаточной осведомленности (как люди воспитанные, будем думать, мистер Хэйуорд, по неосведомленности, а не по какой-либо иной причине) назвали «предлагаемыми изменениями теории» и что попытались из соображений, только одному Вам известных, истолковать как «увертки», «уступки», «запоздалые признания», в действительности сводится «к утверждению, что доктрина социалистического реализма вопреки тому, что говорят ее противники, всегда была достаточно гибкой и является развивающейся, живой системой, способной отвечать требованиям времени». Это Ваши слова. Правда, Вы пытались придать им иронический оттенок. Но настоящая ирония рождается в результате всестороннего и исчерпывающего знания того, что подвергается сомнению и развенчанию. Ирония — своеобразное производное от знания, перерастающего в мудрость. У Вас, мистер Хэйуорд, если судить по рассмотренной статье, такого знания не оказалось. Поэтому не только развенчать, но и подвергнуть сколько-нибудь серьезному сомнению подлинные основы социалистического реализма Вам не удалось.

И, верится мне, никогда не удастся.

Примите и пр.

Вадим НАЗАРЕНКО

ЗАГАДКА ДЕТЕКТИВА

Немалыми тиражами выходят детективные книги, пользуются они большим читательским спросом.

Почему? Чего ради? Будто уж только «для развлечения»? Чтобы «убивать время»? Едва ли.

Но какой потребности отвечают детективные произведения? Чем духовно обогащают они? Каково их место в литературе социалистического реализма? Есть ли принципиальные отличия советского детектива от детектива западного?

«Детективная литература — вид лишенной художественной ценности буржуазной приключенческой литературы — романы, повести, рассказы, посвященные описанию «подвигов» сыщиков, защищающих буржуазную собственность и правопорядок». Такое определение, предлагавшееся в 50-х годах (в столь массовом издании, как «Словарь иностранных слов»), сегодня, конечно, устарело.

Но что имеем всерьез? Только констатацию того факта, что детективы — книги о раскрытии таинственных преступлений. (Этим, в общем, ограничивается статья в «Литературной энциклопедии».) Однако детектив ведь не сводится к криминалистической тематике. Есть ведь, например, детективы и о разведчиках.

Детектив — это жанр, утверждают многие. А если жанр, значит — некий особый род творчества. Но только ли литературный? Детективы имеются и в кино. Вполне возможны в театре. Детективность — качество не специально литературное, не кинематографическое... Какое же? Чем его «измерять»?

I. Детективов пишется гораздо меньше, чем иногда кажется

«Критика называет детективом все, что пишется о работниках угрозыска, разведчиках, пограничниках...» — утверждал как-то М. Маклярский в «Литературной газете». Такая «огульность» в понятиях о детективе, верно, бывает. И стоит подчеркнуть, что «о работниках угрозыска, разведчиках, пограничниках» пишутся книги, по большей части детективами как раз не являющиеся.

Это, во-первых, воспоминания самих следователей, чекистов о наиболее примечательных эпизодах их работы. (Таков, к примеру, вышедший в Юридическом издательстве сборник статей «Рассказывают следователи» или подобного же рода сборник, изданный в Алма-Ате.) Это ценнейший познавательный материал. Иногда опытные криминалисты обобщают факты своей практики в форме публицистически заостренных очерков, сочетая документальность с детальным анализом психологии преступников, образными зарисовками обстановки, зачастую обращаясь к диалогам, словом, в той или иной мере беллетризуя свои рассказы о криминалистических случаях и проблемах. Но в любом случае это жанр мемуарно-очерковый (пример тому — недавние книги И. Парфентьева, И. Соловьева).

Профессиональными писателями, журналистами также немало создается очерков и документальных повестей о «работниках угрозыска, разведчиках, пограничниках». Построенная на строго документальной основе, чаще всего с сохранением подлинных имен, с фактическими характеристиками места и времени, эта очерковая проза к жанру детектива тоже не имеет никакого отношения.

Не резон зачислять в детективы и такие произведения, как, например, «Бриллианты для диктатуры пролетариата» Ю. Семенова или «Земля, до востребования» Е. Воробьева. Такого рода книги близки к жанру исторической хроники. Охватывая острые моменты истории Советского государства, они включают в себя и подлинные официальные документы, и свидетельства очевидцев. «О работниках угрозыска, разведчиках, пограничниках» пишутся и приключенческие повести, рассказы, где тот или иной фактический материал дополнен художественным вымыслом. Как один из успехов этого жанра в советской литературе упомянем «Тихую Одессу» А. Лукина и Д. Поляновского. Такого рода произведения часто путают с детективами.

Наконец, повести и рассказы «о работниках угрозыска, разведчиках, пограничниках», пишущиеся не как документальные, а на основе художественного вымысла, но со строгим соблюдением житейски достоверных возможностей и пропорций (таковы, например, произведения А. Адамова, Ю. Германа, О. и И. Лавровых, П. Нилина, Н. Томана). Это тоже отнюдь не детективы.

Если не смешивать бытовые и документальные повествования о милиции с детективом, то заметим: вещей детективного жанра пишется у нас очень мало. Это явным образом редкий жанр.

Но по каким, собственно, признакам, прочитав две повести, скажем, о следователях, уверенно судим: эта вот детектив, а эта нет?

По признакам, надо сказать, очень отчетливым.

2. Тайна для читателя

Существует традиционное мнение: детектив — произведение о тайне и ее раскрытии. Примем это за основу. Только уточним акцент. Иногда говорят: детектив — произведение о раскрытии преступной тайны. Тогда акцент — на преступлениях: детективная тайна представляется именно криминалистической тайной. Но, помня, что детектив не ограничен уголовной тематикой, скажем: детективный жанр посвящен не каким-то определенного рода тайнам, а тайне вообще.

Однако для кого тайна?

Для автора? Нет, конечно: то, о чем он повествует, для него не может быть тайной. Ни в каком жанре.

Для действующих лиц? Да, но так бывает очень часто в произведениях, которые не отнесешь к детективам. Не будем уж говорить о романах Дюма, где персонажи постоянно сталкиваются с тайнами. Но, например, и в чеховском «Рассказе неизвестного» тайна для Орлова — то, что его лакей на самом деле не лакей... Однако мы, читатели, это знаем с самого начала.

В произведениях, которые не относятся к детективным, часто бывает и так, что какие-то события представляют тайну не только для действующих лиц, но и для читателя. Однако эпизодически, не составляя главного.

Но вот в детективе события, которые должны быть раскрыты, являются тайной не только для действующих лиц, а и для читателя — на всем протяжении произведения.

Именно так — в классических образцах детективного жанра, будь то повести Эдгара По или «Лунный камень» Уилки Коллинза, или рассказы и повести Конан-Дойля. Тайна для читателя, видимо, коренной признак детектива.

Могут сказать: эка важность — сплошь тайна или иногда тайна: для героя, для читателя, да хоть бы и для самого автора — не все ли равно?..

Но ведь произведение, сплошь посвященное раскрытию событий, составляющих тайну для читателя, сочиняется и строится совершенно по-особому.

Тут, можно сказать, «двойная работа». Надо сочинить такую-то «историю», развивающуюся по всей логике жизненных событий и характеров. А затем надо перестроить ее так, чтобы причины событий, действительный ход их и виновники происшедшего оставались для читателя почти до конца тайной.

«Сочинить убийство легко, трудно придумать, как его скрыть», — признается детективная писательница миссис Оливер в одном из романов Агаты Кристи.

Но во имя чего же пишется детектив, что, собственно, он дает читателю?

Возьмем, например, повесть Павла Шестакова «Игра против всех». И зададимся таким вопросом. Мог в принципе автор рассказать о событиях иным путем? Не как сейчас, когда суть все время является для читателя тайной, раскрываясь лишь к концу, а «открыто», «по порядку». Ну, начав, скажем, с того, что совершил Филин двадцать лет назад, а затем о дальнейшей его жизни и о том, как раскрывал Мазин его тайну.

Что потеряли бы мы при таком (обычнейшем в литературе)

способе рассказывания по сравнению с тем, как сейчас сочинена повесть? В плане изображения событий — решительно ничего. Напротив, «выгадали» бы. Ведь не приходилось бы, как сейчас, по нескольку раз возвращаться к одному и тому же. В «открытом», «по порядку» повествовании сразу было бы сказано: Филип поступил так-то и так-то; и «освободившиеся» страницы можно было бы посвятить более детальному описанию каких-то других событий, о которых сейчас рассказано сугубо мельком. Вполне понятно, что и характеры действующих лиц не меньше могли бы раскрыться в «обычном» повествовании. И авторские идеи — не менее ясно выразиться.

Что же тогда есть в детективе такого, чего нет в других жанрах?

Чтобы конкретнее разбираться в этом, отметим основные, непременные элементы «драматургии» детектива. Их четыре.

Загадки, то есть непонятные факты или происшествия, которые приковывают внимание действующих лиц, требуют расследования. Разгадывание, то есть распознание причин и взаимосвязей загадочных фактов, происшествий. Тайна, то есть событие, раскрывающееся, когда сходятся концы с концами в разгаданных загадках. И герой (или герои), разгадывающий загадки, раскрывающий тайну.

3. Детектив — «угадайка»?..

«Важен не результат сам по себе, а процесс обнаружения, процесс, когда автор постоянно провоцирует читателя на свои собственные догадки и невежливо показывает их беспочвенность», — писал Л. Митрохин во вступительной статье к сборнику «Зарубежный детектив» (1966 г.), предлагая эту мысль в качестве вроде бы всеобщих законов жанра.

Итог прочтения детектива, говорилось тут, состоит в том, что читатель «оказывается в дураках, на последней странице убеждаясь в неосновательности своих подозрений».

К сожалению, такие понятия о природе детектива довольно-таки распространены; и немалое число детективов пишется именно как «игра» с читателем, «розыгрыш».

Как, например, поступает с читателем Николай Леонов в повести «Приступаю к задержанию»?

На южный курорт приезжают и живут в гостинице четверо: Приходько, Шахов, Казаков, Друянов. Купаются, играют в преферанс, сидят в ресторане. При этом читателю намекается через вмонтированные в повествование «шифротелеграммы», что кто-то из них преступник, а кто-то — сотрудник Московского угрозыска. Но кто есть кто — остается неизвестным.

Заботы автора устремлены исключительно к тому, чтобы читатель не мог узнать этого. Друянов думает: «Не отдыхать приехал, дело предстоит такое, какого даже в его многолетней практике, пожалуй, еще не было». Шахов думает: «Отдохнуть бы недельки две. Не думать ни о чем и спать спокойно. Быть самим собой, а не изображать невесть кого». Казаков «...пересчитал дни до числа, обведенного в календаре карандашом... десять... Потом придется забыть и море, и пальмы, и даже девочек». Приходько «вспомнил разговор с Поддымовым, предложение которого оказалось

таким неожиданным и заманчивым. — Не совсем твой профиль, — закончил разговор Поддымов, постукивая по ладони очками, — но, учитывая опыт, думаю — справишься». По такого рода двойственным намекам, систематически бросаемым в повествовании, читатель в любом из четверых предполагает и сотрудника милиции, и преступника.

Правда, Казаков скоро «выбывает из игры». Он зарезан бритвой у себя в номере неизвестно кем.

Местная милиция старается расследовать убийство Казакова. И подозревает каждого из трех: и Приходько, и Шахова, и Друянова. Читателю благодаря усилиям автора также подозрителен каждый. Автор намекнул, что кто-то из них — приезжий сотрудник милиции, но местная милиция не знает и этого (ибо тот якобы «зашифрован» даже для нее). И читатель наблюдает «интригующую» ситуацию — как местная милиция тщательно разрабатывает версии убийства каждым из трех, среди которых и сотрудник угрозыска.

Только в самом конце раскрывается, что зарезал Казакова Приходько — матерый бандит. («Инженер — мужик на первый взгляд симпатичный, ловкий, добродушный, с быстрым простонародным говорком. Видимо, скромный, всем доволен, всему радуется» — по впечатлениям Друянова.) А сотрудником угрозыска является Шахов (распевающий — для «зашифровки» — на пляже под гитару: «Гвоздики алые, багряно пряные, однажды вечером дарила ты...»), а Друянов — просто адвокат (играющий в преферанс и загорающий на пляже в порядке подготовки к «тяжелейшему процессу»).

Как сообщается в издательской аннотации, данная повесть — «остросюжетный детектив, написанный по классической схеме этого жанра, с разгадкой на последней странице».

Схема-то схемой, но важно еще и **что**, собственно, разгадывается. А тут «разгадывается», собственно, только одно: кто преступник, а кто его преследователь. Повествование посвящено не раскрытию преступления, а лишь тому, как персонажи — по воле автора — играют «в прятки» с читателем. А эти «прятки» ни фактически, ни психологически не убедительны. Например, Приходько, имеющий пять судимостей, два побега, только что отбывший наказание за бандитизм и общающийся «на равных» с членом коллегии адвокатов Друяновым, — такое надо очень и очень обосновать психологически, чтобы в это можно было поверить. От расторопного читателя не скроешь и то, например, что Шахов снабжен перебитым носом, а его помощник капитан Баклаков — татуировкой на всем теле — специально для загадочности, чтобы легче принимали их в местной милиции за представителей преступного мира.

Тут лишь рассудочный «ребус», вызывающий, пока читаешь, некое любопытство, а в конце — досаду. Несомненная литературная одаренность автора не нашла тут себе достаточного применения из-за превратного понятия о художественной природе детектива.

И прежде всего тут резко нарушено художественное соотношение загадок и тайны, раскрывающейся в итоге их разгадывания.

Протокольно-информационное описание преступления, даваемое в конце, призвано лишь разъяснить читателю загадки, но не рисует чего-либо значимого, характерного, впечатляющего. Тайна тут лишь «обслуживает» загадки.

4. Значимость тайны

А что происходит в повести Павла Шестакова «Игра против всех»? С первых страниц и чем дальше, тем «гуще» возникают загадка за загадкой.

Сперва таинственное ограбление сейфа в бухгалтерии научно-исследовательского института. Затем на стадионе один неизвестный убивает ножом другого неизвестного. Не успевает выясниться, что убитый — некто Кранц, приехавший из Барнаула, а убийца — некто Живых, наркоман, столяр в прошлом, как уже и Живых найден убитым; кто-то умышленно задавил его автомобилем. Тем временем оказывается, что сейф ограблен бухгалтером Зайцевым, но тут же и Зайцев найден мертвым, сброшенным с обрыва в том же автомобиле, которым был задавлен Живых. Вокруг всего этого возникает и рушится множество версий. Многие люди то подозреваются, то выходят из подозрения, то подозреваются вновь. Четыре следователя в крайнем затруднении.

Но загадки эти отнюдь не являются для автора самоцелью. Тут отчетливо выступает важный закон детектива как подлинного искусства.

Загадки, с которых начинается детектив, не что иное, как отдельные, выглянувшие на поверхность моменты событий, составляющих тайну.

Поверхностного автора события, составляющие тайну, заботят лишь в финале, ради «сведения концов с концами». Но взыскательный художник на всем протяжении повествования рисует эти события, но только как бы «симпатическими чернилами», которые «проявляются», когда в конце, оглянувшись назад, другими глазами видим мы происходившее.

И когда загадки разгаданы и сопоставлены с другими фактами — незагадочными, но приобретающими теперь важное значение, — раскрывается в повести Шестакова тайна: неожиданная, непредвидимая.

Убийца Живых и Зайцева — профессор Филин, директор научно-исследовательского института, крупный специалист-хирург шестидесяти лет.

Он убил Живых, потому что тот его шантажировал... Двадцать лет назад, в 1942 году, военврач Филин оказался во главе маленького госпиталя, который не удалось эвакуировать при захвате города гитлеровцами. Эсэсовец потребовал от Филина, чтобы тот собственноручно умертвил двенадцать тяжело раненных советских солдат. Под страхом смерти Филин согласился, сделав им всем уколы.

Эсэсовец объяснялся с Филиным через переводчика. Это был Кранц, немец, родившийся в России; до оккупации — заместитель директора местного исторического музея, археолог. Связанный с партизанами, он устроился в городскую управу переводчиком в интересах борьбы с оккупантами. Все это знал Филин, и ему надо было избавиться от такого свидетеля, как Кранц, сообщившего бы партизанам о его злодеянии.

Исторический музей помещался в доме, соседнем со школой, где был госпиталь. Когда город оказался окруженным, то музейные ценности спрятали в школьном подвале трое: Кранц, завхоз Устинов, столяр Живых. Вот Филин и написал донос в геста-

по о том, что Кранц спрятал клад. Арестованный Кранц, однако, не признается. Клад выдает Живых. А гитлеровцы публикуют в местной своей газетке, что клад «спасен» фольксдойчем Кранцем. Его же самого без шума отправляют в Германию в концлагерь. Также и Живых. Таким образом, Кранц скомпрометирован в глазах партизан, Филину нечего бояться их мщения.

Такова сложная, поистине страшная тайна, всплывающая через двадцать лет.

История злодеяния военврача Филина, несомненно, возбуждает «вечные», но всегда острые вопросы о долге, о совести, о чести, о трусости. Далеко не простую художническую задачу поставил себе автор. И надо сказать, страницы, повествующие о содеянном Филиным, отнюдь не «протокольная» опись фактов для разгадки загадок, а картина немалой резкости, психологической и жизненной достоверности.

Тут опять ощущаешь сложность искусства детектива. Дело в том, что и загадочность несвязных фактов, скрывающая тайну, и ход ее раскрытия не могут диктоваться просто-напросто авторской «выдумкой», а должны следовать тем жизненным возможностям, которые могут создавать тайну, и тем свойствам действительности и характеров, что делают умом и усилиями расследующего тайное явным.

Шестаков достигает в этом отношении многого. Но, подчеркивая сложность детективного жанра, стоит высказать и некоторые «придирки».

В истории злодеяния Филина осталось без мотивировки нечто существенное. Говорится: Филин знал, что Кранц спрятал музейные ценности, что он связан с партизанами. Но Филин попал в город только что, выйдя из окружения. Почему трое, спрятавшие клад, должны были поведать об этом совершенно неизвестному им человеку? Так же сомнительно, чтобы Филину открыли, что Кранц связан с партизанами. Между тем лишь на немотивированном авторском допущении, что Филин знал и о том и о другом, держится и спасение его от партизанской расплаты, и его разоблачение через двадцать лет.

И еще. Вышедший в 1945 году из концлагеря в Германии Кранц арестовывается как пособник оккупантов нашими советскими органами и отбывает наказание до 1955 года. Освобожденный в том году, он только в 1962-м приезжает в город, где развертывается действие. Отыскивает почему-то Живых, рассказывает ему все о Филине. Живых, боясь расплаты за выдачу клада гитлеровцам, а также под влиянием наркотиков убивает Кранца. Затем отправляется шантажировать Филина. А профессор убивает его.

Но почему приехал Кранц именно в этом году, через семь лет после своего освобождения? Почему приходит к Живых, выдавшему клад, а не к Устинову? Почему ведет разговоры с Живых, хотя сразу должен видеть, что это теперь наркоман и вообще личность во всех отношениях темная?

Этот вопрос, вообще-то, не ускользает от внимания автора. Разговаривая с Живых, Филин спрашивает о Кранце: «Если он знает, почему он сам не пришел ко мне? Или в другое место?» Живых, конечно, не может ответить на этот вопрос.

А между тем нет сомнения, что убийство врачом двенадцати раненых жгло память Кранца, и он считал своим первейшим дол-

гом добиться кары. И имел множество возможностей добиться, сделав необходимое заявление.

Конечно, в искусстве всегда есть определенные условности, допущения, но реализм требует, чтобы основные движущие обстоятельства были объяснены, мотивированы. И если все зависит от появления Кранца — оно должно быть обосновано и жизненно, и психологически.

Существен и такой вопрос: а в самом ли деле может такой вот Филип двадцать лет как ни в чем не бывало жить примерным профессором, примерным директором, примерным родителем, в полном душевном равновесии, постоянно «в форме», во всеоружии юмора, добродушия, трудовой славы?

Или все-таки совесть не есть полнейшая выдумка и должны были посещать Филина образы умерщвленных им?

Я говорю об этом не вообще, а применительно как раз к детективному сюжету. Думается, все же должны были завестись в Филине некоторые «странности», озадачивающие поступки. Четкость художнической позиции требовала бы образно настаивать, что злодеяние напоминает само о себе, «изнутри». Это ведь не «нравоучительная» схема, а психологическая правда. Не в том, понятно, дело, чтобы Филин сам себя разоблачил; разоблачение может прийти и извне. Но в том дело, чтобы, добравшись до раскрытия тайны и оглянувшись назад, мы приметили, что Филин внутренне вел себя и чувствовал именно как злодей, хоть и надежно укрытый. Именно тогда страшная эта история оказалась бы еще более разработанной и художественно и детективно.

Но и сейчас повесть Шестакова убеждает, что детектив как подлинное искусство невозможен без того, чтобы тайна, раскрываемая в повествовании, была значительна.

Если ее события раскрываются со столь чрезвычайными сложностями и если автор должен все время, в разных загадочных проявлениях и возникающих версиях усиленно сосредоточиваться на этих событиях, то раскрывающаяся наконец тайна, очевидно, должна говорить читателю нечто важное.

Несомненно, разочарованием для читателей бывает, когда «гора» загадок, версий, поисков рождает «мышь» чисто информационной «разгадки».

Это досадное чувство охватывает, когда дочитываешь, например, многие из романов Агаты Кристи, и в результате предстает голое сообщение факта: такого-то отравила такая-то из ревности или желая завладеть наследством и т. п.

Стоит заметить, что в произведениях классика детектива Конан-Дойля раскрытие тайны, напротив, как бы «отдергивает занавес» перед сложной и значительной картиной. Так, например, в «Знаке четырех» раскрытие таинственного убийства, происшедшего в Лондоне, ведет в Индию и в каторжную тюрьму на Андаманских островах: корни лондонского преступления там. Во время жестокого подавления английскими колонизаторами восстания индийцев были ценой убийства похищены драгоценности раджи; в свою очередь, предательски завладел ими английский офицер тюремной стражи: нарастала алчность на алчность... А, скажем, в «Пяти апельсиновых зернышках» раскрытие тайны ведет к преступной деятельности ку-клукс-клана еще в конце прошлого века.

Подходя к детективу как к подлинному искусству, естественно применять к нему тот же критерий, что и вообще к художественным изображениям, — реалистичность, жизненную значимость.

5. Тайна и душевная жизнь личности

Где-то я читал: кое-что из методов Холмса пригодилось в криминалистике. С другой стороны, персонажи детективных произведений часто иронизируют над холмсовскими приемами (как сам Холмс насмехался над Дюпеном — героем детективов Эдгара По). Но подавляющее большинство читателей детективов не является профессионалами-криминалистами; почему же их так влечет раскрытие тайны?

Очевидно, живейшее волнение, с которым следишь за раскрытием детективной тайны, не имеет прямолинейно-утилитарной основы, возникает не в ходе обучения тому, как раскрывать преступления или бороться со шпионами.

Отвлечемся ненадолго от детективов. Обратимся к нашим душевным свойствам и запросам.

«Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп», — замечал Маяковский. И верно, человек, полагающий: ему «все ясно» и нет никаких тайн, едва ли заслуживает интереса, да и самому себе скучен. В действительности чувство тайны — одно из возвышенных в человеке, характерная примета того, что именуется словом «романтика».

И детектив — своей обостренной атмосферой тайны, своим все более напрягающимся сюжетом — не отражает ли этим реальное положение человека в мире, и освоенном им, и вместе с тем проникнутом тайнами? Тут, наверное, одна из глубинных причин того, что так много любителей детектива — и разных возрастов, и разных профессий, и разного культурного уровня. Тут же, наверное, причина и «антипатии» иных читателей к детективу — чтению «беспокойному», отнюдь не «убаюкивающему».

Человеку свойственно не только ощущать тайны, но и раскрывать их. Процесс познания не только в отвлеченно-философском плане, не только в масштабах общества, но и в жизни конкретной личности полон раскрытия тайн — и больших, и малых, и «микроскопических».

Этого требуют научные открытия и изобретения. Применительно к художественному творчеству об этом говорил Ломоносов, отмечая важность «сопряжения далековатых идей». Но и в обиходе каждого так или иначе предстает такая необходимость. И тут каждый — в более или менее сложных обстоятельствах — вступает в борьбу за раскрытие истины, преодолевая собственную ли инертность мысли или неясность в самих фактах, кажущуюся их несвязанность.

Не возникают ли тут очень часто в самой жизни своего рода «детективы», хоть не происходит ни раскрытия преступления, ни борьбы со шпионами, а «всего лишь» повседневный процесс познания?

Произнося слово «познание», мы иной раз подразумеваем лишь отвлеченное мышление, познание научное. Между тем вся жизнь

и деятельность личности есть познание действительности. И процесс это очень конкретный, насущнейше важный в личной судьбе, зачастую драматический, иной раз даже трагический, проникнутый отнюдь не только умозаключениями, но и переживанием, порой острейшим.

И особого рода переживания возникают, когда, раскрывая истину, совмещаются вдруг факты или явления, до того казавшиеся самостоятельными и отдельными.

Именно этим путем раскрывается детективная тайна. Именно в этом проявляется талант героя, раскрывающего эту тайну.

Установление связей между фактами, кажущимися самостоятельными и отдельными, — дело непростое и в реальной жизни. И прежде всего потому, что представшие вдруг факты кажутся действующим лицам загадочными, никуда не ведущими — не просто из-за их житейской спутанности, а еще из-за того, что они запутаны, замаскированы враждебной волей того или тех, кто как раз борется против раскрытия тайны.

Трудность открытия истины обострена в детективе, кроме того, еще и чрезвычайностью обстоятельств, угрожающих катастрофой, требующих неотложного раскрытия тайны.

Детективы бывают чрезвычайно разные. В том числе порой такие глупые (от чего, впрочем, не «застрахованы» и стихи, и даже «монументальные» романы), что, кажется, дико говорить о каком бы то ни было познании истины.

И тем не менее, взглянув на основной принцип детективного жанра, видишь: принцип этот призван служить художественной типизации самого процесса борьбы за раскрытие истины, изображению и переживанию этого в резко концентрированных и обостренных художнической фантазией формах.

В «Литературной газете» Ю. Кларов как-то высказал такое мнение: детектив «больше всего соответствует ритму современной жизни... бешеному темпу современной жизни», потому что детектив «исключительно динамичен». Тем самым детектив рекомендуется чуть ли не как «жанр № 1», наиболее «созвучный» современности.

Но так ли уж, собственно, «динамична», например, «Игра против всех»? На последних страницах, когда доходит до развязки, темп действия, верно, очень быстрый. Но до того почти исключительно разговоры, хождения, те или иные подробности, зачастую малые... Действие вроде бы стоит, замерло. Тут не динамика, а другое — напряженность. Похожая на то, как ищут и разряжают мину неизвестной конструкции, готовую взорваться вот-вот.

И это отнюдь не только в данной повести. Какие бы порой ни возникали «приключения» по ходу раскрытия тайны, как бы порой далеко ни приходилось отправляться за необходимыми данными, но детектив неизменно возвращается туда, где наметилась тайна и где она должна быть раскрыта.

Детектив — «тихий жанр» по сравнению с «приключенческим». К примеру, «Три мушкетера» — вот уж сплошная «динамика», «бешеный темп» (хотя сто лет назад еще не было «бешеного темпа современной жизни»).

Если уж говорить о «динамизме» детектива, то главным образом, подразумевая динамизм мысли, проникающей в тайну.

Детективное повествование ограничено в размахе изображения

событий. Причина этого — в читателе: его острое и непрерывное переживание раскрытия тайны возможно именно потому, что читатель мысленно оперирует в целом данными обстоятельствами и предчувствуемой тайной; все это должно быть доступно мысленному читательскому обозрению. А возможности сознания имеют в этом плане свои пределы.

Эта неизбежная ограниченность детектива в количестве изображаемых событий «компенсируется» чрезвычайностью того немногого, что может охватить детективное сочинение. И это опять же связано с природой жанра.

Если согласиться, что **переживание** раскрытия тайны — существеннейшая сторона искусства детектива, то, очевидно, тайна должна быть особо трудной для раскрытия. И в этом смысле далеко не любой случай, скажем, из милицейской практики может составить детективную тайну.

В реальном следовательском обиходе важны дела любого масштаба: например, дело о хищении пряжи на таком-то предприятии. Расследование, скажем, такого дела ведет к выяснению того, кто, как, по каким мотивам похищал пряжу, то есть все замкнуто в пределах данного преступления, сперва загадочного, а потом раскрывшегося. Но в искусстве детектива если и начинается с факта хищения пряжи, то в дальнейшем следователь и читатель «выходят» на совершенно непредвиденные события. В реальной следовательской практике так, конечно, тоже бывает, но в искусстве детектива это закон, художественная необходимость. И главной тайной, раскрываемой в итоге, тут едва ли может быть, скажем, хищение пряжи — события должны быть не только неожиданны, но и необычайны.

Наши мастера детективного жанра достигают в этом порой далеко не заурядных удач. Вот повесть Анатолия Жаренова «Обратная теорема», вышедшая в Воронеже в 1970 году и написанная, надо сказать, с подлинным мастерством.

Проживает в некоем городке некий человечек. Где-то работает, вроде бы вполне добросовестно. Но только нелюдим.

И вот он найден убитым; домишко его подожжен. Расследование устанавливает: он был, что называется, «подпольный миллионер». Но главная тайна не в этом. А в том, откуда у него капиталы, запрятанные в двойном железном дне аквариума.

Лет десять назад ловил человечек рыбку на берегу таежной речки. И вдруг терпит вблизи аварию самолет: врезается в тайгу. Человек видит изуродованные тела двух летчиков. Но что ему до того... ибо еще он видит пачки денег, разбросанные взрывом, много пачек; везли их в банк вскоре после денежной реформы. И, не смущаясь зрелищем разорванных тел, кидается человек на деньги, жадно сгребает их — пятьсот тысяч; а засим увольняется, уезжает отсюда подальше. И ждет десять лет — боится тратить, откладывает «роскошную жизнь», пока прекратятся поиски денег. Ждет-дожидается. А мертвые летчики почему-то ночь за ночью снятся ему и снятся. Хотя он и не убивал их, а «только» воспользовался «свалившимися с неба» денежками. И когда настигают его некие уголовники, пронюхавшие о его сокровище, то убивают человека, собственно, уже мертвого душевно.

Раскрытие этой тайны, несомненно, заставляет читателя задуматься о многом. Исключительнейшая эта история самым

обостренным образом доводит до глубокого конкретного представления «банальную» истину: «не в деньгах счастье».

Обратив внимание на решающую роль значимости и необыкновенности детективной тайны, понимаешь искусство детектива как очень сложное и тонкое, сочетающее размах творческого воображения и жизненную достоверность.

Ибо надуманные нагромождения сложностей, чуждые искусству вообще, особенно неприятны в детективе. Потому что «антипатия» к детективу иных читателей и весьма многих критиков рождена превратным понятием, будто сам жанр этот к содержанию безразличен, было бы «закручено покруче».

И когда иной автор по такому именно «принципу» сочиняет детектив, то нехорошо это не только для него лично, но и для развития жанра.

Выразительный, по-моему, пример — роман Еремея Парнова «Ларец Марии Медичи», вышедший в 1972 году.

Вот ведь какая тут сочинена тайна. В центре — антикварный сундук, вокруг которого совершаются преступления, поскольку он стоит огромные деньги (принадлежал когда-то Марии Медичи...). Однако это не просто сундук... Альбигойцы еще в XIII веке спрятали в этом сундуке ковчег Грааля... А Грааль, как известно, мистический религиозный образ раннего средневековья: священная чаша с кровью Христа... И вот следователь Люсин в Москве 1971 года, расследуя преступления похитителей сундука, параллельно стремится отыскать святой Грааль... Приятель Люсина, писатель Березовский, участвующий в этих поисках, тоже захвачен возможностью обретения святого Грааля... «Это дело первостатейной важности. Кто знает, может, от него зависит весь дальнейший ход научного прогресса!» — восклицает писатель. Однако — по неумолимым законам логики искусства — мистический образ Грааля никак ведь не может материализоваться в виде всамделишного сосуда на конторском столе в кабинете следователя. Автору романа, безудержно размотавшему нить своей фантазии, приходится под конец нить эту срочно сматывать.

Вот уж где справедливо вышеупомянутое мнение Л. Митрохина о читателе детектива, «остающемся в дураках».

Но — подчеркнем опять — происходит это не по законам детектива как подлинного искусства, а как раз вопреки этим законам.

Продолжая об этих законах, заметим: детектив не учит конкретно ни следователя раскрывать преступления, ни ученого раскрывать тайны природы, ни контрразведчика бороться со шпионами, ни любого из нас разбираться в сложностях и загадках повседневности. И тем не менее детектив касается всех: обостренно типизируя борьбу за раскрытие истины, создаваемым переживанием возбуждая энергию познания. Однако такая сила воздействия свойственна не всякому, а лишь реалистически устремленному детективному произведению.

6. История детектива еще не написана

«Древнее» Эдгара По детективный жанр не просматривается. А «придал этому жанру форму развитую и законченную», «вдох-

пул в него жизнь и движение» Конан-Дойль в девяностые годы прошлого века, как отмечают М. Урнов и А. Наркевич в статьях при «огоньковском» собрании его сочинений.

Чем же было вызвано появление этого нового рода творчества?

Связь детективной «классики» с устремлениями критического реализма очевидна. Социальная сатира отчетливо выступает в детективном романе Уилки Коллинза «Лунный камень», где вором оказывается не кто-нибудь, а Годфри Эблуайт — олицетворение буржуазных добродетелей и респектабельности. Критический реализм определенно свойствен и детективам Конан-Дойля, где раскрытие тайн почти всегда обнаруживает преступную, ни перед чем не останавливающуюся алчность богачей и аристократов. Чего стоит в этом отношении, например, сюжет «Берилловой диадемы», где член королевской фамилии закладывает банкиру-ростовщику корону — «достояние нации»!

Но, как это происходит и со всеми искусствами и жанрами в капиталистическом обществе, быстро завязалась идейная борьба вокруг нового жанра детектива.

Усиленными воздействиями буржуазной идеологии западный детектив в большей своей массе был превращен из жанра, возбуждающего энергию познания, в жанр-наркотик.

Раскрытие тайны ведет в таких сочинениях к внушению мысли, что преступление может совершить каждый («Я подозреваю всех», — постоянно говорит Эркюль Пуаро у Агаты Кристи.) и что, в общем, чисто случайно убил тот, а не этот. Западный детективный «ширпотреб», сосредоточиваясь ли на сугубых живописаниях ран, крови, трупов, описывая ли преступления с полным хладнокровием лишь как материал для логических построений, воспитывает жестокость, бесчеловечие. И поскольку сквозь лабиринты сюжета никуда не приводит, кроме как к чисто механической «разгадке», — несомненно, оглупляет читателя.

Хотя не весь западный детектив таков, но именно этого рода сочинения изготовляются «поточным способом», в ошеломляющих количествах, наводняя книжный рынок. Искажая для невнимательного взгляда представление о самом жанре детектива.

Конечно, не на эти бульварные «традиции» ориентируются советские писатели, разрабатывая этот жанр. И не все традиции детективной классики продолжают.

И должны заново решать проблему героя, раскрывающего тайну. Без него детектива нет.

Вот, к примеру, заключительные события «Одиссеи» Гомера, казалась бы можно перекомпоновать в детектив... На пиру женихов Пенелопы оказывается никому не известный нищий... Ряд загадок: старый пес Одиссея ласкается к жалкому нищему, богатырский лук Одиссея запросто под силу натянуть этому нищему... И вот раскрывается тайна — Одиссей возвратился в свой дом. Эта тайна для женихов была бы — при соответствующем построении — тайной для читателя. Но детектива тут не возникло бы, потому что не было бы героя, раскрывающего эту тайну.

Своеобразное душевное воздействие детектива зависит именно от того, что такой герой в нем непременно есть.

Читатель вместе с этим героем недоумевает перед загадками и отыскивает разгадки, преодолевает сопротивление враждебной воли, раскрывает тайну. И так как автор приоткрывает читателю ровно столько, сколько герою, раскрывающему тайну, то возни-

кает идентификация — отождествление — читателя и героя. Властью искусства на время чтения обретаешь сверхпроницательность, сверхнастойчивость в борьбе за раскрытие истины. Это не может не оставлять в глубинах личности некий «след», «отблеск».

Едва ли не все наши авторы детективов старались создать из повести в повесть постоянного героя-следователя: Чернов — в книжках Виктора Смирнова; Мазин — в книжках Павла Шестакова; Стас Тихонов — в книжках А. и Г. Вайнеров и так далее. То есть создать «советского Холмса».

Скажем прямо, это не состоялось. Образ каждого из этих героев и живой и симпатичный; но невозможно себе представить, чтобы, скажем, Смирнов, собрав свои детективы в одну книгу, назвал ее: «Повести о Чернове», или Шестаков — «Повести о Мазине». В чем тут дело?

Холмс — сыщик-одиночка. Он действует независимо от полиции. Он «последняя инстанция», где ищут защиты. Он — над королями, президентами, банкирами. И те зависят от его помощи. Он читает нотации «коронованным особам», ставит им условия; запросто нарушает законные формы, когда ему это требуется, — самовластно «милует» преступников, если находит их не заслуживающими наказания. Словом, это не просто гениальный сыщик, это — «миф». Олицетворение мечты среднего человека, задавленного несправедливым общественным строем, — о восстановлении справедливости, о некоем всемогущем избавителе, к которому можно в частном порядке, лично для себя, обратиться. Именно в этом причина популярности образа Холмса — именно образа его, а не самих рассказов Конан-Дойля, «вера» в Холмса, вплоть до постановки памятника ему и до «почитания» места на Беккер-стрит, где «жил» Холмс...

В образе Холмса сказались, несомненно, критико-реалистические устремления, в той мере, в какой раскрывает Холмс преступные тайны, характерные для буржуазного общества. Но в основном образ этот миф, порожденный общественным строем, где идет «война всех против всех».

Вполне естественно, нашим читателем «сверхчеловеческие» черты Холмса просто не воспринимаются, а интерес сосредоточивается на самом ходе раскрытия тайн, где предстает реализм мысли и литературной «живописи» Конан-Дойля.

Детектив в нашей литературе продолжает реалистические, а не «мифотворческие» традиции детективной классики. И потому в наших детективах первейшее место занимают раскрытие жизненно реальной тайны и проявляющиеся в этом человеческие (а не сверхчеловеческие, мифические) способности расследующего. Это, понятно, ничуть не мешает созданию образов талантливых следователей. Напротив. Ведь вот Мазин в повестях П. Шестакова обладает живейшим обаянием: по своему мужеству, по силе и остроте ума, по высокой культуре. Но это человеческое обаяние, а не обаяние мифа.

Продолжая традиции детектива как жанра, возбуждающего энергию познания, наши писатели, естественно, стремятся выйти за рамки криминальных тайн.

То, что в наших детективах так часто предстают следователи и разведчики, закономерно, но не потому, что сам жанр ограничен этими профессиями, а скорее потому, что именно в этой

работе борьба за раскрытие истины выступает в наиболее острых, порой на грани жизни и смерти, формах.

Но действительность не бедна и некриминалистическими ситуациями, способными образовать детективную тайну, претворясь в художническом воображении.

И в своих творческих поисках наши авторы детективов ставят и решают такие задачи, которые не могли занимать классиков детектива.

К примеру, немыслимо предположить, чтобы конан-дойлевский герой расследовал природу индивидуализма как болезни личности и как преступление человека перед обществом и самим собой. Но вот Павел Шестаков пишет повесть «Страх высоты», где нет криминальной тайны, а есть тайна заражения одаренного молодого научного работника «вирусом» индивидуализма, заражения, ведущего героя к гибели и моральной и физической. Тайна эта раскрывается со всей остротой детективного жанра и по всем его законам; и читается книга — хотя нет в ней ни погонь, ни перестрелок, ни преступных ухищрений, а преимущественно «психология», — читается с интересом, скажем с полной ответственностью, — большим, чем Агата Кристи, если не сам Конан-Дойль.

7. Полноправная часть литературы

Давненько прошли времена, когда наши писатели лишь подступали к освоению детективного жанра и сочинения их, не замечаемые «серьезной» критикой, бывали лакомой пищей для фельетонистов.

Уместно, хоть в коротких словах, заметить, что детектив играет существенную роль в современном литературном движении и удовлетворении запросов читателя. Детективы иногда называют «остросюжетными» произведениями. И это действительно так. Известно, однако, что в литературе XX века мастерство сюжетосложения в немалой мере расшатано воздействием модернизма. Получили распространение вещи клочковатые, фрагментарные, пассивно имитирующие течение обиходной действительности или «потока сознания» персонажа или автора. Словом, сочинения, так скажем, «тупосюжетные». Между тем четкий и завершенный сюжет очень дорог нам, читателям. В искусстве ценишь завершенность, воссоединение причин и следствий, начал и развязок. Классическое требование экспозиции, завязки, кульминации, развязки — отнюдь не так наивно, как кому-то кажется.

В детективе по самой его природе непременна развязка, непременно раскрытие причин, четкое единство и завершенность сюжета. Я думаю, тут одна из серьезных основ широкого читательского интереса к детективу.

Этими своими особенностями детектив оказывает влияние и на «недетективное» творчество. Любопытно отметить это в пределах работы одного и того же писателя. Виктор Смирнов — автор ряда детективов — написал сейчас большую повесть «Тревожный месяц вересень». Это не детектив. Это и не «приключенческая» повесть; «приключений» тут, собственно, немного. Но сюжет ее и ход повествования — чрезвычайно четкие, исключающие мни-

мо художественное празднословие и праздноживописание — обязаны своими достоинствами, несомненно, детективному опыту автора.

Хорошие влияния этих сторон детективного жанра на другие повествовательные жанры в плане художественной целостности, завершенности, обостренности были бы шире и плодотворнее при росте внимания к жанру детектива.

«Наводнение» детективов нам отнюдь не угрожает. По той простой причине, что у нас в социалистическом обществе нет коммерсантов-издателей, потрафляющих дурным вкусам, забрасывающих читателя горами ремесленно-криминального, наркотического чтива.

В качестве же подлинного искусства детектив ввиду тех его особенностей, которые мы старались подчеркнуть, требует своеобразных, очень нечасто встречающихся качеств таланта и искусности.

Будем же ценить этот редкий жанр — в качестве критиков и редакторов — так же, как ценим его «вне профессии», бывая читателями среди читателей.

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РАСУЛА ГАМЗАТОВА

ПОЭЗИЯ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

Известному советскому поэту, лауреату Ленинской премии Расулу Гамзатову исполнилось 50 лет. Все эти годы неразрывно связаны с поэзией, которая началась для него уже в отцовской сакле в ауле Цада. Отец его — народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса — сумел не только передать в наследство сыну талант художника, но и оставить ему в дар умение слушать народную мудрость и, переплавляя ее в стихи, делать ее поэзией. Запечатленная в пословицах, поговорках, присказках, песнях народная мудрость буквально пронизывает все созданное Расулом Гамзатовым как в стихах, так и в прозе. И эта органичность фольклорного наполнения поэзии профессионального поэта — результат неразрывной связи художника с родной землей Дагестана, с судьбой народной. Причем связи не интуитивной, а совершенно сознательной, целенаправленной и непременной. Эта неразрывность с народом, с его жизнью — закон поэтической «конституции» Расула Гамзатова. Именно об этом стихотворение «Старые горцы»:

Они в горах живут высоко,
С времен пророка ли, бог весть,
И выше всех вершин Востока
Считают собственную честь.

И никому не сбить их с толка,
Такая зоркость им дана,
Что на любого глянут только —
И уж видна его цена.

Старые горцы у Р. Гамзатова — собирательный образ родного народа во всей его нравственной и духовной полноте, по которой выверяет поэт не только собственную жизнь, но и подлинность им созданного:

Душой робея, жду смущенно,
Что скажут на мои стихи
Не критики в статьях ученых,
А в горских саклях старики.

Путь в большую поэзию для каждого пришедшего туда неразрывно связан с его житейским путем, с биографией. Она у Расула Гамзатова и обычна и необычна.

Да, начиналась как у всех: школа, педагогическое училище, работа учителя. Потом вдруг театр. Затем газета. И, наконец, Литературный институт.

С одной стороны, это завершало необычность биографии горского парня, с другой — начинало ее: именно здесь, в Литературном институте, суждено было окончательно определиться дальнейшей судьбе Расула Гамзатова.

Он не только обрел учителей — крупнейших мастеров поэзии, но и нашел «созвучных» себе переводчиков, творческая дружба с которыми продолжается и по сей день. Отныне его аварские стихи стали не только фактом русской поэзии. Они обрели всемирную известность. И это опять-таки оказалось возможным потому, что слово поэта, его поэзия вобрали в себя и осветили новым светом народное слово, народную мудрость. Потому-то так высоко оценена в родном Дагестане творческая деятельность Расула Гамзатова. Ему присвоено самое высокое для художника звание — народного поэта. Но народный поэт — это еще и большой общественный деятель. Расул Гамзатов — депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР, секретарь правления Союза советских писателей. Естественно, общественная работа требует сил, энергии, времени. Но без этого Расул Гамзатов не мыслит себя ни в поэзии, ни в жизни, оставаясь и в свои пятьдесят верным своим словам: «Я не зову к покою или спячке. Я сам люблю дыхание грозы».

наше обо· зре· ние

В ПОХОДНОМ СТРОЮ

В советской литературной науке все заметней утверждается тип ученого, успешно сочетающего в себе качества теоретика, историка литературы и боевого критика, активно вторгающегося в современный художественный процесс. Такому ученому, как правило, присущи глубина и самостоятельность мышления, последовательность в отстаивании партийных позиций, завидная эрудиция не только в области литературы, но нередко и в смежных видах искусства, что и открывает перед ним возможности для широких теоретических обобщений и выводов.

К этому отряду ученых относится и Александр Дымшиц, многолетняя литературная деятельность которого отмечена трудами, прочно вошедшими в нашу эстетику, литературоведение и критику. Недавно он выступил с новой книгой, само название которой — «Проблемы и портреты» * — свидетельствует как о ее теоретической, так и художественно - аналитической направленности. Здесь работы по важнейшим проблемам развития социалистического реализма и литературно-критические «портреты», посвященные советским писателям С. Есенину, И. Садофьеву, Н. Асееву, В. Закруткину, М. Алексееву, А. Макарову и другим, разыскания по истории дореволюционной пролетарской поэзии, очерк о драматургии писателей-«знаньевцев» и, наконец, серьезное исследование идейно-эстетических особенностей фильма С. Эйзенштейна «Октябрь». Цельность всему этому тематически разнообразному содержанию придают единство авторской позиции, последовательный историзм и мастерское умение преломлять общие эстетические принципы в конкретном художественном материале.

Здесь нет возможности рассмотреть книгу А. Дымшица во всей ее полноте. Поэтому остановлюсь на тех вопросах, поднятых в ней, которые были и остаются в центре внимания нашей литературной общественности.

* Александр Дымшиц. Проблемы и портреты. М., изд-во «Современник», 1972.

«Проблемы и портреты» — книга, проникнутая пафосом утверждения и защиты ленинского принципа партийности литературы и искусства, принципа, непрерывно атакуемого нашими идейными противниками, но неодолимо и властно завоевывающего умы и сердца все новых и новых кругов творческой интеллигенции во многих странах. Ученый дает резкую отповедь фальсификаторам ленинской теории отражения как философской основы социалистического реализма. Извращая суть этой теории, идеологи буржуазии и ревизионисты типа Эрнста Фишера тщатся доказать, что теория отражения якобы обрекает художника на объективизм, на пассивное копирование действительности в духе натурализма. И это говорится о самой действенной, самой научной теории познания, мобилизующей массы на революционное преобразование мира, а художника — на глубокое изучение действительности и отражение ее в правдивых, достоверных образах! Сам В. И. Ленин дал блестящий образец применения своей теории при анализе творчества Л. Н. Толстого. Он показал, что истинный художник — подлинное зеркало жизни, но такое зеркало, которое не просто механистически копирует действительность, а отражает ее в глубинных связях, противоречиях и конфликтах с позиций определенного идеала.

В разные эпохи великие деятели культуры вдохновлялись и разными идеалами, продиктованными прежде всего интересами и устремлениями народных масс. Нередко эти идеалы были незрелыми, утопическими. В эпоху, когда на арену истории выступил русский рабочий класс и возглавил освободительную борьбу трудящихся России, Ленин и выдвинул свой принцип партийности, воодушевляющий художника не утопическим, а научно обоснованным, реально достижимым коммунистическим идеалом. С высоты этого идеала зоркому художнику открывается все поле жизни в ее ведущих тенденциях, противоречиях и сложных путях развития.

Проявляя заботу об идейной направленности художественного таланта, об отражении правды жизни в искусстве, Ленин решительно отвергал преклонение перед «правдой факта» и натуралистическое копирование действительности. Главную задачу передового искусства он видел в изображении существенного, характерного, типического, но вместе с тем подчеркивал принципиальную важность индивидуализации, без чего немыслим эстетически полноценный образ, характер, тип.

В своей книге А. Дымшиц показывает, что эстетические взгляды В. И. Ленина нашли свое выражение, а порой и дальнейшее развитие в теоретических и литературно-критических работах А. М. Горького. Мне по душе та высокая оценка, которую дает исследователь этому наследию основоположника социалистического реализма. «Максим Горький, — пишет он, — был, как известно, не только гениальным художником, но и великим теоретиком искусства. Вклад его в марксистскую эстетическую мысль поистине огромен».

Празднование столетия со дня рождения Горького в 1968 году заставило нас более внимательно изучить его теоретическое наследие и отдать

должное его вкладу в марксистско-ленинскую эстетику.

Горькому принадлежат классические слова о научном социализме как «интеллектуальном плоскогорье», с высоты которого художнику со всей отчетливостью открывается прошлое, настоящее и единственно верный путь в будущее — путь «из царства необходимости в царство свободы».

Это Горький постоянно напоминал, что залог успеха писателя — в глубоком познании жизни, что жизнь надо изучать в ее революционном развитии, подходить к ней с позиций конкретного историзма. И разъяснял: «Художник — чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его: он — голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше...»

Развивая эстетику революционных демократов с их пристальным вниманием к проблеме типического, Горький выдвинул еще до конца не осознанную нами необычайно емкую формулу всего реалистического искусства: «Тип — явление эпохи». И, ссылаясь на величайшие образы мирового искусства — Прометея, Гамлета, Фауста, Микулу Селяниновича, — утверждал, что все они суть громадные обобщения, результат художественного синтеза, типизации.

Хорошо известна непримиримая борьба Горького против субъективистского произвола и псевдоноваторства, против декадентства и различных «измов», насаждаемых буржуазным искусством, против натуралистической «литературы факта» и других течений и направлений, враждебных реализму. Незабываемы его уроки, преподанные любителям засорения литературного языка «варваризмами», «местными речениями», жаргонными словечками и всякими надуманными «кривыми» словами самодельного производства.

Книга А. Дымшица напоминает о многих из этих эстетических заветов Горького. Но особенно ценно в ней то, что она раскрывает подлинно новаторскую роль Горького в теоретическом осмыслении ведущих принципов социалистического реализма.

Весьма знаменательно, что художник, сам пролагавший пути нового, социалистического искусства, сам же и указал на его основные источники и сформулировал его важнейшие принципы. «Горький **первым**, — пишет А. Дымшиц, — широко охарактеризовал и принципиальную новизну реализма социалистического по сравнению со старым, преимущественно критическим реализмом» (подчеркнуто мной. — Н. С.). И далее: «Он видел в социалистическом реализме искусство синтетическое, сочетающее в себе критически переработанные традиции старого реализма и активного романтизма с новыми, новаторскими художественными открытиями».

Исследователь обстоятельно разъясняет точку зрения Горького по вопросу об источниках формирования социалистического реализма.

Что традиции критического реализма явились краеугольными камнями в фундаменте социалистического реализма — это не оспаривают даже теоретики так называемой школы «большого реализма» во главе с венгерским ученым Г. Лукачем. Более того, они считают классический реализм XIX века единственным источником социалистического, по-

ваторство которого состоит будто бы лишь в том, что традиции старого реализма обогащены социалистической идеологией. По вопросу же о романтизме эти теоретики говорят, что, зародившись в конце XVIII века, он полностью исчерпал себя к середине прошлого века, а потому не мог оказать своего воздействия на формирование социалистического реализма.

Но история мировой литературы, в том числе и нашей, отечественной, начисто опровергает это мнение. Романтизм как художественное течение развивался и во второй половине девятнадцатого и в двадцатом столетиях, но далеко не как однородное течение. В романтизме новейшего времени Горький различал две главные его разновидности — романтизм пассивный, реакционный, представленный различными направлениями декадентского искусства (например, символизмом), и романтизм активный, боевой, революционный, отражающий главным образом пафос, наступательный дух и энергию класса пролетариев. Классические образцы такого романтизма — «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике» самого Горького.

В результате органического синтеза этого романтизма, одухотворенного социалистическим идеалом, с традициями критического реализма и сложился качественно новый творческий метод — социалистический реализм.

Кстати, синтез реализма и романтики, по мнению Горького, был подготовлен всей историей критического реализма и прогрессивных романтических течений прошлого. «Это слияние романтизма и реализма, — говорил он, — особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира». И реализм и романтика в их единстве органичны для нашего искусства прежде всего потому, что они призваны художественно освоить все «три действительности» — не только прошлое и настоящее, но и «действительность будущего». «Без нее, — писал Горький, — мы не поймем, что такое метод социалистического реализма».

Но, говоря о формировании социалистического реализма, о его генезисе, было бы неверным видеть источники его только в классическом реализме и революционном романтизме. Опираясь на достижения нашей эстетики, литературной науки и искусствознания, А. Дымшиц совершенно справедливо пишет, что деятели социалистического искусства являются прямыми наследниками всего того, что вошло в сокровищницу мировой культуры. Социалистический реализм — закономерный итог многовекового развития мировой литературы и искусства, а вместе с тем и новый этап в художественном развитии всего человечества.

Есть еще у нас ученые, которые пытаются отыскать родину социалистического реализма где угодно, только не в России. Да, первые ростки социалистического искусства появились уже во времена Маркса и Энгельса и притом под их прямым идейным влиянием (Георг Веерт и социалистические поэты Германии, Эжен Потье и поэты Парижской коммуны). Но это были именно ростки, которые еще не могли дать качественно

иного творческого метода. Новый художественный метод начал формироваться в эпоху империализма и пролетарских революций под могучим воздействием ленинизма с его принципом коммунистической партийности и окончательно сформировался в творчестве выдающихся советских писателей во главе с Горьким и Маяковским. И потому от души хочется поддержать пафос тех страниц книги «Проблемы и портреты», где говорится:

«Первооткрывателей принято уважать, особенно в тех случаях, когда сделано истинное открытие. Всем миром признано, что советский народ первым утвердил на земле социалистический строй и перешел к строительству коммунизма. Столь же общеизвестно, что советская литература, опираясь на многовековой художественный опыт человечества и используя первые ростки социалистического искусства у разных народов, **открыла** мировому искусству новый художественный метод — социалистический реализм». (Подчеркнуто мной. — **П. С.**).

В свое время выдающиеся деятели мировой культуры — А. Франс, Р. Роллан, Б. Шоу, М. Андерсен-Нексе, Т. Драйзер, А. Барбюс, Лу Синь, Р. Тагор, Ш. О'Кейси, Б. Брехт и другие — горячо приветствовали Великую Октябрьскую революцию и народы Советского Союза как первооткрывателей путей к социализму. Некоторые из этих писателей сами встали на путь социалистического реализма. Ныне этот передовой художественный метод современности все более становится интернациональным. И хотя, как отмечает А. Дымшиц, социалистический реализм еще далеко не повсеместно занял доминирующее положение, тем не менее о нем вполне можно говорить как о **главной, ведущей силе** художественного процесса в XX столетии.

Прогрессивные писатели других стран берут из опыта первооткрывателей решение проблемы нового героя как человека-борца, новатора, преобразователя мира, учатся у советских классиков изображению масс как двигателей исторического процесса, осваивают мастерство наших художников по отражению действительности в ее революционном развитии. Несомненно, прав А. Дымшиц, когда говорит, что социалистическими реалистами не рождаются, а становятся. И напрасно некоторые наши ученые, например, такой знаток национальных литератур, как З. Кедрина, пытаются доказать, что методом социалистического реализма нельзя овладевать, что его, мол, можно только творить. А как же прикажете «творить», если не усвоишь основных принципов нового метода?

А. Дымшиц рассматривает и вопрос о соотношении социалистического реализма с другими творческими методами и художественными течениями современности. Так, в критическом реализме он справедливо видит союзника социалистического реализма. Но это лишь в условиях капиталистической действительности. В условиях же социализма критический реализм, за «равноправие» которого в недавнем прошлом ратовали иные наши литераторы, не имеет никаких перспектив для развития, ибо для нас он пройденная ступень. Да в нем и нет никакой необходимости,

поскольку социалистический реализм сочетает в себе и мощную силу утверждения всего нового, передового, прогрессивного, и не меньшую силу в отрицании того, что мешает движению советского народа к коммунизму. Здесь же отметим, что вряд ли наша литература и искусство нуждаются и в «самостоятельном» романтическом методе, правомерность которого неоднократно отстаивал в своих статьях и выступлениях известный литературовед и критик А. Овчаренко. Уже говорилось, что романтика вообще органична для социалистического реализма и потому ничто не мешает художнику, склонному к ней, решать свои творческие задачи по преимуществу в романтическом «ключе», как это нередко делали, оставаясь социалистическими реалистами, Ю. Яновский, С. Вургун, М. Стельмах, О. Гончар и другие.

В наше время — время острейшей идеологической борьбы между социализмом и капитализмом — произошло резкое размежевание сил и в сфере искусства. Это идейное размежевание по всему фронту художественной культуры А. Дымшиц называет поляризацией. «На одном полюсе, — пишет он, — набирающий силы социалистический реализм, ведущая сила художественного развития. На другом — искусство реакционного буржуазного мира. Полярность определяет и бескомпромиссность борьбы между социалистическим реализмом и тем, что принято называть модернизмом». Подчеркивая антигуманистическую, антинародную сущность модернизма и так называемой «массовой культуры» в буржуазных странах, советский литературовед и критик разоблачает предательскую роль ревизионистов типа Роже Гароди, проповедующих «реализм без берегов» и призывающих к «наведению мостов» между социалистическим и буржуазным искусством.

Никаких компромиссов с декадентством наших дней. Никаких «мостов» на тот берег. Никакого размывания берегов и границ. Только наступление на модернизм, только развенчание его и беспощадная критика — таково кредо автора «Проблем и портретов». Но здесь же резонно говорится и о том, что нельзя упрощать картину современного художественного процесса на буржуазном Западе, что картина эта ныне крайне противоречива и пестра. Тут и набирающий силы социалистический реализм, и романтизм в его разновидностях, и критический реализм, и натурализм, и, наконец, модернизм со всеми его бесчисленными проявлениями и оттенками, вплоть до таких, когда об искусстве как таковом уже не может быть и речи. Однако и на бесплодной ниве модернизма нередко трудятся субъективно честные, искренне заблуждающиеся художники, по таланту достойные иной участи, иной творческой судьбы. Поэтому в нашей борьбе с модернизмом не последнее место должна занимать, говоря словами А. Дымшица, и забота о спасении «из-под его «власти» всего того, что стоит спасти, всего того, что заслуживает помощи».

Главная задача марксистско-ленинской эстетики, литературоведения, искусствознания и критики на мировой арене состоит в непримиримой борьбе против реакцион-

ного буржуазного искусства и всемерном содействии утверждению социалистического реализма как самого передового художественного метода, с наибольшей полнотой отвечающего задачам, стоящим перед литературой и искусством нашей революционной эпохи.

Разумеется, идеи, взгляды, мысли, изложенные в книге «Проблемы и портреты», не являются достоянием какого-либо одного, хотя бы и самого талантливого, ученого. Они выработаны коллективным трудом многих и многих советских эстетиков, литературоведов и критиков, в том числе, конечно, и трудом Александра Дымшица, который вот уже более сорока лет принимает самое энергичное участие во всей нашей литературной жизни и борьбе. Одну из своих книг он назвал «В великом походе». Название примечательное. Хотя по авторскому замыслу оно целиком относится к нашей славной советской литературе, но в полной мере характеризует и облик самого литератора-бойца, неизменно идущего в головной колонне нашего походного строя.

П. СТРОКОВ

ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ СЕБЯ

В новую книгу Ивана Подсвирова «Танец на белом камне» вошли две повести. Написаны они в несхожей манере, но голос автора звучит в них четко и ясно. У него есть что сказать своим читателям и, самое главное, есть свое отношение к тому, о чем он пишет.

Ту манеру, в которой работает Подсвиров, принято называть «лирической прозой». Поэтому в его повестях речь ведет не обычный в таких случаях рассказчик, а так называемый «лирический герой».

Первая повесть, открывающая книгу Подсвирова, начинается очень просто: герой приезжает в родной хутор Марушанку, чтобы «подышать свежим деревенским воздухом, поесть краснобоких яблок, позагорать у речки». Дома так хорошо, что хочется «бросить все! Вернуться! Надеть сапоги, купить такую же, как у Якова, куртку, раздобыть ружье с патронташем, бездымного пороху — и уйти в леса, в горы. Забыть о газетных статьях, о едком запахе типографской краски...».

Но безмятежности нет места там, где тебя окружают люди, тем более если они тебе небезразличны. И совершенно естественно, каждая встреча с человеком ли, с лесом или старой чинарой вызывает воспоминания о прошлом, в котором были и тяжелые послевоенные годы, и дружба с одногодками, и молодые тогда родители. Воспоминания все дальше и дальше уводят героя в прошлое, он видит себя четырнадцатилетним, помогающим отцу сплав-

И. Подсвиров. Танец на белом коне. М., изд-во «Современник», 1972.

лять и рубить лес, он вспоминает соседей, тех крепких и бесхитростных людей, которых часто, не задумываясь над этим словом, называют «простыми». И только теперь, повидав белый свет, повзрослев и поумнев, понял герой Подсвирова: «Как глубок и непостижим человек за своей будничной простотой! И через сколько надо пройти испытаний, чтобы познать его...»

А испытаний перенес он немало. И все те простые человеческие истины, которыми крепка наша жизнь, он усвоил еще ребенком от своего отца, всю жизнь жившего трудом и приучавшего к нему сына. Читая Подсвирова, постигаешь прямую и священную связь слов «отец» и «отчизна» — только тогда человек будет знать смысл и цель своего существования, когда он не забыл простых и мудрых советов своего отца. Он всегда помнил наказ отца: живи честно. «Может, так труднее, да зато надежнее». Эта мысль не внесена в повесть Подсвирова извне, она в ней рождается. Она переходит от отцов к детям не как евангельская заповедь, а как закон всей нашей жизни, не всегда легкой и безоблачной, постоянно наполненной заботами и трудом.

И в этом смысле особенно примечательна новелла из первой повести Подсвирова «Такая жизнь». Два брата живут в Марушанке. Ни в чем они не схожи. «Архип на гулянках буен, и за это Петрович, человек смирный, не уважает его, не хочет знаться с ним. Но одно сближает их — это умение трудиться до седьмого пота. И тут люди узнают упорную породу Глуховых. Тут проглядывает общий их корень, глубоко спрятанный за всем остальным. Глухая, но упорная борьба длится между братьями вот уже несколько лет за право быть первыми колхозниками в колхозе. Горницы у них облеплены похвальными грамотами за труд. Не щадя себя, работают они каждый на своем месте...»

И недаром именно у одного из братьев, лучшего колхозного тракториста Петровича, принимает трудовую эстафету когда-то непутевый Васек, которому только труд помог стать настоящим человеком.

Не остается бесследным общение с односельчанами и для самого героя повести. Возвращение в родные края — это всегда какой-то рубеж в жизни человека; изменился он сам, изменились родные места и люди. Они испытующе смотрят на тебя, и ты ищешь в их глазах отражение своего нового духовного облика. Прежде всего тебе необходимо знать, не считают ли тебя в родных краях заезжим и случайным человеком. И если это не так, значит, у тебя есть право писать об односельчанах.

Одна за другой проходят перед нами судьбы односельчан героя Подсвирова: тракториста Якова Призова, пастуха Тихона Бузутова, пришедшего с войны без ноги Леонтия Камылина, старого и мудрого мельника Сагайдака и других. Каждому из них посвящена маленькая, но очень емкая новелла своеобразно построенной повести. Жизнь этих людей проста и правдива, они живут так, как велит им совесть. Они способны и на подвиг, и на самопожертвование. «Родные люди. Все они умеют: и петь, и любить, и ненавидеть. Но самое главное — умеют они работать,

До седьмого пота, до своего последнего вздоха. И тем сильны они. Тем и жива, извечно молода земля...»

Так кончается первая, вероятно, в очень большой степени автобиографическая повесть Ивана Подсвирова. Однако название всей книге дала вторая повесть, где герой Подсвирова оказывается далеко от родных мест и где он поставлен в такие условия, когда ему приходится активно вторгаться в чужую жизнь. Повесть эта выросла из ненаписанного репортажа о парадной свадьбе, устроенной в одном из кавказских аулов для откровенной показухи. Молодой корреспондент районной газеты, герой Подсвирова, не поддался внешним впечатлениям, как это умышленно сделали посланный вместе с ним фотограф Егоркин и телережиссер Соловейчик, приехавший в аул с уже готовым сценарием.

Честность корреспондента помогла ему увидеть то, что было недоступно Соловейчику с его набором готовых афоризмов и приемов, девизом которого могли бы стать лицемерные слова председателя колхоза: «Жертва в угоду идее священна». Корреспондент находит в себе мужество признаться самому себе: «Ты ехал сюда по обычному редакционному заданию и уже заранее знал, о чем напишешь. У тебя все было разложено по полочкам. И вдруг...» И вдруг он узнает, что Аслан не любит свою невесту, что все это он затеял, ослепленный ревностью. Лейла просила его только об одном, чтобы он подождал, пока она будет учиться, потому что без ее танцев мир был бы неполным для нее и она не смогла бы любить Аслана.

И молодой корреспондент, вернувшись из командировки, отказывается писать об увиденном. Распознав вблизи большое человеческое горе, он по-иному посмотрел и на себя: «Теперь же я знал, что прежней легкости во мне не будет. Свадьба в Фарезе чудом коснулась и моей судьбы, заставила по-иному взглянуть на мир, на газетное ремесло».

В последней фразе, вероятно, кроется очень много смысла и для самого Подсвирова, почувствовавшего однажды, как тесны для него стали газетные колонки.

Чуткость И. Подсвирова к детали чувствуется в книге постоянно, автор владеет и искусством сюжета, речь его не стандартна. В книге заметна локальная привязанность происходящего к единичному случаю, к конкретному факту, участником или свидетелем которого был сам автор. Видимо, отчасти такой подход к материалу обусловлен тем, что ныне вообще документальность нередко возводится в принцип художественности. Вопрос же соотношения документального и художественного сложнее. И определяющим тут опять-таки является умение писателя перевести конкретное, реальное в разряд художественного обобщения, когда увиденное в жизни не просто служит материалом для повести, а является отправной точкой для образного выражения тех больших идей и смелых мыслей, которые не дают покоя писателю.

Такие мысли вызывает книга Ивана Подсвирова. И хотя она издана в серии «Первых книг», у нас нет желания закончить рецензию на нее бодрым призывом: «В добрый

путь!» Единственная просьба, с которой хотелось бы обратиться к автору «Танца на белом камне», — не считать себя начинающим, поскольку по старой и дурной традиции в этом приготовительном классе иногда засиживаются до седых волос.

Л. ВУКОЛОВ

ПРЕКРАСНОЕ И ВЕЧНОЕ ВСЕГДА МОЛОДО

«Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»?» Эти слова В. И. Ленина, сказанные в беседе с Кларой Цеткин, приводятся на первых страницах сборника «Памятники Отечества». Издание подобного рода впервые предпринято Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Открывается сборник статьей «Следуя заветам Ленина». Автор ее, заслуженный деятель искусств РСФСР В. Н. Иванов, подробно освещает ленинский подход к проблеме культурного наследия прошлого и значение ленинского наследия для строительства новой, социалистической культуры.

В статье приводятся многочисленные свидетельства современников, встречавшихся и работавших с В. И. Лениным, рассказывающие о том, как практически осуществлялись в первые годы Советской власти теоретические принципы ленинского учения о культурном наследстве. Вот одно из них: записанная А. В. Луначарским беседа с В. И. Лениным, во время которой шла речь о материальной поддержке новых экспериментальных театров. Луначарский предлагал разрешить бюджетные затруднения путем уменьшения ассигнований на содержание старых театров. В. И. Ленин высказал другую точку зрения: «Пусть в течение голодного времени экспериментальные театры подержатся на известном энтузиазме. Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат не простит».

В те трудные для молодой Советской республики годы В. И. Ленин считал необходимым позаботиться в первую очередь не только о старых театрах, но и о том, чтобы не распались музеи, хранящие громадные ценности. Эта ленинская мысль нашла свое выражение и в прямом обращении к гражданам России в «Воззвании Совета Рабочих и Солдатских Депутатов»:

«Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу.

Граждане, берегите это наследство, берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Искусство —

Памятники Отечества. М., изд-во «Современник», 1972.

это то прекрасное, что талантливые люди умели создать даже под гнетом деспотизма и что свидетельствует о красоте, о силе человеческой души.

Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы — все это ваша история, ваша гордость. Помните, что все это почва, на которой вырастает ваше новое народное искусство».

Сам этот документ предстает красноречивым памятником революционной эпохи. Четкий шрифт и энергия фраз «Воззвания» доносит дыхание времени тревожного и сурового. И знаменательно, что в такую пору рабочая власть считала одной из первоочередных своих задач заботу о сохранении всего ценного, созданного предками. В эти-то годы и возникли первые государственные органы по охране памятников искусства и старины — при Московском Совете и в Народном комиссариате просвещения. В дело, которому было придано государственное значение, включились архитекторы и художники А. Щусев, М. Жолтовский, С. Коненков, В. Мешков, В. Бакшеев, В. Ватагин, И. Грабарь, А. Голубкина, братья А. и В. Васнецовы и многие другие известные представители художественной интеллигенции.

В течение 1918—1921 годов Совет Народных Комиссаров при непосредственном участии В. И. Ленина издает декреты и постановления о порядке охраны и учета памятников, о национализации Третьяковской галереи, об охране Ясной Поляны и других художественных сокровищниц, которые положили начало советскому законодательству в этой области.

В 20-е годы по всей стране широко развертывается краеведческая работа, немало способствовавшая выявлению и сохранению памятников культуры. Возникают научные и краеведческие общества. Так в 1924 году родилось Общество друзей Пушкинского заповедника, взявшее на себя опеку над Михайловским. В числе первых друзей заповедника были президент Академии наук А. П. Карпинский, писатели В. В. Вересаев, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, И. А. Новиков, пушкинисты М. А. Цявловский, Б. Л. Модзалевский, Б. В. Томашевский. К концу 20-х годов это Общество насчитывало уже свыше тысячи активных членов.

В годы Великой Отечественной войны, к великому горю и гневу нашему, пришлось вести другой учет — разграбленных, обращенных в пепел замечательных памятников культуры, славившихся мировой известностью. Завоевательская стратегия фашизма предусматривала и разрушение национальных святынь советских народов, «столпов нашей культуры», воплощения духовной силы нашей. В эту лихую пору в составе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков работают многие известные деятели советской культуры — Алексей Толстой, Леонид Леонов, академик А. В. Щусев.

Но все это предыстория Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которая довольно подробно освещается в сборнике «Памятники Отечества». Основное место в нем занимают материалы, рассказыва-

ющие о практической деятельности общества на протяжении шестилетия, прошедшего со времени первого, учредительного съезда. Среди авторов статей — энтузиасты, немало потрудившиеся ради сохранения драгоценного историко-художественного достояния народа в последние годы. В частности, выступает со статьей «Крутицкий дворец в Москве и его реставрация» заслуженный деятель искусств РСФСР П. Д. Барановский. Примечательна сама история Крутиц, связанных с такими событиями, как народное ополчение Димитрия Пожарского, московский пожар 1812 года, заключение А. И. Герцена. Время создает славу памятникам архитектуры, но оно же и не щадит их и часто портит, обезличивает поздними переделками. Старейший и опытный архитектор-реставратор П. Д. Барановский рассказывает о том, как путем осторожной, длительной и умелой научной реставрации памятник может быть вызван к новой жизни и тем самым сохранен для истории, науки и искусства.

В статье «Реставрация памятников архитектуры Суздаля», написанной заслуженным деятелем искусств РСФСР А. Д. Варгановым, автор рассказывает о своем опыте исследования и хранения древнейшего из русских городов. В других материалах сборника идет речь об изучении и возрождении памятников Ленинграда и Новгорода, Дагестана и Татарии, о воссоздании достоверного облика мемориалов Михайловского, Ясной Поляны, Спасского-Лутовинова, Карабихи, Щелыкова, Воткинска, музея-квартиры А. М. Горького в Москве.

Об исключительно сложной, требующей исторической точности, четкости и огромного такта работе реставраторов по созданию музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина в Шушенском» рассказывает доктор исторических наук О. А. Швидковский. Ленинский заповедник явил собой совершенно уникальное сочетание историко-этнографического, мемориального и общественно-политического музея, что и выдвинуло ряд новых научно-методологических задач: образование внешней пространственной среды, включающей сибирский пейзаж, крестьянскую материальную культуру, глубоко связанную с традициями народного творчества; принципы воссоздания естественности и подлинности обстановки; поиски эффективной системы экспозиций, ярко раскрывающих ленинскую тему. Опыт реставрации и реконструкции Ленинского заповедника дал основание автору статьи поставить и еще один, имеющий перспективное значение вопрос о том, «чтобы новые кварталы в Шушенском были не просто повторением тех или иных приемов массовой городской застройки, а стали своего рода экспонатами — эталонами социалистического преобразования населенных мест Сибири, лучшими образцами того, что мы сегодня можем создать в области планировки, архитектуры и благоустройства наших поселений».

Думается, что такая постановка вопроса имеет отношение, конечно, не только к сибирским городам, но и ко всем другим, а в особенности к тем, которые сохраняют в своей структуре значительные мемориальные комплексы. Новое всегда активно и жиз-

недеятельно и в силу этого свойства может потеснить, а в иных случаях и разрушить «старое». В этом взаимодействии заявляет о себе диалектика живой действительности. И в градостроительной практике возникают неизбежные, порой болезненно разрешимые столкновения. Сборник отводит этой проблеме специальный раздел: «Социалистический город и исторические памятники».

Сборник «Памятники Отечества» охватывает довольно широкий круг тем и животрепещущих вопросов. Рядом со статьей члена-корреспондента АН СССР В. Л. Янина об археологических раскопках в Новгороде — статья известного искусствоведа М. В. Алпатова «Воспитание чувств». Так внимание читателя переключается с темы специальной к проблемам нравственно-этическим. Ведь исторические памятники — могучее оружие патриотического воспитания. Любовь к родной земле, к своему Отечеству связана с потребностью человека видеть перед собой исторически примечательные черты родного дома, города, края. Архитектура — это и есть та среда, в общении с которой человек находится постоянно и каждодневно. И чтобы научить человека духовному общению с ней, надо позаботиться о сохранении и приумножении ее красоты и целостности. В понятие целостности входит природная среда, ландшафт, в который так искусно умели вписывать свои рукотворные творения наши талантливые зодчие. Об эстетике ландшафта пишет художник Н. А. Пластов. Его взволнованный, проникновенный монолог о русском пейзаже, так же как и очерк писателя О. В. Волкова о древней тверской земле, послужит воспитанию любви к Отечеству. Чувство пространства только на первый взгляд беспредельно и неизмеримо. Но есть исходная точка, от которой наше воображение уходит в глубокую историческую и географическую даль, — родной дом, отчий порог.

«Сторона, сторонушка, сторонка — а вместе получается — страна. И какая страна! Равнинно-полевая и высокогорная и горная, залежно-рудная и лесная, морская и океанская... страна великого простора, великого совета и всенародного братства, страна советская, социалистическая, союз братских республик — вот полное, развернутое имя и социально-историческое отчество». Так на высоком публицистическом пафосе начинает свой очерк «Простор и твой, и мой» Егор Исаев. В речи поэта оживает даль, населенная людьми, творящими сегодняшнюю историю Отечества, даль, освященная боями революции, битвами гражданской войны, сражениями Великой Отечественной. Открывается простор, не только видимый взором, но знаемый сердцем, охватываемый в своей необъятности памятью души. И сколько же удивительных творений рук человеческих живет в нем под родным небом, на родной земле! Сколько священных отметин оставили на ней и история Советского государства, и деяния наших далеких предков... Только глазами памяти и возможно все охватить разом — от Белого моря до Черного, от Балтики до Тихого океана.

Переворачивая последние страницы сборника, убеждаешься в том, какое огром-

ное пространство является полем деятельности общества. И сколько новых усилий надо приложить к тому, чтобы у каждого гражданина нашей Родины хватило и памяти, и гордости за все великое и прекрасное, что должны мы хранить на родной земле. Как говорит Леонид Леонов в напутствии первому выпуску сборника, «сохраняемые нами памятники работают не только как воспоминанье о некогда совершившемся, но и как напоминанье о грядущем, то есть наставленье к действию... Память о прошлом есть сквозная верность живых своей цели — невесомое благородное вещество, добавляемое в сталь и цемент пятилеток для высочайшей прочности, чтоб дошло до отдаленных внуков».

Вл. МИЛЬКОВ

ВОЗЬМИ СЕБЕ В ПРИМЕР ГЕРОЯ

О Юрии Гагарине написано немало. Газетные статьи и репортажи, очерк о его поездках по стране и за границу, очерки и документальные повести, включая «Повесть о брате» Валентина Гагарина, — таков далеко не полный перечень даже жанрового многообразия литературы о нашем славном современнике. И все же кажется, что написано о жизни первого космонавта мало, особенно о его личных, человеческих качествах, раскрывающихся в делах, в отношениях к работе, к товарищам, близким и родным. Вот почему так интересно все, что написано людьми, лично знавшими Юрия Гагарина, свидетельства очевидцев его короткой, но богатой и многогранной жизни. Каждая такая встреча с героем на страницах прессы важна и нужна еще и потому, что пример жизни Юрия Гагарина адресован прежде всего к советской молодежи, которая стремится перенимать и развивать в себе полюбившиеся гагаринские черты.

Офицер-авиатор Виктор Митрошенков хорошо знал Юрия Алексеевича, неоднократно писал о нем. И его рассказ-хроника последнего месяца жизни космонавта-1, опубликованная в первом номере журнала «Байкал» за 1973 год, основана на дневнике Гагарина, воспоминаниях, рассказах его близких и друзей. Публикуемые в журнале записки представляют большой интерес потому, что они строго документальны. В них автор пытается прежде всего обобщить, собрать воедино отдельные факты последних дней жизни Юрия Гагарина, осмыслить и проанализировать их, чтобы на знакомый портрет героя Земли положить новые яркие краски, оттеняющие его искренность, простоту, непреодолимую тягу к постоянному совершенствованию. Поставленную задачу В. Митрошенкову в значительной мере удалось решить.

В. Митрошенков. Юрий Гагарин. «Байкал», 1973, № 1.

Он буквально с протокольной пунктуальностью, достоверно и документально прослеживает день за днем последний месяц жизни Юрия Гагарина, несшего огромное бремя всемирной славы, но продолжавшего оставаться простым и отзывчивым человеком. Подчеркивая именно эту черту характера, В. Митрошенков пишет: «Каждый, кто соприкоснулся с ним, уносил частичку щедро одаренной натуры». В самом деле, не было случая, чтобы Юрий Алексеевич отказался помочь советом или ответить на чью-то просьбу. При своей исключительной занятости он выбирал время для выступлений перед рабочими, колхозниками, воинами, бесед со школьниками, считая это своим гражданским, общественным и человеческим долгом.

Всего несколько фраз потребовалось В. Митрошенкову, чтобы читатель почувствовал и личные качества космонавта, его доброту отца и мужа. «Вечером позвонил домой, — пишет о нем автор очерка. — Разговаривал с Леной и Галей. Дочери по очереди рассказывали свои новости: у подружки Аллы новая игрушка, соседский Мишка снежком в стекло попал... Юрий Алексеевич слушал дочерей и весело смеялся...» Или еще: «Юрий Алексеевич позвонил домой... Отправил телеграмму маме в Гжатск».

Собственно, это записки о Гагарине. Но разве нельзя не почувствовать, что в то же время они и о матери, жене, семье космонавта, о родных ему людях, так много значивших для него? На наш взгляд, автору удалось удачно показать этих простых и милых русских женщин, с которыми Юрий Алексеевич, по его собственным словам, «прекрасно сосуществует» и которых горячо любит. Причем нигде об этом не заявляя в открытом признании, а незаметно, исподволь выявляя любовь в жестах, в поступках, в делах.

Записки В. Митрошенкова сравнительно невелики по объему, но автор сумел так подобрать, расположить и подать материал, что Юрий Алексеевич Гагарин предстает перед нами как человек многообразных творческих устремлений, отличающийся глубиной, последовательностью суждений, широтой интересов. Это верный товарищ, требовательный начальник, настойчивый исследователь, настоящий коммунист. А как только у космонавта появляется «окно» — свободное время, он садится за любимую работу: правит верстку очередной своей книги «Психология и космос», просматривает только что вышедшую в Воениздате новую книгу, посвященную космосу. И слова, подчеркнутые и так поправившиеся космонавту в книге, запоминаются и нам: «Мы живем в необыкновенное время. Ветер странствий наполняет паруса «космических» каравелл», готовых отплыть к далеким и неведомым берегам». Читаешь эти строки, и каравеллы первых десяти лет космической эры, открытой полетом советского спутника, неразрывно связываются в сознании с первым человеком, побывавшим в «космической кругосветке».

В Юрии Гагарине с наибольшей полнотой, убежденностью, твердостью проявилось то, что было воспитано в советском человеке партией,

социалистической действительностью, опытом старших поколений. В нем, как в фокусе, сконцентрирована могучая сила воли, духа, интеллекта, обаяния — всего того, что сделало рабочего паренька из Гжатска героем планеты. 15 386 писем получил за три года (1965—1967 гг.) со всех концов земли Юрий Гагарин. Они разные, эти письма, но во многом очень похожие. Их авторы с открытым сердцем обращаются за советом, просят помощи, делятся своими радостями и неудачами.

Приведенные автором отрывки из писем тульского шофера и молодого рабочего-станочника, канадского фермера и пионеров дружины имени Первого космонавта справедливо подтверждают мысль о том, что каждому человеку, и особенно молодому, в жизни нужно иметь своего героя. И если ты делами своими, своей жизнью будешь походить на таких людей, как Гагарин, значит ты нашел свое место на земле, принес пользу людям, значит ты нужен своей стране, своему народу. Такова авторская концепция, в справедливости которой читатель убеждается, читая рассказ о жизни Юрия Гагарина.

Записки В. Митрошенкова отвечают и на вопросы, волнующие многих людей, вопросы, порой невысказанные, скорее обращенные к самим себе в минуты страшной, роковой вести, поразившей каждого: Гагарин погиб. Зачем разрешили ему летать? Неужели это необходимо было для Гагарина?

Автор убедительно показывает, что Гагарин не хотел, не мог и не стал бы никогда «живым монументом». Он не мог не летать, это была его жизнь.

Коротка запись из дневника космонавта, запись без пояснений, но емкая, четкая, ясная: «Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. Летчик должен летать. Всегда летать. Как прекрасна наша профессия! Летать хочу... Буду летать». И он летает, готовится к новым полетам. Читаем короткие дневниковые записи и как бы вместе с космонавтом зримо, реально переживаем огромную радость человека, вновь поднявшегося в небо, ощутившего несравненную прелесть полета: «Я снова летаю!»

Он обязательно хотел еще разок слетать в космос. Но не успел. Обстоятельства неумолимы. Из последнего своего тренировочного полета полковник Гагарин не вернулся. Он прожил короткую, но яркую жизнь, жизнь, отданную Родине. Это высшая цена совершенного человеком. Он был нашим большим другом. Мы и сейчас видим его улыбку, слышим его голос, вместе с ним всматриваемся в не покоренные пока еще звезды. Его именем матери называют своих детей; в нашей стране и за ее пределами в сотнях городов есть улицы и площади Юрия Гагарина.

Прошло пять лет со дня его гибели, но смерть не властна затмить собой подвиг Колумба вселенной. Он по-прежнему в строю. По-прежнему его жизнь, его образ являются ярким примером для всех вступающих в жизнь. И в этом, думается, тоже помогут записки В. Митрошенкова о последнем месяце жизни Юрия Гагарина.

И. ЦВЕТКОВ

НАЧАЛО

Впервые стихи Александра Хромова мне довелось услышать лет восемь назад. Было это в Иванове, в одной из тесных, прокуренных комнат редакции молодежной газеты «Ленинец», на очередной литературной «среде». Читал их сам поэт — невысокий, смуглый, с выразительным угловатым лицом. И стихи его были горячие, дерзкие.

Читал он тогда и «Белые ведра». Помнится, это стихотворение поразило своей свежестью и новизной. Тут же подумалось: сколько всего написано о сенокосе, о косарях! Казалось бы, тема исчерпана, изжита. И вот Александр Хромов опровергает это, доказывает, что исчерпан просто известный набор образов, утративших от частого употребления свою выразительность и ставших литературными штампами. Он сумел переступить через них, нашел в старой теме свои образы, свои слова. Вероятно, многие из его будущих читателей узнают, вспомнят и ощущение ветров, что с разбегу «головой ударяются в стенки ведра», и облака, которые «упираются ведрам в бока», и воду, что «не по руслу — по горлу» звенит. Все это знакомо тысячам и в то же время впервые закреплено в поэзии и останется в ней.

Стихотворение это запомнилось не только системой образов, настроем, но и названием своим. Именно оно дало имя первому сборнику поэта. Между стихотворением «Белые ведра» и небольшой, по емкой книжкой — не один и не два года творческих поисков, возмужания таланта и человека.

В наше время, когда ежегодно выходят в свет десятки поэтических книг, когда профессионально написанное стихотворение стало обычным даже на страницах районных газет, нелегко выделиться из хора поэтических голосов. Для этого мало профессионального владения техникой стиха. Необходимо еще что-то. У Александра Хромова имеется это «что-то». Речь идет о самобытности его стиха, его поэтического мира, его авторского «я», пронизывающего всю эту книгу.

Многие стихи сборника представляют собой законченные поэтические новеллы, то откровенно драматические, показывающие человека на изломе его судьбы, то как бы смягченные понимающей доброй усмешкой. Иной раз и то и другое сливается в неразрывное целое, в котором драматический конфликт не обязательно разрешается драматическим финалом. Так происходит в стихотворении о двух беглых немцах, которых поймали сельские вдовы, побили их, а потом кормили, делясь последним куском, и услышали в ответ горькое «данке».

В стихах молодого поэта, в их интонации, в его выразительных приемах, например гиперболизации («несет к Сергею Сенька два пуда кулаков»), просвечивает традиция короткой, меткой частушки, народного, лукаво-мудрого сказа, а баллада «Серьги» так и кажется выхваченной из самой стихии народного юмора, из лубка. Это традиционное,

---

Александр Хромов, Белые ведра. Стихи. М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

от истоков идущее в стихе Александра Хромова крепко сплавлено с тем, что достигнуто советской поэзией в области формы.

Сюжетные стихи органически сочетаются в сборнике со стихами-раздумьями, с поэтическим осмыслением родной природы.

Лирический герой Александра Хромова живет в сложном, конфликтном мире, в мире, в котором эхо минувшей войны соседствует с юношески-светлой устремленностью в жизнь, трудный опыт старших поколений формирует отношение к настоящему, подчеркивает неповторимость и красоту каждого мгновения жизни.

Пейзажная лирика Александра Хромова в лучших стихах всегда очеловечена. И здесь тоже зачастую старый, знакомый образ обретает новое содержание, как в стихотворении о рябине:

Заневестилась рябина —
Это утром было с ней.
На груди звенят рубины,
Привлекая снегирей.

Растащили все рубины.
Помахали в два крыла
И забыли про рябину —
Слишком щедрая была.

Александр Хромов — инженер по профессии. Возможно, отсюда — точность, выверенность его поэтического языка, умение находить то единственное слово, которое наиболее полно выражает мысль автора и, кажется, пришло само собой, без всяких усилий:

Мы стороне своей одной
Любовью светлою обязаны,
И наши судьбы с нею связаны,
Как села связаны тропой.

Сколько написано о похоронках, которые получали многие женщины — матери, жены, сестры — в годы войны. Поэт и здесь находит свое слово:

Черную почту
Ей принесли.

Наряду с этими интересными, выразительными стихами есть в сборнике и такие, в которых куда меньше проявилась индивидуальность автора, его поэтическое восприятие мира. Его «Легенда о плотнике Несторе» заставляет вспомнить поэму Владимира Жукова о том же Несторе. Совершив экскурс в историю, Александр Хромов дал только поэтическое изложение древней легенды, что проявилось и в названии стихотворения, но не нашел своего ракурса в освещении этой темы. Впечатление повтора оставляет и стихотворение «А в Нерли вода молода». В нем так и слышатся отзвуки очень интересной, самобытной книжки другого ивановского поэта — Владимира Смирнова.

«Белые ведра» — первый сборник и определенный итог творческих исканий молодого поэта. Для Александра Хромова он вроде тех золотых ворот, о которых он писал:

Во Владимире есть
Золотые ворота.
Золотые ворота
Высоко вознеслись.
За крутым поворотом
Мир распахнутый, вот он...
Открываю ворота
В огромную жизнь.

Александр Хромов пришел к читателю правомочным представителем мира поэзии. Впереди — большая дорога, дорога новых исканий.

А. МАЛЫШЕВ

СПОР ОБ ЭСТРАДЕ

Статья «Зрителей тоже надо уважать» Валентины Терской в № 12 за прошлый год невелика по объему, но писем — откликов на нее пришло немало. «Очень хорошо, что именно молодежный журнал поднял вопрос о качестве эстрадного искусства» — эти слова, начинающие одно из писем, отражают то, что содержится во многих других читательских отзывах. И в письмах этих продолжается предметный разговор на поднятую «Молодой гвардией» тему.

Впрочем, не все отнеслись к той статье одобрительно, и хоть в почте нашей таких возражений меньшая часть, однако требует она определенных разъяснений. Давая эти разъяснения, редакция просто процитирует в ответ иные письма — пожалуй, так и будет достигнута необходимая ясность.

Вот упрек иркутянина А. Попсуйко: «В статье упомянуты известные ансамбли и исполнители, которых мы хорошо знаем, а вот автора этой статьи мы не знаем, кто она такая, имела ли она право писать в таком тоне...» И читатели словно отвечают ему: «Положение на эстраде и в самом деле неблагополучное, а такие концерты посещает много молодежи. Чему она может здесь научиться? Давно пора сказать правду о том, что плохо на эстраде, что здесь показывают, поют и читают» (К. Сергеев, г. Измаил); «Почему-то считается, что об эстрадном искусстве надо только информировать и благодарить артистов за то, что они «развлекли» публику, помогли людям «убить время». В. Терская подошла к эстраде как к настоящему искусству и потому предъявляет ему высокие требования. Таким и должен быть настоящий советский критик в области всех видов искусства. Такие статьи открывают глаза зрителям, помогают им правильно разбираться в искусстве, видеть, что в нем плохо и что хорошо» (инженер В. Ермоленко, г. Днепропетровск); «Эстрада,

массовый вид искусства, оказывает на людей огромное влияние, накладывает отпечаток на вкусы и взгляды. Поэтому нужно решительно бороться за ее идейную и художественную чистоту. Именно газеты и журналы должны помочь молодежи отличать настоящее искусство от подделок и новые достижения от перелицованного старья. Ведь нам, молодым, можно легко подсунуть и халтуру, и то, что было новым для наших бабушек. Те артисты, которые пользуются доверчивостью и неопытностью молодежи, поступают нечестно» (лаборант И. Тавьева, г. Саратов).

Думается, приведенные высказывания достаточно полны и определенны.

Из Хабаровска написал нам А. Казанцев, предупреждая, что впервые вообще пишет в редакцию; вывод его недвусмыслен: «В общем, я не знаю, но, по-моему, очень круто обошлись вы с эстрадой, ведь она у нас не такая плохая».

Есть, как говорится, и другие мнения. «Я увлекаюсь эстрадным искусством и часто бываю на концертах. Только вот в последнее время редкие из них по-настоящему радуют. Очень уж много развелось на эстраде случайных людей. Умеет человек свободно держаться на публике и более или менее связно болтать — идет в конферансье. Научился сидеть на одноколесном велосипеде — выступает как велофигурист. Имеет какое-то подобие слуха — претендует на звание певца. Обо всем этом в статье «Зрителей тоже надо уважать» написано совершенно правильно. Если бы все стали писать об эстрадных концертах так же решительно и прямо, а не вокруг да около, меньше было бы халтуры», — судит киевлянка Г. Герасимова и заключает письмо свое так: «Хочется выразить благодарность зрителей за откровенную критику. Считаю, что всем, кто любит эстраду, статья пришлась по душе».

С этим перекликается письмо сотрудницы одного из московских институтов, Э. Верховской: «Однажды после концерта я рассказала маме о том, что увидела там и что показалось мне очень оригинальным. В ответ на это она рассмеялась и заметила, что видела все это в дни своей молодости.

Говорят, что вечером на эстраде должно быть то, что утром — в газете. К сожалению, этот принцип эстрады иные артисты понимают слишком своеобразно: выходя на сцену, они «несут» слушателям остроты, которые уже давно знакомы всем по «Крокодилу», «Литературной газете» и проч. А ведь от них требуется брать из газет совсем не это, а темы сегодняшней жизни.

Нас всех волнует состояние эстрадного искусства. Редкий концерт не оставляет чувства досады и сожаления о потерянном времени. Давно пора назвать тех, кто несет со сцены пошлость, безвкусицу и старье».

Всего подробней обсуждаются в редакционной почте вопросы музыкальных жанров эстрады. И вновь налицо спор.

«Как мы понимаем, каждому — свое. Хочешь слушать народные песни? Пожалуйста. Но ведь мы, молодежь, стремимся ко всему новому, ищем каких-то особых путей, следовательно, и новых манер исполнения. Товарищ Терская хочет, чтобы все, какие есть, песни переделать на народный лад. А что получится? То, что эти песни получат одностороннее исполнение, приемлемое для определенного круга лиц. Но мы живем в XX веке и не должны отставать от зарубежной эстрады. Мы понимаем, что в нашей эстраде много «запада», но ведь свое тоже не приходит сразу.

«Средние», «серенькие», «ремесленные» — так характеризует В. Терская наши молодые эстрадные группы и не учитывает того, что они у нас только зарождаются.

В этой статье упоминается также о костюмах. Каждая эстрадная группа должна быть ярко выражена как в произведениях, так и в костюмах.

В. Терская против эстрадной обработки народных песен. На наш взгляд, ни одна песня от этого не страдает, становится еще популярней.

Как известно, все новое на первых порах встречают с недоверием, но со временем первое неточное представление отпадает. Мы уверены, что именно так будет и с современной эстрадой». Подпись: «Матросы Н-ского корабля».

К счастью, таких «новаторских» писем больше у нас нет. Возражений против них много. Дадим некоторые выдержки из них:

«Мы очень рады, что все больше голосов раздается в защиту народного искусства, в защиту раздольной, мудрой и глубокой русской народной песни. Какую досаду вызывают порой современные «обработки» народных песен; досаду, удивление, в лучшем случае — оставляют равнодушными, но никогда не трогают, не волнуют, потому что перед нами нет ничего, кроме эффектов, жабо, грохота, поддельных форм и брошек. А где нет естественности, природы, истины, там не может быть ни очарования, ни настоящего искусства.

Большое спасибо за защиту русской песни, которую давно пора оградить от посягательств дилетантов, от модерновой шелухи» (врач В. Самохвалов, г. Харьков).

Подробно пишет на эту тему студентка Московского государственного педагогического института имени Ленина М. Буяновская: «Должна признаться, что я была в нашей группе последней, кто прочитал эту статью. Все наши ребята читали ее с интересом. Хотя мы и принадлежим к молодому поколению, но могу вас заверить, что большинство из нас далеки от тех увлечений, на которые сейчас ориентируются такие ансамбли, как «Голубые гитары», и некоторые артисты. Вашу критику в их адрес мы полностью разделяем. Нам тоже не нравятся модерновые обработки русских и советских песен...

Нельзя допустить, чтобы наш народ утратил в музыке свое лицо. Весь мир признал наши песни и восторгается ими. А некоторые эстрадники в погоне за сомнительной популярностью подгоняют эти произведения под западную моду, такую же противоестественную, как длинные патлы на голове у парней...

Нам, будущим педагогам, предстоит не только учить, но и воспитывать подрастающее поколение. Очень плохо, если мы станем говорить одно, а в жизни ребята увидят и услышат другое. Пусть печать и впредь борется столь же решительно за чистоту советского искусства, его идейность и за настоящее мастерство артистов».

«Нельзя без возмущения слушать, во что превращают иной раз дорогие нам песни, тем более можно понять людей старшего поколения, для которых эти песни связаны с событиями молодости. С такой тенденцией надо решительно бороться, потому что иначе у молодежи не будет воспитываться уважение к прошлому и национальной культуре. Иными словами, не будет ничего святого» (из письма Э. Верховской).

«В. Терская критикует музыкантов-исполнителей, оставляя в тени целую армию композиторов-подражателей, ее перо почему-то обошло это наиболее зловредное явление в художественной жизни нашей страны, когда величие русского музыкального наследия хотят разменять на эклектическую окрошку, смешав его с западным низкопробием-шумоджазием.

В этом случае полезно бы сослаться на метод Глинки и Мусоргского, Римского-Корсакова, Шаляпина и даже Плевицкой, которые пропагандировали хороший вкус в прямом смысле этого слова. Я за подражание такому методу. Мусоргский «родил» Шаляпина с его непревзойденной правдивостью интонаций; напрашивается вопрос, кого хотят «родить» наши композиторы с помощью «Лады», «Последней электрички» и других эфемеров?

Поскольку музыка является несловесным «языком» мышления, то надо укреплять грамматику и синтаксис этого языка, а не оригинальничать. У молодежи надо воспитывать хороший вкус, а не подыскивать ей дурные развлечения, лишь бы в оригинальном духе. Вот позиции, из которых надо исходить» (Ф. Ветров, г. Чимкент).

Что к этой красноречивой заочной дискуссии можем мы добавить от себя?

Из широкого общественного интереса к статье и ее теме делаем вывод, что проблемам эстрадного искусства надо отводить больше места и внимания. Это, собственно, и сделано в № 4 «Молодой гвардии» за нынешний год. Надеемся, что и продолжение этой дискуссии пойдет при активном читательском участии.

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Валерий БУЯНОВ, Валерий ГАНИЧЕВ, Нодар ДУМБАДЗЕ, Александр ИГОШЕВ** (ответственный секретарь), **Борис ЛЕОНОВ** (зам. главного редактора), **Михаил ЛОБАНОВ, Борис ОЛЕЙНИК, Петр ПРОСКУРИН, Владимир СЕМЕНОВ, Геннадий СЕРЕБРЯКОВ, Владимир СОЛОУХИН, Василий ФЕДОРОВ, Владимир ФИРСОВ, Владимир ЧИВИЛИХИН, Виктор ЯКОВЕНКО** (зам. главного редактора).

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 4/VII 1973 г. Подп. к печ. 27/VIII 1973 г. А00525.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 468 000 экз. Зак. 1350. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

Молодая гвардия 1974

В 1974 ГОДУ ЖУРНАЛ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

вторую часть романа Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая», роман Михаила Барышева «Легче быть добрым», третью, заключительную часть романа Ивана Акулова «Крещение», вторую книгу романа Александра Бахвалова «Нежность к ревущему зверю», новый сатирический роман Юрия Алексеева «Пепел»; повести Юрия Додолева «Тихая Дубисса» и Сергея Высоцкого «Пропавший среди живых»; рассказ о своей жизни в науке хирурга, лауреата Ленинской премии Федора Углова и повесть народного артиста РСФСР Юрия Никулина «Как я учился ходить».

СВОИ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАМ ОБЕЩАЛИ

Юрий Бондарев, Сергей Воронин, Николай Воронов, Гарий Немченко, Иван Падерин, Валентин Распутин, Сергей Сартаков, Юрий Сбитнев, Альберт Усольцев, Вячеслав Шугаев.

С ПОЭМАМИ И СТИХАМИ В ЖУРНАЛЕ ВЫСТУПЯТ

П. Бровка, В. Боков, С. Васильев, Н. Грибачев, Н. Доризо, Е. Исаев, В. Казин, В. Костров, М. Луконин, С. Львов, Л. Мартынов, С. Наровчатов, Б. Олейник, Л. Ошанин, С. Орлов, Д. Павлычко, Б. Ручьев, С. Смирнов, А. Софронов, В. Сорокин, Н. Старшинов, О. Сулейменов, М. Танк, Л. Татьяничева, Вл. Фирсов, Н. Хазри, Ф. Чуев и др.

В РАЗДЕЛЕ ОЧЕРКА И ПУБЛИЦИСТИКИ

будут опубликованы статьи и очерки Д. Ардаматского, Л. Золотарева, А. Зябрева, В. Колыхалова, А. Кочетова, С. Пестунова, Н. Смелякова, И. Филоненко, Б. Чехонина, Г. Янаева и др.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ТОВАРИЩ» будет регулярно давать занимательную информацию.

ЖУРНАЛ ПОЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ В БУДУЩЕМ ГОДУ

со статьями литературоведов, критиков и искусствоведов Ю. Барабаша, А. Байгушева, И. Гринберга, А. Дымшица, Ю. Дюжева, Р. Захарова, Ю. Зубкова, В. Кочеткова, М. Лобанова, О. Михайлова, В. Назаренко, А. Никулькова, А. Овчаренко, Евг. Осетрова, В. Панкова, В. Пименова, Н. Подзоровой, К. Приймы, Ю. Прокушева, Ю. Селезнева, М. Синельникова, Б. Соловьева, П. Строкова, В. Терской, В. Чалмаева, А. Шагалова, С. Шешукова, В. Щербины.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЖУРНАЛ!

Подписка принимается повсеместно и без ограничений.

Подписная цена: на год — 7 р. 20 к., на полгода — 3 р. 60 к., на 3 месяца — 1 р. 80 к.

МАГАЗИН № 120 МОСКНИГИ „КНИЖНЫЙ МИР“ ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ АЛЬБОМЫ, КОМПЛЕКТЫ ОТКРЫТОК И КНИГИ

ОБРАЗ ЛЕНИНА В ФОТОГРАФИЯХ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. Подборка альбомов, книг, портретов, изомонтажей, репродукций. Цена 15 руб.

ЛЕНИН. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Комплект открыток и малоформатные альбомы. Цена 5 руб.

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ И ЕЕ ГЕРОИ. Тематическая подборка плакатов, репродукций, книг и открыток. Цена 13 руб.

ГЕРОИ-КОМСОМОЛЬЦЫ. Портреты Н. Островского, З. Космодемьянской, А. Матросова, Ю. Гагарина и др. 24 фотопортрета. Цена 21 р. 60 к.

ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА. 30 портретов ученых-конструкторов и летчиков-космонавтов. Фотопортреты (36×46 см). Цена 27 руб.

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. 15 портретов (36×46 см). Цена 13 р. 50 к.

СОВЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. 15 портретов. Цена 13 р. 50 к.

КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 15 портретов. Цена 13 р. 50 к.

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. 27 портретов в мягкой обложке (размер 19×29 см). Цена 2 р. 56 к.

ХУДОЖНИКИ РОДИНЫ ЛЕНИНА. Книга-альбом. 60 репродукций. «Художник РСФСР», 1971. Цена 1 р. 75 к.

Посылки и бандероли с заказанной литературой оплачиваются на почте при их получении.

Заказы направляйте по адресу: 101861, ГСП. Москва, Центр, ул. Кирова, 6. Магазин № 120 Москниги, отдел „Книга — почтой“.

Цена 60 коп.

Индекс 70544